

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

# ЦИНКОВЫЕ МАЛЬЧИКИ



ГОЛОСА  
УТОПИИ

## Annotation

Без этой книги, давно ставшей мировым бестселлером, уже невозможно представить себе ни историю афганской войны — войны ненужной и несправедливой, ни историю последних лет советской власти, окончательно подорванной этой войной. Неизбежно горе матерей «цинковых мальчиков», понятно их желание знать правду о том, как и за что воевали и погибали в Афгане их сыновья. Но узнав эту правду, многие из них ужаснулись и отказались от нее. Книгу Светланы Алексиевич судили «за клевету» — самым настоящим судом, с прокурором, общественными обвинителями и «группами поддержки» во власти и в прессе. Материалы этого позорного процесса также включены в новую редакцию «Цинковых мальчиков».

---

- [Светлана Алексиевич](#)
    - [Вечный человек с ружьём](#)
    - [Из дневниковых записей для книги](#)
    - 
    - [Из дневниковых записей после книги](#)
    - [Ещё один рассказ вместо эпилога, он же пролог](#)
    - [Суд над «Цинковыми мальчиками»](#)
    - [И ещё один эпилог, он же пролог](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
-

**Светлана Алексиевич**  
**Цинковые мальчики**

# **Вечный человек с ружьём**

## **(Предисловие автора)**

...Лежит на земле человек, убитый другим человеком... Не зверем, не стихией, не роком. Другим человеком... В Югославии, Афганистане, Таджикистане... В Чечне...

Иногда мелькает страшная мысль о войне и её тайном смысле. Кажется, что все сошли с ума, оглядываешься — мир вокруг вроде бы нормальный: люди смотрят телевизор, спешат на работу, едят, курят, чинят обувь, злословят, сидят на концертах. В нашем сегодняшнем мире ненормален, странен не тот, кто надел на себя автомат, а другой, тот, кто, как ребёнок, спрашивает, не понимая: почему же снова лежит на земле человек, убитый другим человеком?

Помните, у Пушкина: «Люблю войны кровавые забавы, и смерти мысль мила душе моей». Это XIX век.

«Даже уничтожив запасы всеобщей смерти, люди сохраняют знание, как их снова создать, хода — к незнанию, неумению убить всех и вся — уже нет». Это у Алеся Адамовича. Это XX век.

Искусство веками возвеличивало бога Марса — бога войны. И теперь никак не содрать с него кровавых одежд...

Вот один из ответов, почему я пишу о войне.

Вспоминается, как у нас в деревне на Радуницу (день поминовения) уткнулась коленками в заросший холмик старушка — без слов, без слез, даже молитвы не читала. «Отойди девочка, не надо на это смотреть, — отвели меня в сторону деревенские женщины. — Не надо тебе знать, никому не надо». Но в деревне не бывает тайн, деревня живёт вместе. Потом я все-таки узнала: во время партизанской блокады, когда вся деревня пряталась от карателей в лесу, в болотах, пухла от голода, умирала от страха, была со всеми эта женщина с тремя маленькими девочками. В один из дней стало очевидным: или умрут все четверо, или кто-то спасётся. Соседи ночью слышали, как самая меньшая девочка просила: «Мамочка, ты меня не топи, я у тебя есточки просить не буду...»

Оставались зарубки в памяти...

В одной из моих поездок... Маленькая женщина, кутавшаяся летом в пуховую шаль и быстро-быстро выговаривающая, вышептывающая: «Не хочу говорить, не хочу вспоминать, я очень долго после войны, десятки лет,

не могла ходить в мясные магазины, видеть разрезанное мясо, особенно куриное, оно напоминало мне человеческое, ничего из красной ткани шить не могла, я столько крови видела, не хочу вспоминать, не могу...»

Я не любила читать книги о войне, а написала три книги. О войне. Почему? Живя среди смерти (и разговоров, и воспоминаний), невольно гипнотизируешься пределом: где он, что за ним. И что такое человек, сколько человека в человеке — вопросы, на которые я ищу ответы в своих книгах. И, как ответил один из героев «Цинковых мальчиков»: «Человека в человеке немного, вот что я понял на войне, в афганских скалах». А другой, уже старый человек, в сорок пятом расписавшийся на поверженном рейхстаге, мне написал: «На войне человек ниже человека; и тот, кто убивает справедливо, и тот, кто убивает несправедливо. Все это одинаково похоже на обыкновенное убийство». Я с ним согласна, для меня уже невозможно написать о том, как одни люди героически убивают других... Люди убивают людей...

Но наше зрение устроено таким образом, что ещё до сих пор, когда мы говорим или пишем о войне, то для нас это прежде всего образ Великой Отечественной, солдата сорок пятого. Нас так долго учили любить человека с ружьём... И мы его любили. Но после Афганистана и Чечни война — уже что-то другое. Что-то такое, что для меня, например, поставило под сомнение многое из того, что написано (и мной тоже). Все-таки мы смотрели на человеческую природу глазами системы, а не художника...

Война — это тяжёлая работа, постоянное убийство, человек все время вертится возле смерти. Но проходит время, десятки лет, и он вспоминает только о тяжёлой работе: как не спали по трое-четверо суток, как таскали все на себе вместо лошади, как плавилась без воды в песках или вмерзали в лёд, а об убийстве никто не говорит. Почему? У войны кроме смерти есть множество других лиц, и это помогает стереть главное, потаённое — мысль об убийстве. А её легко спрятать в мысль о смерти, о героической гибели. Отличие смерти от убийства — это принципиально. В нашем же сознании это соединено.

И я вспоминаю старую крестьянку, рассказывающую, как девочкой она сидела у окна и увидела, как в их саду молодой партизан бил наганом по голове старого мельника. Тот не упал, а сел на зимнюю землю, с головой, рассечённой, как капуста.

«И я тогда обожеволила, сошла с ума, — говорила и плакала она. — Меня долго мама с папой лечили, по знахарям водили. Как увижу молодого парня, кричу, в лихорадке бьюсь, вижу ту голову старого мельника,

рассечённую, как капуста. Так замуж и не вышла... Я боялась мужчин, особенно молодых...»

Тут же давний рассказ партизанки: сожгли их деревню, её родителей — живыми, в деревянной церкви, и она ходила смотреть, как партизаны убивали пленных немцев, полицаев. До сих пор в памяти её безумный шёпот: «У них глаза вылазили из орбит, лопались; их закалывали шомполами. Я смотрела, и мне тогда становилось легче».

На войне человек познает о себе такое, о чем бы никогда не догадался в других условиях. Ему хочется убивать, нравится — почему? Это называется инстинктом войны, ненависти, разрушения. Вот этого биологического человека мы вообще не знаем, его не хватает в нашей литературе. Мы недооценили это в себе, слишком уверовав в силу слова и идеи. Добавим ещё, что ни один рассказ о войне, даже предельно честный, не сравнится с самой действительностью. Она ещё страшнее.

Сегодня мы живём в совершенно ином мире, не в том, что был, когда я писала свои книги о войне, и потому осмысливается все иначе. Нет, не придумывается, а передумывается. Можно ли назвать нормальной солдатскую жизнь в казарме, исходя из божественного замысла? От трагически упрощённого мира, в котором мы жили, мы возвращаемся к множественности вдруг обнаружившихся связей, и я уже не могу давать ясные ответы — их нет.

Почему же я пишу о войне?

Нашим улицам с их новыми вывесками легче поменяться, чем нашим душам. Мы сегодня не разговариваем, мы кричим. Каждый кричит о своём. А с криком лишь уничтожают и разрушают. Стреляют. А я прихожу к такому человеку и хочу восстановить правду того, прошедшего дня... Когда он убивал или его убивали... У меня есть пример. Там, в Афганистане, парень мне кричал: «Что ты, женщина, можешь понять о войне? Пишущая барышня! Разве люди так умирают на войне, как в книгах и в кино? Там они умирают красиво, а у меня вчера друга убили, пуля попала в голову. Он ещё метров десять бежал и ловил свои мозги... Ты так напишешь?» А через семь лет этот же парень — он теперь удачливый бизнесмен, любит рассказывать об Афгане — позвонил мне: «Зачем твои книги? Они слишком страшные». Это уже был другой человек, не тот, которого я встретила среди смерти и который не хотел умирать в двадцать лет...

Поистине человек меняет душу и не узнает потом сам себя. И рассказ как бы об одной жизни, судьбе — это рассказ о многих человеках, которые почему-то называются одним именем. То, чем я занимаюсь уже двадцать лет, это документ в форме искусства. Но чем больше я с ним работаю, тем

больше у меня сомнений. Единственный документ, документ, так сказать, в чистом виде, который не внушает мне недоверия, — это паспорт или трамвайный билет. Но что они могут рассказать через сто или двести лет (дальше нынче и заглядывать нет уверенности) о нашем времени и о нас? Только о том, что у нас была плохая полиграфия... Все остальное, что нам известно под именем документа, — версии. Это чья-то правда, чья-то страсть, чьи-то предрассудки, чья-то ложь, чья-то жизнь.

В суде над «Цинковыми мальчиками», о котором читатель тоже прочтёт в этой книге, документ вплотную, врукопашную столкнулся с массовым сознанием. Тогда я ещё раз поняла, что не дай Бог, если бы документы правили современники, если бы только они одни имели на них право. Если бы тогда, тридцать - пятьдесят лет назад, они переписали «Архипелаг ГУЛАг», Шаламова, Гроссмана... Альбер Камю говорил: «Правда таинственна и неуловима, и её каждый раз приходится завоёвывать заново». Завоёвывать, в смысле — постигать. Матери погибших в Афганистане сыновей приходили в суд с портретами своих детей, с их медалями и орденами. Они плакали и кричали: «Люди, посмотрите, какие они молодые, какие они красивые, наши мальчики, а она пишет, что они там убивали!» А мне матери говорили: «Нам не нужна твоя правда, у нас своя правда».

И это правда, что у них своя правда. Так что же такое документ? Насколько он во власти людей? Насколько он принадлежит людям, а насколько истории и искусству? Для меня это мучительные вопросы...

Длинен путь от реальности к её овеществлению в слове, благодаря которому она остаётся в архиве человечества. Но с самого начала надо признать, что реальности в форме настоящего времени как бы не существует. Нет настоящего, есть прошлое или будущее, или то, что Бродский называл «настоящим продолженным временем». То есть реальность — это воспоминание. То, что было год назад, то, что было утром, или час, или секунду назад, — это уже воспоминание о настоящем. Это исчезнувшая реальность, оставшаяся или в памяти, или в слове. Но согласитесь, что память и слово — очень несовершенные инструменты. Они хрупки, они изменчивы. Они — заложники времени. Между реальностью и словом ещё находится свидетель. Три свидетеля одного события — это три версии. Три попытки истины...

Лидия Гинзбург, исследуя мемуары, обнаружила: чем талантливее мемуарист, тем больше он врёт, то есть, тем больше в них его воображения, чувств, интерпретаций, догадок. Так и мои герои, мои рассказчики — они талантливо заполняют описываемое событие своим отношением к нему,

они как бы творят его. Более достоверны, скрупулёзны обычные люди, но я-то ищу рассказчика, который не просто живёт, а запоминает, как он живёт, потому что у обыкновенных людей другой грех — они не слышат музыки бытия, не чувствуют потаённого течения в наших днях высшего смысла, не улавливают многоликой связи между событиями, между рациональным и иррациональным.

И потому то, что называется материальностью документа, ткётся из многих голосов. Ощущение точности и отдельности рождает множественность... Из многих рассказов-версий, исповедей-версий рождается версия времени. Она складывается из всего пространства времени, из всех его голосов. Версия — это скорее автопортрет души, а не реальности. Я так и определяю жанр, в котором работаю, — история чувств. Мой факт — чувство! От книги к книге складывается энциклопедия чувств, внутренней жизни людей моего времени. Тех поколений, которые я застала на излёте, тех, что прошли рядом со мною, и тех новых, чей приход, надеюсь, я ещё встречу... Получается одна книга о том, кто мы были, что называли добром, а что злом. Как любили. Почему убивали друг друга...

На экране телевизора я изо дня в день вижу, как выходят из домов, похожих на тот дом, в котором я живу, люди. Знакомые лица, знакомая одежда. Такие лица, одежду я каждый день встречаю на улицах... И тут же вижу на том же экране: лежит распоротый ножом или осколком такой знакомый человек. Вижу кровь. Вижу убитые дома. И убитых животных. Это так рядом... Это не отделено от меня даже графикой архивных снимков другого времени. Часто охватывает отчаяние. Отчаяние бессилия слова. Ты видишь, что миф для многих, для большинства по-прежнему правдивее и сильнее фактов и самого инстинкта жизни, самосохранения. Когда я сижу за письменным столом, я стремлюсь не только записать, восстановить, воссоздать действительность — хочу прорваться словом куда-то дальше. Чтобы это была и правда времени, и какая-то догадка о человеке вообще. Прорваться дальше. Куда дальше? Дальше слов... Это редко удаётся. А вот миф туда прорывается. В подсознание...

И когда мать, у которой государство забрало сына и вернуло его в цинковом гробу, иступлённо, молитвенно кричит: «Я люблю ту Родину! За неё погиб мой сын! А вас и вашу правду ненавижу!» — снова понимаешь: мы были не просто рабы, а романтики рабства. Только одна мать из тех ста, с которыми я встречалась, написала мне: «Это я убила своего сына! Я — рабыня, воспитала раба...»

Да, коммунистические, национал-патриотические газеты зовут людей



на митинги под красные знамёна. Но было бы слишком просто, если бы во всем были виновны только политики. Море крови позади, бессчётно перекопана земля для братских могил. А палачей нет. Никто не признает в себе палача. Все жертвы... Одни говорят, что любят Родину, все делали во имя Родины (пусть она и отвечает — не потому ли столько слов о любви к ней?). Другие говорят, что лили кровь во имя идеи. И не знаешь, чего здесь больше: страха перед покаянием или неспособности к свободе? Принадлежать, отдаться власти, государству, раствориться, исчезнуть в нем — форма существования религиозного и военного общества. Мы были и тем и другим (если под верой, под религией понимать марксизм, как светскую форму религии). А то, насколько мы — военные люди, насколько наши представления о жизни и смерти военные, и не догадываемся.

Когда-то я была убеждена, что в правде надо идти до конца. И когда мне надо было написать, как после взрыва итальянской мины, красивой, как игрушка, от человека остаётся полведра мяса, я колебалась — надо или не надо это писать? И все-таки решила: надо! Идти надо до конца. Потому что чем проще и обычнее убивали люди, тем значительнее человеческая жизнь должна быть в искусстве, — говорила я себе. Сегодня, сейчас, — я колеблюсь. Я не знаю... Я сомневаюсь... Не находимся ли мы у роковой черты? Дальше — саморазрушение.

Я снова возвращаюсь к суду над своей книгой, но только потому, что это был слепок с наших душ. Когда десятки людей на улице возле здания суда сталкивались в непримиримой словесной схватке, это тоже была война. И она идёт до сих пор. Нам не нужна свобода. Мы не знаем, что это такое. Что с ней делать? В нашей истории нет ни одного поколения без военного опыта, без опыта убийства, а с опытом просто жизни. Мы или воевали, или вспоминали о войне, или готовились к ней. Мы никогда не жили иначе. Ко всему ещё мы — артельные, соборные люди. Не умеем жить отдельно... И отвечать каждый за себя, за свои грехи. Никогда так не жили...

Так о каком покаянии и очищении мы можем говорить? Хором поют на праздниках или в военном строю. А каяться надо в одиночку...

В страдании человек велик, а без него он часто просто мал. Я помню, как одна из моих героинь в книге «У войны не женское лицо» потрясла меня рассказом о том, как страшно было видеть после боя убитых — и тех, и других... Молодые... Они лежали рассыпанные, как картошка... Когда я дала почитать этой женщине её же рассказ, она все перечеркнула и принесла мне отчёт о своей военно-патриотической работе. «Это, — говорила она, — ты напечатай, а то я рассказывала тебе, чтобы ты поняла,

как нам было страшно на войне». Она требовала своей правды, такой, как понимала её. Она хотела просто жизни. Но как объяснить, что это просто жизнь за пределами искусства? И своеволие автора лишь в одном — сделать это искусством.

Но под силу ли искусству весь ужас нашей жизни? Вслед за «афганским» с войны возвращается «чеченское» поколение. Человек с ружьём кажется вечным. Или наоборот: вечный человек с ружьём...

...Лежит на улице Грозного человек, убитый другим человеком. И в небо смотрит...

Мне говорят: «Поезжай и напиши об этом». А я не могу. Не могу уже видеть человека, превратившегося в нечеловека во имя каких-то государственно-племенных идей. Для меня нет идеи выше одной-единственной человеческой жизни. Мёртвый человек... Мёртвая птица... Мёртвый дом... Во имя? Помыть русские солдатские сапоги в индийских водах... Или качать чеченскую нефть... Не больны ли мы безумием? Разве нормальный, а не безумный человек может смотреть по телевизору и слушать каждый день по радио об убийстве: «За истёкшие сутки позиции федеральных войск обстреливались тридцать четыре раза, трое военнослужащих убиты, один ранен», «Противник на подступах к городу Гудермесу понёс крупные потери». Где-то в далёкой русской деревне ёкнуло материнское сердце... Крикнуло... Я была на одних таких похоронах... Хоронили молодого офицера, его привезли из Грозного. Плотное людское кольцо у свежевырытой могилы... Военный оркестр... Все молчали, даже женщины не плакали. Выступал генерал... Все те же слова, что и десять, и пятьдесят, и сто лет назад: о наших границах, о великой России, о мести, о ненависти, о долге. О долге убивать?! И только маленькая девочка беззащитно и наивно вглядывалась в красный гроб: «Папа! Папочка... Куда ты ушёл? Почему ты молчишь? Ты обещал вернуться... Я нарисовала тебе целый альбом... Папа, папочка, где ты?» Даже военный оркестр не мог заглушить её детского недоумения. И вот, как зверька, её отрывают от красного гроба и несут к машине: «Папа... Папочка... Па-а-а...»

Один нормальный человек был среди нас. Ребёнок.

А заговор взрослых продолжался. По древним ритуалам... Клятва. Салют.

Мы не воюем... А гробы в Россию уже идут из России...

И я пишу о войне...

## Из дневниковых записей для книги

*История солжёт.*

*Б. Шоу*

*14 июня 1986 года*

Говорю себе: я не хочу больше писать о войне. Когда окончила «У войны не женское лицо», долго не могла видеть, как от обыкновенного ушиба из носа ребёнка идёт кровь, убегала на даче от рыбаков, весело бросавших на береговой песок выхваченную из закрытых глубин рыбу, меня тошнило от её застывших выпученных глаз. Наверное, у каждого из нас есть свой запас защиты от боли — физический и психологический. Мой был исчерпан до конца. Меня сводил с ума вой подбитой машиной кошки, отворачивала лицо от раздавленного дождевого червяка. Птицы, рыбы, как и все живое, тоже имеют право на свою историю. Её ещё когда-нибудь напишут.

И вдруг! Если это можно назвать «вдруг». Идёт седьмой год войны.

*«У существующей печали сто отражений».*

*(В. Шекспир «Ричард III»).*

...По дороге в деревню подвезли девочку-школьницу. Она приезжала в Минск за продуктами. Из большой сумки торчали куриные головы, в багажник втиснули сетку с хлебом.

В деревне нас встретила её мать. Она стояла у калитки и кричала.

— Мама!! — подбежала к ней девочка.

— Ой, ты моя дочушка, пришло письмо. Андрей наш в Афганистане... О-о-о!.. Привезут, як Федоринова Ивана... Малое дитя — малая ямка... А я ж вырастила не хлопца, а дуб высокий... Два метра ростом... Написал: «Гордись, мама, я — десантник...» О-о-о!.. Людцы мои золотенькие...

А вот другой, прошлогодний случай.

...На автобусной станции в полупустом зале ожидания сидел офицер с дорожным чемоданом, рядом с ним худой мальчишка, подстриженный под солдатскую нулёвку, копал вилкой в ящике с засохшим фикусом. Бесхитростно подсели к ним деревенские женщины, выпросили: куда, зачем, кто? Офицер сопровождал домой солдата, сошедшего с ума: «С

Кабула копает, что попадёт в руки, тем и копает: лопатой, вилкой, палкой, авторучкой». Мальчишка поднял голову: «Прятаться надо... Я вырою щель... У меня быстро получается... Мы называли их братскими могилами... Большую щель для всех вас выкопаю...»

Первый раз я увидела зрачки величиной с глаз...

О чем говорят вокруг меня? О чем пишут? Об интернациональном долге, о геополитике, о наших державных интересах, о южных границах. Глухо ходят слухи о похоронках в панельных домах и сельских хатах с мирными геранями на окнах, о цинковых гробах, не вмещающихся в «пенальных» размерах «хрущевок». Матери, ещё недавно в отчаянии бившиеся над слепыми железными ящиками, выступают в коллективах, в школах, призывая других мальчиков «выполнить долг перед Родиной». Цензура внимательно следит, чтобы в военных очерках не упоминалось о гибели наших солдат, нас заставляют верить, что «ограниченный контингент советских войск» помогает братскому народу строить дороги, развозить удобрение по кишлакам, а советские военврачи принимают роды у афганских женщин. И многие верят. Вернувшиеся солдаты приносят в школы гитары, чтобы спеть о том, о чем надо кричать...

С одним долго говорила. Я добивалась от него признания о мучительности этого выбора — стрелять или не стрелять. А он уходил, для него как бы не существовало тут драмы. Что хорошо — что плохо? Хорошо «во имя социализма» убить? Для этих мальчиков границы нравственности очерчены военным приказом.

У Ю. Карякина: «Ни об одной истории нельзя судить по её самосознанию. Это самосознание трагически неадекватно». А у Кафки прочла о том, что человек безвозвратно потерян в самом себе.

Но я не хочу больше писать о войне...

*5–25 сентября 1988 года*

Ташкент. В аэропорту душно пахнет дынями, не аэропорт, а бахча. Два часа ночи. Смотрю на ртутный столбик: тридцать градусов выше нуля. Бесстрашно ныряют под такси толстые полудикие кошки, говорят, афганские. Среди загоровшей курортной толпы, среди ящиков, корзинок с фруктами прыгают на костылях молодые солдаты (мальчишки). На них никто не обращает внимания, уже привыкли. Они спят и едят тут же на полу, на старых газетах и журналах, неделями не могут купить билеты в Саратов, Казань, Новосибирск, Ворошиловград, Киев, Минск... Где их искалечили? Что они там защищали? Никому не интересно. Только маленький мальчик не отводит от них своих широко раскрытых глаз и

пьяная нищенка подошла к одному солдатику:

— Поди сюда... Пожалею...

Он отмахнулся костылём. А она, не обидевшись, добавила ещё что-то печальное и женское.

Рядом со мной сидят офицеры. Говорят о том, какие у нас плохие протезы. О брюшном тифе, о холере, малярии и гепатите. Как в первые годы не было ни колодцев, ни кухонь, ни бань, нечем было мыть посуду. А ещё о том, кто что привёз: кто — «видик», кто — «Шарп» или «Сони». Для одних война — мачеха, для других — мать родная. Запомнилось, какими глазами они смотрели на красивых, отдохнувших женщин в открытых платьях...

Достоевский писал о военном сословии, он называл их «самыми незадумывающимися людьми в мире».

В накопителе запах испорченного туалета. Долго ждём самолёта на Кабул. Неожиданно много женщин.

Отрывки из разговоров:

— Теряю слух. Первыми перестал слышать высоко поющих птиц. Овсянницу, например, не слышу начисто. Записал её на магнитофон и запускаю на полную мощность... последствие контузии в голову...

— Сначала стреляешь, а потом выясняешь, что это женщина или ребёнок... У каждого свой кошмар...

— Ослик во время обстрела ложится, кончится обстрел — вскакивает.

— Кто я буду в Союзе? Проститутка? Это мы знаем. Хотя бы на кооператив заработать... А мужики? Что — мужики? Все пьют.

— Генерал говорил об интернациональном долге, о защите южных рубежей. Даже расчувствовался: «Возьмите им леденцов. Это же дети. Лучший подарок — конфеты...»

— Офицер был молодой. Узнал, что отрезали ногу, заплакал. Лицо, как у девочки, — румяное, белое. Я сначала боялась мёртвых, особенно если без ног или без рук... А потом привыкла...

— Берут в плен. Отрезают конечности и перетягивают жгутами, чтобы не умерли от потери крови. И в таком виде оставляют, наши подбирают обрубки. Те хотят умереть, их лечат.

— На таможне увидели мой пустой саквояж: «Что везёшь? — «Ничего». — «Ничего?» Не поверили. Заставили раздеться до трусов. Все везут по два чемодана.

— Вставай. А то проспишь царство небесное... — это уже над Кабулом.

Идём на посадку.

...Гул орудий. Патрули с автоматами и в бронежилетах требуют пропуска.

Я не хотела больше писать о войне. Но вот я на настоящей войне.

Что-то есть безнравственное в разглядывании чужого мужества и риска. Вчера шли на завтрак в столовую, поздоровались с часовым. Через полчаса его убил случайно залетевший в гарнизон осколок мины. Целый день пыталась вспомнить лицо этого мальчика...

Журналистов здесь называют сказочниками. Писателей тоже. В нашей писательской группе одни мужчины. Рвутся на дальние заставы, хотят пойти в бой. Спрашиваю у одного:

— Зачем?

— Мне это интересно. Скажу: на Саланге был... Постреляю...

Не могу отделаться от чувства, что война — порождение мужской природы, во многом мне непостижимое.

Из рассказов:

— Я выстрелил в упор и увидел, как разлетается человеческий череп. Подумал: «Первый». После боя раненые и убитые. Все молчат... Мне снятся здесь трамваи. Как я на трамвае еду домой... Любимое воспоминание: мама печёт пироги... В доме пахнет сладким тестом...

— Дружил с хорошим парнем... А потом видишь, как его кишки гирляндой на камнях висят... Начинаешь мстить...

— Ждём караван. Ждём два-три дня. Лежим в горячем песке, ходим под себя. К концу третьего дня сатанеешь. И с такой ненавистью выпускаешь первую очередь... После стрельбы, когда все кончилось, обнаружили: караван шёл с бананами и джемом... На всю жизнь сладкого наелись...

\* \* \*

Написать (рассказать) о самом себе всю правду есть, по замечанию Пушкина, невозможность физическая.

...На танке красной краской: «Отомстим за Малкина».

Посреди улицы стояла на коленях молодая афганка перед убитым ребёнком и кричала. Так кричат, наверное, только раненые звери.

Проезжали мимо убитых кишлаков, похожих на перепаханное поле. Мёртвая глина недавнего человеческого жилища была страшнее темноты, из которой могли выстрелить.

В госпитале видела, как русская девушка положила плюшевого мишку

на кровать афганского мальчика. Он взял игрушку зубами и так играл, улыбаясь: обеих рук у него не было. «Твои русские стреляли, — перевели мне слова его матери. — А у тебя есть дети? Кто — мальчик или девочка?» Я так и не поняла, чего больше в её словах — ужаса или прощения?

Рассказывают о жестокости, с которой моджахеды расправляются с нашими пленными. Ударило в сознание средневековьем. Здесь и на самом деле другое время, календари показывают четырнадцатый век.

У Лермонтова в «Герое нашего времени» Максим Максимыч, оценивая действия горца, который зарезал отца Бэлы, говорит: «Конечно, по-ихнему он был совершенно прав», — хотя с точки зрения русского поступок зверский. Писатель уловил эту удивительную черту русского народа — умение стать на позицию другого народа, увидеть вещи и «по-ихнему».

*Из рассказов:*

— Взяли в плен «духов»... Допытываемся: «Где склады?» Молчат. Подняли двоих на вертолётках: «Где? Покажи...» Молчат. Сбросили одного на скалы...

— Убили друга. Они будут смеяться? Радоваться? А его нет... Где больше людей — туда стреляю... В афганскую свадьбу стрелял... Шли молодые — жених и невеста... Мне никого не жалко... Друга нет...

\* \* \*

У Достоевского Иван Карамазов замечает: «Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток».

Да, я подозреваю: мы не хотим об этом слышать, мы не хотим об этом писать. Но на любой войне, кто бы её и во имя чего ни вёл — Юлий Цезарь или Иосиф Сталин, — люди убивают друг друга. Это убийство, но об этом у нас не принято задумываться, даже почему-то в школах мы говорим не о патриотическом, а о военно-патриотическом воспитании. Хотя почему я удивляюсь «почему-то», все понятно — военный социализм, военная страна, военное мышление. Но мы же хотим стать другими людьми?..

Нельзя так испытывать человека. Человек не выдержит таких испытаний. В медицине это называется «острым опытом». Опыт на живом.

Кто-то сегодня процитировал Л. Толстого о том, что «человек текущий».

Вечером включили магнитофон, слушали «афганские» песни. Детские, ещё не оформившиеся голоса хрипели под Высоцкого: «Солнце упало в кишлак, как огромная бомба», «Мне не надо славы. Нам бы жить — и вся награда», «Зачем мы убиваем? Зачем нас убивают?», «Что ж ты меня так предала, милая Россия?», «Вот уже и лица стал я забывать», «Афганистан, ты больше, чем наш долг. Ты — наше мирозданье», «Как большие птицы, скачут одноногие у моря», «Мёртвый — он уже ничей. Нет уже ненависти на его лице».

Ночью мне снился сон: наши солдаты уезжают в Союз, я — среди провожающих. Подхожу к одному мальчишке, он без языка, немой. Из-под солдатского кителя вылезает госпитальная пижама. Я что-то у него спрашиваю, а он только своё имя пишет: «Ванечка. Ванечка». Так ясно различаю его имя — Ванечка... Лицом похож на паренька, с которым днём беседовала, он все повторял: «Меня мама дома ждёт».

...В последний раз проезжаем по замершим улочкам Кабула, мимо знакомых плакатов в центре города: «Светлое будущее — коммунизм», «Кабул — город мира», «Народ и партия едины». Наши плакаты, отпечатанные в наших типографиях. Наш Ленин стоит здесь с поднятой рукой...

В аэропорту встречаем знакомых кинооператоров. Они снимали загрузку «чёрного тюльпана». Не поднимая глаз, рассказывают, что мёртвых одевают в старую военную форму, ещё с галифе, иногда кладут не одевая, бывает, что и этой формы не хватает. Старые доски, ржавые гвозди... «В холодильник привезли новых убитых... Как будто несвежим кабаном пахнет...»

Кто мне поверит, если я об этом напишу?

*15 мая 1989 года*

Опять мой путь — от человека к человеку, от документа к образу. Каждая исповедь — как портрет в живописи: никто не говорит — документ, говорят — образ. Говорят о фантастике реальности. Создавать мир не по законам бытового правдоподобия, а «по образу и духу своему». Мой предмет исследования все тот же — история чувств, а не история самой войны. О чем люди думали? Чего хотели? Чему радовались? Чего боялись? Что запомнили?

Но о войне, которая оказалась в два раза длиннее Великой Отечественной, мы знаем ровно столько, сколько нам не опасно знать, чтобы не увидеть себя такими, какие мы есть, не испугаться. «Русских писателей всегда больше интересовала правда, а не красота», — пишет



Н. Бердяев. В поисках этой правды и проходит вся наша жизнь. А сегодня особенно — и за письменным столом, и на улице, и на митинге, и даже за праздничным ужином. О чем мы без конца размышляем? Все о том же: кто мы, куда нам идти? И вот тут-то выясняется, что ни к чему, даже к человеческой жизни, мы не относимся так бережно, как к мифам о самих себе. У нас в подкорку загнуто: мы — самые-самые, самые лучшие, самые справедливые, самые честные. Человека, посмеявшегося хотя бы в чем-то усомниться, тут же уличают в клятвопреступлении. Самый тяжкий у нас грех!

*Из истории:*

«Двадцатого января тысяча восемьсот первого года казакам донского атамана Василия Орлова приказано идти в Индию. Месяц даётся на движение до Оренбурга, а оттуда три месяца «через Бухарию и Хиву на реку Индус». Вскоре тридцать тысяч казаков пересекут Волгу и углубятся в Казахские степи». [\[1\]](#)

*Из сегодняшних газет:*

«В Термезе зацвёл миндаль, но если бы природа и не преподнесла такого подарка, эти февральские дни все равно бы остались в памяти жителей старинного города как самые торжественные и радостные...

Грянул оркестр. Страна приветствовала возвращение родных сыновей. Наши парни возвращаются, выполнив свой интернациональный долг... За эти годы советские солдаты в Афганистане отремонтировали, восстановили и построили сотни школ, лицеев (?), училищ, три десятка больниц и столько же детских садов, около четырехсот жилых домов, тридцать пять мечетей, многие десятки колодцев, около ста пятидесяти километров арыков и каналов... Они занимались охраной военных и мирных объектов в Кабуле». [\[2\]](#)

У того же Н. Бердяева: «Я всегда был ничьим человеком, был лишь своим собственным человеком». Не про нас это сказано. Правда у нас все время кому-то или чему-то служит: интересам революции, диктатуре пролетариата, партии, крутолобому диктатору, первой или второй пятилетке, очередному съезду... «Правда выше России», — крикнул из последних сил Достоевский. В Евангелии от Матфея: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим» (гл. 24; 4,5).

Спрашиваю у себя. Спрашиваю у других. Ищу ответа: как происходит убийство мужества в каждом из нас? Как из обыкновенного нашего

мальчика получается человек убивающий? Почему с нами можно делать все, что кому-то нужно? Но я не судья тому, что увидела и услышала. Я только хочу отразить мир человека таким, какой он есть. А сегодня правда о войне мыслится шире, чем раньше, как правда о жизни и смерти вообще. Человек наконец достиг того, чего в несовершенстве своём желал, — он способен сразу убить всех.

Теперь уже не тайна, что ежегодно в Афганистане воевала сотысячная советская армия. За десять лет — один миллион. Существует и другая бухгалтерия войны: сколько выпущено пуль, снарядов, сколько сбито вертолётов, разорвано и изношено военного обмундирования, разбито машин. Сколько все это нам стоило?

Убито и ранено пятьдесят тысяч. Можно верить и не верить этой цифре, потому что всем известно, как мы умеем считать. Погибших в Великую Отечественную ещё сегодня считаем и хороним...

*Из рассказов:*

— Я даже по ночам крови боюсь... Боюсь своих снов... Мне теперь на жука жалко наступить...

— Кому я могу это все рассказать? Кто будет слушать? У Бориса Слуцкого: «Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны». Во мне сидит вся таблица Менделеева... Малярия до сих пор бьёт... Недавно рвал зуб... Один выдернули, второй... И от боли в шоке я вдруг заговорил... А женщина-врач смотрит на меня... Почти с отвращением... «Полный рот крови, а он говорит...» Я подумал, что теперь никогда не смогу быть искренним, все о нас вот так и думают: полный рот крови, а они ещё говорят...

\* \* \*

Поэтому я не называю в книге подлинных имён. Одни просили о тайне исповеди, других сама не могу оставить беззащитными перед теми, кто поспешит упрекнуть, бросить в их сторону: «Полный рот крови, а они ещё говорят». Опять будем искать где-то виноватых? Способ, испытанный для собственной защиты. «Он виноват... Они виноваты...» Нет! Стоим так близко, что нет возможности никому отойти в сторону.

А в дневнике я сохранила фамилии. Может, когда-нибудь мои герои захотят, чтобы их узнали:

Сергей Амирханян, капитан; Владимир Агапов, старший лейтенант,

начальник расчёта; Татьяна Белозерских, служащая; Виктория Владимировна Барташевич, мать погибшего рядового Юрия Барташевича; Дмитрий Бабкин, рядовой, наводчик-оператор; Майя Емельяновна Бабук, мать погибшей медсестры Светланы Бабук; Мария Терентьевна Бобкова, мать погибшего рядового Леонида Бобкова; Олимпиада Романовна Баукова, мать погибшего рядового Александра Баукова; Таисия Николаевна Богуш, мать погибшего рядового Виктора Богуша; Виктория Семёновна Валович, мать погибшего старшего лейтенанта Валерия Валовича; Татьяна Гайсенко, медсестра; Вадим Глушков, старший лейтенант, переводчик; Геннадий Губанов, капитан, лётчик; Инна Сергеевна Головнева, мать погибшего старшего лейтенанта Юрия Головнева; Анатолий Деветьяров, майор, пропагандист артполка; Денис Л., рядовой, гранатомётчик; Тамара Довнар, жена погибшего старшего лейтенанта Петра Довнара; Екатерина Никитична П., мать погибшего майора Александра П.; Владимир Ероховец, рядовой, гранатомётчик; Софья Григорьевна Журавлёва, мать погибшего рядового Александра Журавлёва; Наталья Жестовская, медсестра; Мария Онуфриевна Зильфигарова, мать погибшего рядового Олега Зильфигарова; Вадим Иванов, старший лейтенант, командир сапёрного взвода; Галина Федоровна Ильченко, мать погибшего рядового Александра Ильченко; Евгений Красник, рядовой, мотострелок; Константин М., военный советник; Евгений Котельников, старшина, санинструктор разведроты; Александр Костаков, рядовой, связист; Александр Кувшинников, старший лейтенант, командир миномётного взвода; Надежда Сергеевна Козлова, мать погибшего рядового Андрея Козлова; Марина Киселёва, служащая; Вера Федоровна К., мать погибшего рядового Николая К.; Тарас Кецмур, рядовой; Пётр Курбанов, майор, командир горнострелковой роты; Василий Кубик, прапорщик; Олег Лелюшенко, рядовой, гранатомётчик; Александр Лелетко, рядовой; Сергей Лоскутов, военный хирург; Валерий Лисиченок, сержант, связист; Вера Лысенко, служащая; Евгений Степанович Мухортов, майор, командир батальона, и его сын Андрей Мухортов, младший лейтенант; Лидия Ефимовна Манкевич, мать погибшего сержанта Дмитрия Манкевича; Галина Млявая, жена погибшего капитана Степана Млявого; Владимир Михолап, рядовой, миномётчик; Александр Николаенко, капитан, командир звена вертолётчиков; Олег Л., вертолётчик; Наталья Орлова, служащая; Галина Павлова, медсестра; Владимир Панкратов, рядовой, разведчик; Виталий Руженцев, рядовой, водитель; Сергей Русак, рядовой, танкист; Михаил Сиротин, старший лейтенант, лётчик; Александр Сухоруков, старший лейтенант, командир горнострелкового взвода; Игорь Савинский, лейтенант, командир мотострелкового взвода; Тимофей

Смирнов, сержант, артиллерист; Валентина Кирилловна Санько, мать погибшего рядового Валентина Санько; Владимир Симанин, подполковник; Томас М., сержант, командир взвода пехоты; Леонид Иванович Татарченко, отец погибшего рядового Игоря Татарченко; Владимир Уланов, капитан; Тамара Фадеева, врач-бактериолог; Людмила Харитончик, жена погибшего старшего лейтенанта Юрия Харитончика; Галина Халиулина, служащая; Валерий Худяков, майор; Валентина Яковлева, прапорщик, начальник секретной части.

### *День первый*

#### **«...ИБО МНОГИЕ ПРИДУТ ПОД ИМЕНЕМ МОИМ»**

*Автор.* Ещё не проснувшись утром длинный, как автоматная очередь, звонок.

— Послушай, — начал он, не представившись, — читал твой пасквиль... Если ещё хоть строчку напечатаешь...

— Кто вы?

— Один из тех, о ком ты пишешь. Ненавижу пацифистов! Ты поднималась с полной выкладкой в горы, шла на бэтээре, когда семьдесят градусов выше нуля? Ты слышишь по ночам резкую вонь колючек? Не слышишь... Значит, не трогай! Это наше!! Зачем тебе?

— Почему не назовёшь себя?

— Не трогай! Лучшего друга, он мне братом был, в целлофановом мешке с рейда принёс... Отдельно голова, отдельно руки, ноги... Сдёрнутая кожа... Разделанная туша вместо красивого, сильного парня... Он на скрипке играл, стихи сочинял... Вот он бы написал, а не ты... Мать его через два дня после похорон в психушку увезли. Она убегала ночью на кладбище и пыталась лечь вместе с ним. Не трогай это! Мы были солдатами. Нас туда послали. Мы выполняли приказ. Военную присягу. Я знамя целовал...

— «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим». Новый Завет. Евангелие от Матфея.

— Умники! Через десять лет все стали умники. Все хотят чистенькими остаться. Да пошли вы все к... матери! Ты даже не знаешь, как пуля летит. Ты не стреляла в человека... Я ничего не боюсь... Плевать мне на ваши новые заветы, на вашу правду. Я свою правду в целлофановом мешке нёс...

Отдельно голова, отдельно руки, но... Сдёрнутая кожа... Да пошли вы все к...! — и гудок в трубке, похожий на далёкий взрыв.

Все-таки я жалею, что мы с ним не договорили. Может быть, это был мой главный герой, раненный в самое сердце?..

«Не трогай! Это наше!!» — кричал он.

А это тогда чьё?!

\* \* \*

«Ко мне пробивались только голоса, как я ни напрягался, голоса были без лиц. Они то уходили, то возвращались. Кажется, успел подумать: «Умираю». И открыл глаза...

Я пришёл в себя в Ташкенте на шестнадцатый день после подрыва. Голова болела от собственного шёпота, громче шёпота говорить не мог. Позади уже был кабульский госпиталь. В Кабуле мне вскрыли череп — там была каша, удалили мелкие кусочки костей, собрали на шурупы без суставов левую руку. Первое чувство: сожаление о том, что ничего не вернётся, не увижу друзей, а самое обидное — не смогу залезть на турник.

Провалился по госпиталям без пятнадцати дней два года. Восемнадцать операций — четыре под общим наркозом. Про меня студенты курсовые писали: что у меня есть, чего у меня нет. Сам побриться не мог, брили ребята. Первый раз они вылили на меня бутылку одеколона, а я кричу: «Давайте другую!» Нет запаха. Я его не слышу. Вытащили все из тумбочки: колбасу, огурцы, мёд, конфеты — ничего не пахнет! Цвет есть, вкус есть, а запаха нет. Чуть с ума не сошёл! Пришла весна, деревья зацвели, а я все это вижу, а не слышу. У меня вынули полтора кубических сантиметра мозга, и, видно, какой-то центр был удалён, тот, с которым связаны запахи. Я и сейчас — пять лет прошло — не слышу, как пахнут цветы, табачный дым, женские духи. Одеколон могу услышать, если запах грубый и сильный, но флакон надо сунуть под самый нос. Видно, оставшаяся часть мозга взяла потерянную способность на себя.

В госпитале получил письмо от друга. От него узнал, что наш бэтээр подорвался на итальянской фугасной mine. Он видел, как вместе с двигателем вылетел человек... Это был я...

Выписали меня, дали пособие — триста рублей. За лёгкое ранение положено сто пятьдесят, за тяжёлое — триста. Дальше живи как хочешь. Пенсия — гроши. Переходи на иждивение к родителям. У моего отца без войны — война. Поседел, гипертоником стал.

На войне я не прозрел, я стал прозревать после. И все закрутилось в обратную сторону...

Призвали меня в восемьдесят первом. Война шла уже два года, но на «гражданке» о ней знали мало и говорили мало. В нашей семье считалось: раз правительство послало туда войска, значит, надо. Так рассуждал мой отец, соседи. Не помню, чтобы кто-нибудь имел другое мнение. Даже женщины не плакали, все это было ещё далеко и не страшно. Война и не война, если война, то какая-то странная, без убитых и пленных. Ещё никто не видел цинковых гробов. Это потом мы узнали, что гробы уже в город привозили, но хоронили тайком, ночью, на могильных плитах писали «умер», а не «погиб». Но никто не задавался вопросом: с чего это вдруг у нас стали умирать девятнадцатилетние парни? От водки или от гриппа, а может, апельсинами объелись. Плакали их близкие, а остальные жили, как и жили, если их не коснулось. В газетах писали, что наши солдаты строят мосты, сажают аллеи дружбы, а наши врачи лечат афганских женщин и детей...

В витебской «учебке» не было секретом, что нас готовят в Афганистан. Один признался, что боится, мол, нас там всех перестреляют. Я стал его презирать. Перед самым отъездом ещё один отказался ехать: сначала обманывал — потерял комсомольский билет, билет нашёлся, придумал — девушка у него рождает. Я считал его ненормальным. Мы ехали делать революцию! Так нам говорили. И мы верили. Представлялось впереди что-то романтическое.

...Пуля натывает на человека, ты слышишь — его не забыть, ни с чем не перепутать — характерный мокрый шлёпок. Знакомый парень рядом падает лицом вниз, в едкую, как пепел, пыль. Ты переворачиваешь его на спину: в зубах зажата сигарета, которую только что дал ему... Она ещё горит... Первый раз действуешь как во сне: бежишь, тащишь, стреляешь, но ничего не запоминаешь, после боя не можешь рассказать. Все будто за стеклом... Как страшный сон видишь. От испуга просыпаешься, а вспомнить ничего не можешь. Чтобы испытать ужас, оказывается, надо его запомнить, привыкнуть к нему. Через две - три недели от тебя прежнего ничего не остаётся, только твоё имя. Ты — это уже не ты, а другой человек. И этот человек при виде убитого уже не пугается, а спокойно или с досадой думает о том, как будет его стаскивать со скалы или тянуть по жаре на себе несколько километров. Этот человек не представляет, а уже знает, как пахнут на жаре вывернутые внутренности, как не выстирывается запах человеческого кала и крови... Как в грязной луже расплавленного металла скалятся обгоревшие черепа — будто

несколько часов тут не кричали, а смеялись, умирая. Ему знакомо обострённое и чужое возбуждение при виде убитого: не меня! Это так быстро происходит. Вот такое превращение. Очень быстро. Почти со всеми.

Для людей на войне в смерти нет тайны. Убивать — это просто нажимать на спусковой крючок. Нас учили: остаётся живым тот, кто выстрелит первым. Таков закон войны. «Тут вы должны уметь две вещи — быстро ходить и метко стрелять. Думать буду я», — говорил командир. Мы стреляли, куда нам прикажут. Я был приучен стрелять туда, куда мне прикажут. Стрелял, не жалел никого. Мог убить ребёнка. Ведь с нами там воевали все: мужчины, женщины, старики, дети. Идёт колонна через кишлак. В первой машине глохнет мотор. Водитель выходит, поднимает капот... Пацан, лет десяти, ему ножом — в спину... Там, где сердце. Солдат лёг на двигатель... Из мальчишки решето сделали... Дай в тот миг команду, превратили бы кишлак в пыль... Каждый старался выжить. Думать было некогда. Нам же по восемнадцать - двадцать лет. К чужой смерти я привык, а собственной боялся. Видел, как от человека в одну секунду ничего не остаётся, словно его совсем не было. И в пустом гробу отправляли на родину парадную форму. Чужой земли насыпят, чтобы нужный вес был...

Хотелось жить... Никогда так не хотелось жить, как там. Вернёмся из боя, смеёмся. Я никогда так не смеялся, как там. Старые анекдоты шли у нас за первый сорт. Вот хотя бы этот.

Попал фарцовщик на войну. Первым делом выяснил, сколько чеков стоит один пленный «дух». В восемь чеков оценён. Через два дня стоит пыль возле гарнизона: ведёт он двести пленных. Друг просит: «Продай одного... Семь чеков дам». — «Что ты, дорого. Сам за девять купил».

Сто раз будет кто-нибудь рассказывать, сто раз будем смеяться. Хохотали до боли в животах из-за любого пустяка.

Лежит «дух» со словарём. Снайпер. Увидел три маленькие звёздочки — старший лейтенант — пятьдесят тысяч афгани. Щёлк! Одна большая звезда — майор — двести тысяч афгани. Щёлк! Две маленькие звёздочки — прапорщик. Щёлк. Ночью главарь расплачивается: за старшего лейтенанта — дать афгани, за майора — дать афгани. За... Что? Прапорщик? Ты же нашего кормильца убил. Кто сгущёнку, кто одеяла даёт? Повесить!

О деньгах говорили много. Больше, чем о смерти. Я ничего не привёз. Осколок, который из меня вытащили. И все. Брали фарфор, драгоценные камни, украшения, ковры... Кто на боевых, когда ходили в кишлаки... Кто

покупал, менял... Рожок патронов за косметический набор — тушь, пудра, тени для любимой девушки. Патроны продавали варёные... Пуля варёная не вылетает, а выплёвывается из ствола. Убить её нельзя. Ставили ведра или тазы, бросали патроны и кипятили два часа. Готово! Вечером несли на продажу. Бизнесом занимались командиры и солдаты, герои и трусы. В столовых исчезали ножи, миски, ложки, вилки. В казармах недосчитывались кружек, табуреток, молотков. Пропадали штыки от автоматов, зеркала с машин, запчасти, медали... В дуканах брали все, даже тот мусор, что вывозился из гарнизонного городка: консервные банки, старые газеты, ржавые гвозди, куски фанеры, целлофановые мешочки... Мусор продавался машинами. Вот такая это была война...

Нас зовут «афганцами». Чужое имя. Как знак. Метка. Мы не такие, как все. Другие. Какие? Я не знаю: кто я? Герой или дурак, на которого надо пальцем показывать. А может, преступник? Уже говорят, что это была политическая ошибка. Сегодня тихо говорят, завтра громче. А я там кровь оставил... Свою... И чужую... Нам давали ордена, которые мы не носим... Мы ещё будем их возвращать... Ордена, полученные честно на нечестной войне... Приглашают выступать в школе. А что рассказывать? О боевых действиях не будешь рассказывать. О том, как я до сих пор боюсь темноты, что-нибудь упадёт — вздрагиваю? Как брали пленных, но до полка не доводили? Их затапывали. За все полтора года я не видел ни одного душмана живого, только мёртвых. О коллекциях засушенных человеческих ушей? Боевые трофеи... О кишлаках после артиллерийской обработки, похожих уже не на жильё, а на разрытое поле? Об этом, что ли, хотят услышать в наших школах? Нет, нам нужны герои. А я помню, как мы разрушали, убивали и — строили, раздавали подарки. Все это существовало так рядом, что разделить до сих пор не могу. Боюсь этих воспоминаний... Ухожу, убегаю от них... Не знаю ни одного человека, кто бы вернулся оттуда и не пил, не курил. Слабые сигареты меня не спасают, ищу «Охотничьи», которые мы там курили. Мы их называли «Смерть на болоте».

Не пишите только о нашем афганском братстве. Его нет. Я в него не верю. На войне нас объединил страх. Нас одинаково обманули, мы одинаково хотели жить и одинаково хотели домой. Здесь нас соединяет то, что у нас ничего нет. У нас одна проблема: пенсии, квартиры, хорошие лекарства, протезы, мебельные гарнитуры... Решим их, и наши клубы распадутся. Вот я достану, пропихну, протолкну, выгрызу себе квартиру, мебель, холодильник, стиральную машину, японский «видик» — и все! Сразу станет ясно, что мне в этом клубе больше делать нечего. Молодёжь к



нам не потянулась. Мы непонятны ей. Вроде приравнены к участникам Великой Отечественной войны, но те Родину защищали, а мы? Мы, что ли, в роли немцев — так мне один парень сказал. А мы на них злы. Они тут музыку слушали, с девушками танцевали, книжки читали, пока мы там кашу сырую ели и подрывались на минах. Кто там со мной не был, не видел, не пережил, не испытал — тот мне никто.

Через десять лет, когда у нас вылезут наши гепатиты, контузии, малярии, от нас будут избавляться... На работе, дома... Нас перестанут сажать в президиумы. Мы всем будем в тягость... Зачем ваша книга? Для кого? Нам, кто оттуда вернулся, все равно не понравится. Разве расскажешь все, как было? Как убитые верблюды и убитые люди лежат в одной луже крови, их кровь перемешалась. А больше кому это нужно? Мы всем чужие. Все, что у меня осталось, — это мой дом, жена, ребёнок, которого она скоро родит. Несколько друзей оттуда. Больше я никому не поверю...»

*Рядовой, гранатомётчик*

«И в газетах писали: полк совершил учебный марш и провёл учебную стрельбу... Мы читали, и было обидно. Наш взвод сопровождал машины. Машину можно отвёрткой пробить, для пули она — мишень. Каждый день в нас стреляли, нас убивали. Убили рядом парня... Первого на моих глазах... Мы ещё мало знали друг друга... Из миномёта стреляли... В нём сидело много осколков... Умирал долго... Нас узнавал. Но звал незнакомых нам людей...

Перед отправкой в Кабул чуть не подрался с одним, а его друг от меня его оттаскивает:

— Что ты с ним ссоришься, он завтра летит в Афган!

Там у нас никогда так не было, чтобы у каждого свой котелок, своя ложка. Один котелок — все навалимся, человек восемь. Но Афган — не увлекательная история, не детектив. Лежит убитый крестьянин — тщедушное тело и большие руки... Во время обстрела просишь (кого просишь, не знаю, Бога просишь): пусть земля расступится и спрячет меня... Пусть камень расступится... Жалобно поскуливают во сне минно-розыскные собаки. Их тоже убивали, ранили. Лежали рядом: убитые овчарки и люди, забинтованные собаки и люди. Люди без ног, собаки без ног. Не разобрать, где на снегу собачья кровь, где человеческая. Сбросят в одну кучу трофейное оружие — китайское, американское, пакистанское, советское, английское, — и это все, чтобы тебя убить. Страх человечнее смелости, боишься, жалеешь, хотя бы самого себя... Загоняешь страх в подсознание. Не хочется думать, что будешь лежать невзрачный и

маленький за тысячу километров от дома. Уже в космос летают люди, а как убивали друг друга тысячи лет назад, так и убивают. Пулей, ножом, камнем... В кишлаках наших солдат вилами деревянными закалывали...

Вернулся в восемьдесят первом году. Все было на ура. Выполнили интернациональный долг. Приехал в Москву утром, рано утром. Приехал на поезде. Дождаться вечера, чтобы сутки терять, не мог. Добирался на попутках: до Можайска — на электричке, до Гагарина — на рейсовом автобусе, потом до Смоленска — уже на перекладных. И от Смоленска до Витебска — на грузовой машине. Всего шестьсот километров. Никто деньги не брал, когда узнавали, что из Афгана. Последние два километра — пешком.

Дома — запах тополей, звенят трамваи, девочка ест мороженое. И тополя, тополя цветут! А там природа — это зелёная зона, оттуда стреляют. Так хотелось увидеть берёзку и синичку нашу. Как увижу угол впереди, все внутри сжимается — а кто там за углом? Ещё год боялся выйти на улицу: бронежилета нет, каски нет, автомата нет, как голый. А ночью сны... Кто-то в лоб целится... Такой калибр, что полголовы снесёт... По ночам кричал... Бросался на стену... Затрещит телефон — у меня испарина на лбу: стреляют...

В газетах по-прежнему писали: вертолётчик икс совершил учебный полет... Награждён орденом Красной Звезды... Тут я окончательно «излечился». Афган вылечил меня от иллюзии веры в то, что все у нас правильно, что в газетах пишут правду, что по телевизору говорят правду. «Что делать? Что делать?» — спрашивал я себя. Хотел на что-то решиться... Куда-то пойти... Выступить, сказать... Меня удержала мать: «Мы так живём всю жизнь...»»

*Рядовой, мотострелок*

«Каждый день я себе там говорила: «Дура я, дура. Зачем это сделала?» Особенно ночью появлялись такие мысли, когда не работала, а днём были другие: как всем помочь? Раны страшные... Меня потрясло: зачем такие пули? Кто их придумал? Разве человек их придумал? Входное отверстие — маленькое, а внутри кишки, печень, селезёнка — все посечено, разорвано. Мало убить, ранить, надо ещё заставить так мучиться... Они кричали всегда: «Мама!», когда болит... Когда страшно... Других имён я не слышала...

Я ведь хотела уехать из Ленинграда, на год - два, но уехать. Умер ребёнок, потом умер муж. Ничего не держало меня в этом городе, наоборот, все напоминало, гнало. Там мы с ним встречались... Здесь первый раз

поцеловались... В этом роддоме я родила...

Вызвал главврач:

— Поедете в Афганистан?

— Поеду...

Мне надо было видеть, что другим хуже, чем мне. И я это увидела.

Война, нам говорили, справедливая, мы помогаем афганскому народу покончить с феодализмом и построить светлое социалистическое общество. О том, что наши ребята погибают, как-то умалчивалось, мы поняли так, что там много инфекционных заболеваний — малярия, брюшной тиф, гепатит. Восьмидесятый год... Начало... Прилетели в Кабул... Под госпиталь отдали английские конюшни. Ничего нет... Один шприц на всех... Офицеры выпьют спирт, обрабатываем раны бензином. Раны плохо заживают — мало кислорода. Помогало солнце. Яркое солнце убивает микробы. Первых раненых увидела в нижнем белье и сапогах. Без пижам. Пижамы не скоро появились. Тапочки тоже. И одеяла...

Весь март тут же, возле палаток, сваливали отрезанные руки, ноги, остатки наших солдат, офицеров. Трупы лежали полуголые, с выколотыми глазами, с вырезанными звёздами на спинах и животах... Раньше в кино о гражданской войне такое видела. Цинковых гробов ещё не было. Ещё не заготовили.

Тут начали понемногу задумываться: кто же мы? Наши сомнения не понравились. Тапочек, пижам не было, а уже развешивали привезённые лозунги, призывы, плакаты. На фоне лозунгов — худые, печальные лица наших ребят. Они остались в моем сознании такими навсегда...

Два раза в неделю — политическая учёба. Нас учили все время: священный долг, граница должна быть на замке. Самая неприятная вещь в армии — доносительство: начальник приказывал доносить. По каждой мелочи. На каждого раненого, больного. Это называется: знать настроение... Армия должна быть здоровой... Положено было «стучать» на всех. Жалеть нельзя было. Но мы жалели, на жалости там все держалось...

Спасать, помогать, любить. За этим мы ехали. Проходит какое-то время, и я ловлю себя на мысли, что ненавижу. Ненавижу этот мягкий и лёгкий песок, обжигающий, как огонь. Ненавижу эти горы. Ненавижу эти низкорослые кишлаки, из которых в любой момент могут выстрелить. Ненавижу случайного афганца, несущего корзину с дынями или стоящего возле своего дома. Ещё неизвестно, где они были этой ночью. Убили знакомого офицера, недавно лечившегося в госпитале... Вырезали две палатки солдат... В другом месте была отравлена вода... Кто-то поднял красивую зажигалку, она разорвалась в руках... Это же все наши мальчики

гибли... Свои мальчики... Надо это понять... Вы не видели обожжённого человека... Лица нет... Тела нет... Что-то сморщенное, покрытое жёлтой коркой — лимфатической жидкостью... Не крик, а рык из-под этой корки...

Там жили ненавистью, выживали ненавистью. А чувство вины? Оно пришло не там, а здесь, когда я уже со стороны посмотрела на это. За одного нашего убитого мы иногда убивали целый кишлак. Там мне это казалось справедливостью, здесь я ужаснулась, вспомнив маленькую девочку, лежавшую в пыли без рук, без ног... Как сломанная кукла... А мы ещё удивлялись, что они нас не любят. Они лежали в нашем госпитале... Даёшь женщине лекарство, а она не поднимает на тебя глаз. Она тебе никогда не улыбнётся. Это даже обижало. Там обижало, здесь — нет. Здесь ты уже нормальный человек, к тебе возвратились все чувства.

Профессия у меня хорошая — спасать, она меня и спасла. Оправдала. Мы там были нужны. Не всех спасли, кого могли спасти, — вот что самое страшное. Могла спасти — не было нужного лекарства. Могла спасти — поздно привезли (кто был в медротах? — плохо обученные солдаты, научившиеся только перевязывать). Могла спасти — не добудилась пьяного хирурга. Могла спасти... Мы не могли даже правду написать в похоронках. Они подрывались на минах... От человека часто оставалось полведра мяса... А мы писали: погиб в автомобильной катастрофе, упал в пропасть, пищевое отравление. Когда их уже стали тысячи, тогда нам разрешили сообщать правду родным. К трупам я привыкла. Но то, что это человек, наш, родной, маленький, с этим невозможно было смириться.

Привозят мальчика. Он открыл глаза, посмотрел на меня:

— Ну все... — и умер.

Трое суток его искали в горах. Нашли. Привезли. Он бредил: «Врача! Врача!» Увидел белый халат, подумал — спасён! А рана была несовместимая с жизнью. Я только там узнала, что это такое: ранение в черепную коробку... У каждого из нас в памяти своё кладбище...

Даже в смерти они не были равны. Почему-то тех, кто погиб в бою, жалели больше. Умерших в госпитале — меньше. А они так кричали, умирая... Помню, как умирал в реанимации майор. Военный советник. К нему пришла жена. Он умер у неё на глазах... И она начала страшно кричать... По-звериному... Хотелось закрыть все двери, чтобы никто не слышал... Потому что рядом умирали солдаты... Мальчики... И их некому было оплакивать... Умирали они одни. Она была лишняя среди нас...

— Мама! Мама!

— Я здесь, сынок, — говоришь, обманываешь. Мы стали их мамами, сёстрами. И всегда хотелось оправдать это доверие.

Привезут солдаты раненого. Сдадут и не уходят:

— Девочки, нам ничего не надо. Можно только посидеть у вас?

А здесь, дома, у них свои мамы, сестры. Жены. Здесь мы им не нужны. Там они нам доверяли то о себе, что в этой жизни никому не расскажешь. Ты украл у товарища конфеты и съел. Здесь это чепуха. А там — страшное разочарование в себе. Человек в тех обстоятельствах просвечивался. Если ты трус, то скоро становилось ясно — трус. Если это стукач, то сразу было видно — стукач. Если бабник, все знали — бабник. Не уверена, признается ли кто-либо здесь, а там не от одного слышала: убивать может понравиться, убивать — удовольствие. Знакомый прапорщик уезжал в Союз и не скрывал: «Как я жить теперь буду, мне же убивать хочется?» Говорили об этом спокойно. Мальчики — с восторгом! — как сожгли кишлак, растоптали все. Они же не сумасшедшие были все? Однажды в гости к нам пришёл офицер, он приехал из-под Кандагара. Вечером надо прощаться, а он закрылся в пустой комнате и застрелился. Говорили, что пьяный был, не знаю. Тяжело. Тяжело прожить каждый день. Мальчик на посту застрелился. Три часа на солнце. Мальчик домашний, не выдержал. Было много сумасшедших. Вначале они лежали в общих палатах, потом поместили их отдельно. Они стали убегать, их пугали решётки. Вместе со всеми им было легче. Одного очень запомнила:

— Садись... Я спою тебе дембельскую... — поёт-поёт и заснёт.

Проснётся:

— Домой... Домой... К маме... Мне здесь жарко...

Все время просился домой.

Многие курили. Анашу, марихуану... Кто что достанет... Становишься сильным, свободным от всего. В первую очередь от своего тела. Как будто ты на цыпочках идёшь. Слышишь лёгкость в каждой клеточке. Чувствуешь каждый мускул. Хочется летать. Как будто летишь! Радость неудержимая. Все нравится. Смеёшься над всякой ерундой. Слышишь лучше, видишь лучше. Различаешь больше запахов, больше звуков... Страна любит своих героев!.. В этом состоянии легко убивать. Ты обезболился. Жалости нет. Легко умирать. Страх уходит. Такое чувство, что на тебе бронежилет, что ты бронированный...

Обкуривались и уходили в рейд... Я два раза попробовала. В обоих случаях — когда своих, человеческих сил не хватало... Работала в инфекционном отделении. Должно быть тридцать коек, а лежит триста человек. Брюшной тиф, малярия... Им выдавали кровати, одеяла, а они лежали на голых шинелях, на голой земле, в трусах. Наголо остриженные, а с них сыплются вши... Платяные... Головные... Такого количества вшей я

никогда не увижу... Рядом в кишлаке афганцы ходили в наших больничных пижамах, с нашими одеялами на голове вместо чалмы. Да, наши мальчики все продавали. Я их не осуждаю, чаще не осуждаю. Они умирали за три рубля в месяц — наш солдат получал восемь чеков в месяц... Три рубля... Их кормили мясом с червями, ржавой рыбой... У нас у всех была цинга, у меня выпали все передние зубы. Они продавали одеяла и покупали анашу. Что-нибудь сладкое. Безделушки... Там такие яркие лавки, в этих лавках так много привлекательного. У нас ничего этого нет. И они продавали оружие, патроны... Чтобы самих себя убивать...

После всего там я другими глазами увидела свою страну.

Страшно было сюда возвращаться. Как-то странно. Будто с тебя сорвали всю кожу. Я все время плакала. Никого не могла видеть, кроме тех, кто там был. С ними бы проводила день и ночь. Разговоры других казались суетой, вздором каким-то. Полгода так длилось. А теперь сама в очереди за мясом ругаюсь. Стараешься жить нормальной жизнью, как жила «до». Но это не получается. Я стала равнодушной к себе, к своей жизни. Жизнь кончена, ничего дальше не будет. А у мужчин это приживание ещё мучительнее. Женщина может зацепиться за быт, за чувство, а они возвращаются, влюбляются, у них рождаются дети, а все равно — Афганистан для них выше всего. Мне самой хочется разобраться: почему так? Что же это было? Зачем это все было? Почему так это меня трогает? Там это загонялось вовнутрь, тут вылезло.

Их надо жалеть, жалеть всех, кто там был. Я — взрослый человек, мне было тридцать лет, и то какая ломка. А они — маленькие, они ничего не понимают. Их взяли из дому, дали в руки оружие и научили убивать. Им говорили, им обещали: идёте на святое дело. Родина вас не забудет. Теперь от них отводят глаза: стараются забыть эту войну. Все! И те, кто нас туда послал. Даже мы сами при встречах все реже говорим о войне. Эту войну никто не любит. Хотя я до сих пор плачу, когда играют афганский гимн. Полюбила всю афганскую музыку. Я её во сне слышу. Это как наркотик.

Недавно в автобусе встретила солдата. Мы его лечили. Он без правой руки остался. Я его хорошо помнила, тоже ленинградец.

— Может, тебе, Серёжа, чем-нибудь помочь надо?

А он зло:

— Да пошли вы все!

Я знаю, он меня найдёт, попросит прощения. А у него кто попросит? У всех, кто там был? Кого сломало? Не говорю о калеках. Как надо не любить свой народ, чтобы посылать его на такое. Я теперь не только люблю войну, я мальчишеские драки ненавижу. И не говорите мне, что война эта

кончилась. Летом дохнет горячей пылью, блеснёт кольцо стоячей воды, резкий запах сухих цветов... Как удар в висок... И это будет преследовать нас всю жизнь...»

### *Медсестра*

«Уже отдохнул от войны, отошёл — не передам все как было. Эту дрожь во всем теле, эту ярость... До армии закончил автотранспортный техникум, и меня назначили возить командира батальона. На службу не жаловался. Но стали у нас настойчиво говорить об ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, ни один политчас не обходился без этой информации: наши войска надёжно охраняют границы Родины, оказывают помощь дружественному народу. Мы стали волноваться: могут на войну послать. Чтобы обойти солдатский страх, нас решили, как я теперь понимаю, обмануть. Вызывали к командиру части и спрашивали:

— Ребята, хотите работать на новеньких машинах?

Разумеется, в один голос:

— Да! Мечтаем.

Дальше следовало:

— Но сначала вы должны поехать на целину и помочь убрать хлеб.

Все согласились.

В самолёте случайно услышали от лётчиков, что летим в Ташкент. У меня невольно возникли сомнения: на целину ли мы летим? Сели действительно в Ташкенте. Строем отвели в огороженное проволокой место недалеко от аэродрома. Сидим. Командиры ходят какие-то возбуждённые, шепчутся между собой. Подоспело время обеда, к нашей стоянке один за другим подтаскивают ящики с водкой.

— В колонну по два ста-а-ановись!!

Построили и тут же объявили, что, мол, через несколько часов за нами прилетит самолёт — мы направляемся в Республику Афганистан выполнять свой воинский долг, присягу.

Что тут началось! Страх, паника превратили людей в животных — одних в тихих, других в разъярённых. Кто-то плакал от обиды, кто-то впал в оцепенение, в транс от невероятного, гнусного обмана, совершенного над нами. Вот для чего, оказывается, приготовили водку. Чтобы легче и проще с нами поладить. После водки, когда в голову ударил ещё и хмель, некоторые солдаты пытались убежать, бросались драться к офицерам. Но лагерь оцепили солдаты других частей, они стали теснить всех к самолёту. В самолёт нас грузили, как ящики, забрасывали в железное пустое брюхо.

Так мы оказались в Афганистане. Через день уже видели раненых, убитых. Услышали слова: «разведка», «бой», «операция». Мне кажется, со мной случился шок от всего происшедшего, я стал приходить в себя, осознавать ясно окружающее лишь через несколько месяцев.

Когда моя жена спросила: «Как муж попал в Афганистан?» — ей ответили: «Изъявил добровольное желание». Такие ответы получили все наши матери и жены. Если бы моя жизнь, моя кровь понадобились для большого дела, я сам сказал бы: «Запишите меня добровольцем!» Но меня дважды обманули: мне ещё не сказали правду, какая это война, — правду я узнал через восемь лет. Лежат в могилах мои друзья и не знают, что их обманули с этой подлой войной. Я иногда им даже завидую: они никогда об этом не узнают. И их больше уже не обманут...»

*Рядовой, водитель*

«Муж служил долгое время в Германии, затем — в Монголии. Очень скучала без Родины. Двадцать лет моих прошли вне Родины, которую я любила безудержной любовью. И я написала в генеральный штаб, что всю жизнь за границей, что больше не могу. Прошу помочь вернуться домой...

Мы уже сели в поезд, а я все не верила. Каждую минуту спрашивала у мужа:

— Мы едем в Советский Союз? Ты меня не обманываешь?

На первой станции взяла в руку кусочек родной земли, смотрю на неё и улыбаюсь — родная! Я её ела, поверьте. Умывала ею лицо.

Юра у меня был старшенький. Нехорошо матери в этом признаваться, но я любила его больше всех. Больше, чем мужа, больше, чем второго сына. Он был маленький, я спала и держала его за ножку. Не могла себе представить: как это я побегу в кино, а сына оставлю с кем-то. Брала его, трехмесячного, несколько бутылочек молока, и мы отправлялись в кино. Могу сказать, что я всю жизнь была с ним. Воспитывала его только по книгам, по идеальным образам: Павка Корчагин, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская. В первом классе знал наизусть не сказки, не детские стихи, а целые страницы из «Как закалялась сталь» Николая Островского. Учительница была в восторге:

— Кто твоя мама, Юра? Ты уже так много прочитал.

— Моя мама работает в библиотеке.

Он знал идеалы, но не знал жизни. Я тоже, столько лет живя вдали от Родины, воображала, что жизнь состоит из идеалов. Вот случай. Мы уже вернулись в родные места, жили в Черновцах. Юра учился в военном училище. Однажды в два часа ночи — звонок в дверь. Стоит на пороге он.



— Ты, сынок? Что так поздно? Почему в дождь? Мокрый весь...

— Мама, я приехал тебе сказать: мне трудно жить. То, чему ты учила... Ничего этого нет... Откуда ты это все взяла?.. А это только начало. Как я буду жить дальше?..

Всю ночь мы с ним просидели на кухне. О чем я могла говорить? Опять о том же: жизнь прекрасна, люди хорошие. Все правда. Он меня тихо слушал. Утром уехал в училище.

Не раз я настаивала:

— Юра, бросай училище, иди в гражданский институт. Твое место там. Я же вижу, как ты мучаешься.

Он не был доволен своим выбором, потому что военным стал случайно. Из него мог получиться хороший историк. Учёный. Жил он книгами: «Какая прекрасная страна — Древняя Греция». А в десятом классе на зимних каникулах поехал в Москву. Там у меня живёт брат, полковник в отставке. Юра с ним поделился: «Хочу поступать в университет на философский факультет». Тот не одобрил:

— Ты честный парень, Юра. Быть философом в наше время тяжело. Надо обманывать себя и других. Будешь говорить правду, угодишь за решётку или в сумасшедший дом.

И весной Юра решает:

— Мама, не спрашивай меня ни о чем. Я буду военным.

Я видела в военном городке цинковые гробы. Но тогда — один сын в седьмом классе, другой — совсем маленький. Надеюсь: пока они вырастут, война кончится. Разве война может быть такой длинной? «А она оказалась длиной в школу, тоже десять лет», — сказал кто-то на Юриных поминках.

Выпускной вечер в училище. Сын — офицер. Но я не понимала, как это Юре надо будет куда-то уезжать. Не представляла на миг своей жизни без него.

— Куда тебя могут послать?

— Попрошусь в Афганистан.

— Юра!!!

— Мама, ты меня воспитала таким, теперь не вздумай перевоспитывать. Ты правильно меня воспитала. Все те выродки, которых я встречал в жизни, — не мой народ и не моя Родина. Я поеду в Афганистан, чтобы доказать им, что в жизни есть высокое, что не каждому нужен для счастья только забитый мясом холодильник.

Он не один просился в Афганистан, много мальчиков подавало рапорт. Все они — из хороших семей: то отец председатель колхоза, то учитель...

Что я могла сказать своему сыну? Что Родине это не нужно? А те, кому он хочет что-то доказать, как считали, так и будут считать, мол, в Афганистан едут только за тряпками, за чеками. За орденами, за карьерой... Для них Зоя Космодемьянская — фанатичка, а не идеал, потому что нормальный человек на такое не способен...

Не знаю, что со мной произошло: плакала, умоляла. Призналась ему в том, в чем сама себе боялась признаться, — в своём поражении или прозрении, не знаю, как это назвать.

— Юрочка, жизнь совсем не такая, как я тебя учила. И если я узнаю, что ты в Афганистане, выйду на площадь, на лобное место... Оболю себя бензином и сожгу. Тебя убьют там не за Родину... Тебя убьют неизвестно за что... Разве может Родина посылать на гибель своих лучших сыновей без великой идеи? Что же это за Родина?..

И он обманул меня, сказал, что поедет в Монголию. Но я знала: это же мой сын, он будет в Афганистане.

В то же время ушёл в армию Гена, мой младший. Я за него была спокойна, он вырос другим. Их вечный спор с Юрой.

Юра:

— Ты, Гена, мало читаешь. Никогда не увидишь у тебя книгу на коленях. Всегда гитара...

Гена:

— Я не хочу быть таким, как ты. Я хочу быть как все.

Они уехали, я перешла к ним в детскую. Потеряла интерес ко всему, кроме их книг, их вещей, их писем. Юра писал о Монголии, но так запутывался в географии, что я уже не сомневалась, где он. Днём и ночью перебирала свою жизнь. Резала себя по кусочкам. Эту боль не передать никакими словами, никакой музыкой. Я сама его туда отправила. Сама!

...Входят какие-то чужие люди, по их лицам сразу ловлю — они принесли мне беду. Отступаю в комнату. Остаётся последняя страшная надежда:

— Гена?!

Они отводят глаза. А я ещё раз готова отдать им одного сына, чтобы спасти другого.

— Гена?!

Тихо-тихо кто-то из них произнёс:

— Нет, Юра...

Дальше не могу... Не могу дальше... Два года я умираю... Я ничем не больна, но я умираю. Все тело у меня мёртвое... Я не сожгла себя на площади... Муж не отнёс и не бросил им в лицо партбилет... Мы,

наверное, уже умерли... Только никто об этом не знает... Мы сами об этом не знаем...»

*Мать*

«Сразу я себя убедил: «Я все забываю... Я все забываю...» У нас в семье — табу на эту тему. Жена там поседела в сорок лет, у дочери были длинные волосы, сейчас носит короткую стрижку. Во время ночных обстрелов Кабула не могли её добудиться и тянули за косы. А через четыре года меня вдруг понесло, понесло... Хочу говорить... И вчера зашли случайные гости, не могу себя остановить... Принёс альбом... Показал слайды: висают над кишлаком «вертушки»... Кладут на носилки раненого, рядом — его оторванную ногу в кроссовке... Пленные, приговорённые к расстрелу, наивно смотрят в объектив, через десять минут их уже не будет... Аллах акбар!<sup>[3]</sup> Оглянулся: мужчины на балконе курят, женщины удалились на кухню. Сидят только их дети. Подростки. Этим любопытно. Не понимаю, что со мной творится? Хочу говорить. Отчего вдруг? Чтобы ничего никогда не забыть...

Как было тогда, что я чувствовал тогда — не передам. Я, может, смогу рассказать о своих чувствах через четыре года. Через десять лет все станет звучать иначе, может быть, разобьётся вдребезги.

Была какая-то злость. Досада. Почему я должен ехать? Почему на мне сошлось? Но ощутил нагрузку, не сломался — это дало удовлетворение. Начинаешь готовиться с самой мелочёвки: какой ножик с собой взять, какой бритвенный прибор... Собрался... И тут уж невтерпёж: скорее встретиться с неизвестным, чтобы не прошёл подъем, высота чувств. Схема получается... Это вам расскажет любой и каждый... А у меня озноб или пот прошибает... И ещё такой момент: когда самолёт приземлился, облегчение и в то же время возбуждение — сейчас все начнётся, увидим, пощупаем, поживём этим.

...Стоят трое афганцев, о чем-то разговаривают, смеются. Пробежал вдоль торговых рядов грязный мальчишка, нырнул куда-то в толстые тряпки под прилавок. Уставился на меня немигающим зелёным глазом попугай, Я смотрю и не понимаю, что происходит... Они не прерывают разговора... Тот, что спиной ко мне, поворачивается... И я смотрю на дуло пистолета... Пистолет поднимается... поднимается... Вот отверстие... Я его вижу. Одновременно я слышу резкий щелчок, и одновременно меня нет... Я нахожусь в одно и то же время и по ту, и по эту сторону... Но я ещё не лежу, а стою. Хочу с ними говорить, не могу: а-а-а-а...

Мир проявляется медленно, как фотография... Окно... Высокое

окно... Что-то белое и что-то большое, грузное в этом белом... Очки мешают мне разглядеть лицо... С него падает пот... и капли пота меня больно ударяют по лицу... Поднимаю неподъемные веки и слышу облегченный вздох:

— Ну все, товарищ подполковник, вернулся из «командировки».

Но если я подниму голову, хотя бы поверну её, у меня куда-то провалится мозг. Опять ныряет в толстые тряпки под прилавков мальчишка... Уставился на меня немигающим зелёным глазом попугай... Стоят трое афганцев... Тот, что спиной ко мне, поворачивается... И я упираюсь взглядом в дуло пистолета... Вот отверстие... Я его вижу... Теперь я не жду знакомого щелчка... Кричу: «Я должен тебя убить! Я должен тебя убить!...»

Какого цвета крик? Какого вкуса? А какого цвета кровь? В госпитале — она красная, на сухом песке — серая, на скале — ярко-синяя к вечеру, уже не живая... Из тяжело раненного человека кровь вытекает быстро, как из разбитой банки... И человек тухнет... тухнет... Одни глаза до конца блестят и смотрят мимо тебя... Упорно куда-то мимо...

За все заплачено. За все нами заплачено. Сполна.

Вы смотрите на горы снизу — бесконечные, не достать, поднимитесь на самолёте — внизу перевёрнутые сфинксы лежат. Понимаете, о чем я? О времени. О расстоянии между событиями. Тогда даже мы, участники, не знали, что это за война. Не путайте меня сегодняшнего со мной вчерашним, с тем, кто в семьдесят девятом был там. Да, я этому верил! А в восемьдесят третьем приехал в Москву. Тут жили так, вели себя так, как будто нас там не было. И войны никакой не было. Я шёл по Арбату и останавливал людей:

— Сколько лет идёт война в Афганистане?

— Не знаю...

— Сколько лет идёт война...

— Не знаю, зачем это вам?

— Сколько лет?

— Кажется, два года...

— Сколько лет...

— А что, там война? На самом деле?

Что мы все думали тогда? Что? Молчите?! Я тоже молчу. Старая китайская мудрость гласит: «Достоин всяческого презрения охотник, хвастающийся у ног сдохшего льва. И достоин всяческого уважения охотник, хвастающийся у ног поверженного льва». Кто-то может говорить об ошибках. Правда, не знаю: кто? Но я — нет. Меня спросят: «Почему вы

молчали тогда? Ведь вы были не мальчик. Вам было без малого пятьдесят лет».

Понимаете ещё что: я там стрелял, и в то же время я уважаю этот народ. И даже его люблю. Мне нравятся его песни, его молитвы: спокойные и бесконечные, как его горы. Но вот я — буду говорить только о себе — искренне верил, что юрта хуже пятиэтажного дома, что без унитаза нет культуры. И мы завалим их унитазами и построим каменные дома... И мы привезли им столы для кабинетов, графины для воды, и красные скатерти для официальных заседаний, и тысячи портретов Маркса, Энгельса, Ленина. Они висели во всех кабинетах, над головой каждого начальника. Мы привезли им чёрные «Волги». И наши тракторы, и наших племенных бычков. Крестьяне (дехкане) не хотели брать землю, которую им дарили, потому что она принадлежит Аллаху. Как из космоса, смотрели на нас проломленные черепа мечетей...

Мы никогда не узнаем, как муравей видит мир. Найдите об этом у Энгельса. А у востоковеда Спенсера: «Афганистан нельзя купить, его можно перекупить». Утром закуриваю сигарету: на пепельнице сидит маленькая, как майский жук, ящерица. Возвращаюсь через несколько дней: ящерица сидит на пепельнице в той же позе, даже головку ещё не повернула. Понял: вот он — Восток. Я десять раз исчезну и воскресну, разобьюсь и поднимусь, а она ещё не успеет своей крошечной головки повернуть. По их календарю — тысяча триста шестьдесят пятый год...

Вот я сижу дома, в кресле, у телевизора. Могу ли я убить человека? Да я и мухи не убью! У меня до сих пор живую курицу с базара жена режет. Первые дни, даже месяцы, пули срезают ветки тутовника — ощущение нереальности... Психология боя иная... Бежишь и ловишь цель... Впереди... Боковым зрением... Я не считал, сколько я убил... Но бежал... Ловил цель... Здесь... Там... Живую движущуюся цель... И сам тоже был целью... Мишенью... Нет, с войны не возвращаются героями... Оттуда нельзя вернуться героем...

За все заплачено. За все нами заплачено...

Вы представляете себе и любите солдата сорок пятого года, которого любила вся Европа. Наивный, простоватый, с широким поясом. Ему ничего не надо. Ему нужна победа и — домой! А этот солдат, который вернулся в ваш подъезд, на вашу улицу, — другой. Этому солдату нужны были джинсы и магнитофон. Ещё древние говорили: не будите спящую собаку. Не давайте человеку нечеловеческих испытаний. Он их не выдержит.

Своего любимого Достоевского там читать не мог. Мрачно. Таскал за собой фантастику. Брэдли. Кто хочет жить вечно? Никто.

Но ведь было же. Было! Помню... В тюрьме мне показали главаря, как мы тогда называли, банды. Лежит на железной кровати и читает... Знакомый книжный переплёт... Ленин: «Государство и революция»... «Жаль, — сказал, — не успею прочитать. Может, мои дети прочтут...»

Сгорела школа. Осталась одна стена. Каждое утро дети приходят на урок и пишут на ней угольками, оставшимися после пожара. После уроков стену белят известью. И она снова похожа на чистый лист белой бумаги...

Привезли из «зелёнки» лейтенанта без рук и без ног. Без всего мужского. Первые слова, которые он произносит после шока: «Как там мои ребята?»...

За все заплачено. И мы заплатили больше всех. Больше вас.

Нам ничего не надо, мы все прошли. Выслушайте нас и поймите. А все привыкли к действию — дать лекарство, дать пенсию, дать квартиру... Это «дайте» оплачено дорогой валютой — кровью. Но мы к вам на исповедь пришли... Мы исповедуемся... Не забудьте о тайне исповеди...»

*Военный советник*

«Нет, все-таки хорошо, что так кончилось. Поражением. У нас глаза откроются...

Невозможно рассказать все, как было. Это иллюзия. Было то, что было, после чего осталось то, что я увидел и запомнил, уже только часть от целого, а дальше появится то, что смогу рассказать. А ради кого? Ради Алёшки, который умер у меня на руках — восемь осколков в живот... Мы спускали его с гор восемнадцать часов... Семнадцать часов он жил, на восемнадцатом — умер... Ради Алёшки вспомнить? Но это только с точки зрения религии человеку что-нибудь нужно. Я больше верю, что им не больно, не страшно и не стыдно. Тогда зачем ворошить? Хотите узнать у нас о каких-то идеалах? Вы, наверное, принимаете нас за других? Поймите, трудно в чужой стране, воюя неизвестно за что, приобрести какие-то идеалы. Там мы были одинаковые, но не были единомышленниками. Одинаковыми нас делало то, что мы могли убить и убивали. Но случаю ничего не стоило поменять местами тех, кто там был, и тех, кто там не был. Мы все разные, но мы везде одинаковые — и там и здесь.

Помню, в шестом или седьмом классе учительница русской литературы вызвала к доске:

— Кто твой любимый герой: Чапаев или Павел Корчагин?

— Гек Финн.

— Почему Гек Финн?

— Гек Финн, когда решал — выдать беглого негра Джима или гореть

за него в аду, — сказал себе: «Ну и черт с ним, буду гореть в аду» — но Джима не выдал.

— А если бы Джим был белый, а ты красный? — спросил после уроков Алёшка, мой друг.

Так всю жизнь и живём — белые и красные, кто не с нами, тот против нас.

Под Баграмом зашли в кишлак, попросили поесть. По их законам, если человек в твоём доме и голодный, ему нельзя отказать в горячей лепёшке. Женщины посадили нас за стол и покормили. Когда мы уехали, этих женщин и их детей кишлак до смерти закидал камнями и палками. Они знали, что их убьют, но все равно нас не выгнали. А мы к ним со своими законами... В шапках заходили в мечеть...

Зачем заставлять меня вспоминать? Это все очень интимное: и первый мой убитый, и моя собственная кровь на лёгком песке, и высокая труба верблюжьей головы, качнувшаяся надо мной прежде, чем я потерял сознание. И в то же время я там был как все. За всю свою жизнь я один раз отказался быть как все... В детском садике нас заставляли братья за руки и ходить парами, а я любил гулять один. Молодые воспитательницы какое-то время терпели мои выходки, но скоро одна из них вышла замуж, уехала, вместо неё к нам привели тётю Клаву.

— Бери за руку Серёжу, — подвела ко мне другого мальчика тётя Клава.

— Не хочу.

— Почему ты не хочешь?

— Люблю гулять один.

— Делай, как делают все послушные мальчики и девочки.

— Не буду.

После прогулки тётя Клава раздела меня, даже трусики сняла и маечку, отвела и оставила на три часа в пустой тёмной комнате. На завтра я шёл с Серёжей за руку, я стал как все. В школе — класс решил, в институте — курс решил, на заводе — коллектив решил. Всюду за меня решали. Мне внушили, что один человек ничего не может. В какой-то книге наткнулся на слова «убийство мужества». Когда отправлялся туда, во мне нечего было убивать: «Добровольцы, два шага вперёд». Все два шага вперёд, и я — два шага вперёд.

В Шинданде видел двух помешавшихся наших солдат, они все время «вели» переговоры с «духами». Они им объясняли, что такое социализм по учебнику истории за десятый класс... «А дело в том, что идол был пустой, и саживались в нем жрецы вещать мирянам». Дедушка Крылов. А однажды

в школу, мне лет одиннадцать было, пришла «тётя снайпер», которая убила семьдесят восемь «дядей фрицев». Вернулся домой, заикался, ночью поднялась температура. Родители решили: грипп. Заразная болезнь. Недельку дома просидел. Любимого своего «Овода» читал.

Зачем заставлять меня вспоминать? Я свои довоенные джинсы, рубашки не смог носить, это была одежда чужого, незнакомого мне человека, хотя она сохраняла мой запах, как уверяла мать. Того человека уже нет, он не существует. Этот другой, который теперь я, носит ту же фамилию. Но не пишите его фамилию... Мне все-таки нравился тот первый человек. «Падре, — спросил Овод у Монтанелли, — теперь ваш Бог удовлетворён?» Кому мне бросить эти слова? Как гранату...»

*Рядовой, артиллерист*

«Как я сюда попала? Очень просто. Верила всему, что писали в газетах. Я себе говорила: «Раньше подвиги совершали, были способны на самопожертвование, а теперь наша молодёжь никуда не годится. И я такая же. Там война, а я себе платье шью, причёску новую придумываю». Мама плакала: «Умирать буду — не прощу. Я не для того вас рожала, чтобы хоронить отдельно руки, ноги».

Из первых впечатлений? Пересылка в Кабуле — колючая проволока, солдаты с автоматами, собаки лают. Одни женщины. Сотни женщин. Приходят офицеры, выбирают, кто посимпатичнее, помоложе. Откровенно. Меня подозвал майор:

— Давай отвезу в свой батальон, если тебя не смущает моя машина.

— Какая машина?

— Из-под груза «двести»...

Я уже знала, что «груз двести» — это убитые, это гробы.

— Гробы есть?

— Сейчас выгрузят.

Обыкновенный «КамАЗ» с брезентом. Гробы бросали, как ящики с патронами. Я ужаснулась. Солдаты поняли: «Новенькая». Приехали в часть. Жара шестьдесят градусов. В туалете мух столько, что могут поднять тебя на крыльях. Душа — нет. Я — единственная женщина.

Через две недели вызвал комбат:

— Ты будешь жить со мной...

Два месяца отбивалась. Один раз чуть гранатой не бросила, в другой — за нож ухватилась. Наслушалась: «Выбираешь выше звёздами... Чай с маслом захочешь — сама придёшь...» Никогда раньше не материлась, а тут:



— Да вали ты отсюда...

У меня мат-перемат, огрубела. Перевели в Кабул, дежурной в гостиницу. Первое время на всех зверем кидалась. Смотрели как на ненормальную.

— Чего ты бросаешься? Мы кусаться не собираемся.

А я по-другому не могла, привыкла защищаться.

Позовёт кто-нибудь:

— Зайди чаю попить.

— Ты меня зовёшь на чашку чая или на палку чая?

Пока у меня не появился мой... Любовь? Таких слов здесь не говорят. Вот знакомит он меня со своими друзьями:

— Моя жена.

А я ему на ухо:

— Афганская.

Ехали на бэтээре. Я его собой прикрыла, но, к счастью, пуля — в люк. А он сидел спиной. Вернулись, написал жене обо мне. Два месяца не получает из дому писем.

...Люблю пойти пострелять. Полностью весь магазин выпускаю одной очередью. Мне становится легче.

Одного «духа» сама убила. Выехали в горы, подышать, полюбоваться. Шорох за камнем, меня током назад, и я — очередь. Первая. Подошла, посмотрела: сильный, красивый мужчина лежал...

— С тобой можно в разведку, — сказали ребята. Я нос задрала. Им ещё понравилось, что я не полезла к нему в сумку за вещами, а взяла только пистолет. Потом они всю дорогу меня сторожили — вдруг замутит, тошнить начнёт. Ничего...

Пришла, открыла холодильник и много съела, так много, что в другой раз мне бы этого на неделю хватило. Нервное расстройство. Принесли бутылку водки. Пила, не пьянела. Жуть брала: промажь я, и моя мама получила бы «груз двести».

Я хотела быть на войне, но не на этой, а на Великой Отечественной.

Откуда бралась ненависть? Очень просто. Убили товарища, а ты с ним был рядом, ел из одного котелка. И вот он лежит весь обгоревший. Сразу все понятно. Тут будешь стрелять до сумасшествия. Мы не привыкли думать о больших вопросах: кто это затеял? Кто виноват? Любимый наш анекдот на эту тему. У армянского радио спрашивают: что такое политика? Армянское радио отвечает: вы слышали, как писает комар? Так политика — это ещё тоньше. Пусть правительство политикой занимается, а тут люди видят кровь и звереют... Видят, как обгоревшая кожа сворачивается в

трубочку, точно лопнувший капроновый чулок... Жуть, когда животных убивают... Расстреливали караван, он вёз оружие. Людей расстреливали отдельно, ишаков — отдельно. Они одинаково молчали и ждали смерти. Раненый ишак кричал, как будто по железу тянули чем-то железным. Скрипуче так...

У меня здесь другое лицо, другой голос. Можете представить, какие мы здесь, девчонки, если сидим и говорим:

— Ну и дурак! Поссорился с сержантом и ушёл к «духам». Стрельнул бы, и все. Списали бы на боевые потери.

Откровенный разговор. Ведь другие офицеры думали, что тут, как в Союзе: можно ударить солдата, оскорбить... Таких находили убитыми... В бою в спину выстрелят... Пойди докажи.

На заставах в горах ребята никого годами не видят. Вертолёт три раза в неделю. Я приехала. Подошёл капитан:

— Девушка, снимите фуражку. — а у меня были длинные волосы. — Я целый год не видел женщину.

Все солдаты высыпали из траншей, смотрели.

А в бою меня закрыл собой один солдат. Сколько я буду жива, буду его помнить. Он меня не знал, он это сделал только потому, что я — женщина. Такое забудешь? И где ты в обычной жизни проверишь, сможет ли тебя закрыть собою человек? Тут лучшее — ещё лучше, плохое — ещё хуже. Обстреливают... И солдат крикнул мне какую-то пошлость. Грязную. И его убило, отрезало половину головы, половину туловища. На моих глазах... Меня затрясло, как в малярии. Хотя я до этого видела большие целлофановые мешки с трупами... Трупы, завёрнутые в фольгу, как большие игрушки... Но чтобы меня трясло, такого не было... А тут я не могла успокоиться...

Не встречала, чтобы девчонки у нас носили боевые награды, даже если они у них есть. Одна надела медаль «За боевые заслуги», все смеялись: «За половые заслуги»... Потому что все знают: медаль можно получить за ночь с комбатом... Почему женщины здесь? Что, без них нельзя было обойтись? Так некоторые господа офицеры с ума сойдут. Почему женщины сюда рвутся? Деньги... Купишь магнитофон, вещи. Вернёшься домой — продашь. В Союзе столько не зарабатываешь, как тут, в Афгане. У нас же честный разговор... Наши женщины продаются дукащикам<sup>[4]</sup> прямо в дуканах, в подсобках, а они такие маленькие... Зайдёшь в дуكان, бочата<sup>[5]</sup> кричат: «Ханум, джик-джик...» — и показывают на подсобку. Свои офицеры расплачиваются чеками, так и говорят: «Пойду к «чекистке»»...

Все это — тоже правда. Как и этот анекдот. В Кабуле на пересыльном пункте встретились: Змей Горыныч, Кощей Бессмертный и Баба Яга. Все едут защищать революцию. Через два года увидели друг друга по дороге домой: у Змея Горыныча только одна голова уцелела, остальные снесли; Кощей Бессмертный чуть живым остался, потому что бессмертный, а Баба Яга — вся в «Монтане»: варенка на ней. Весёлая, довольная:

— А я на третий год оформляюсь.

— Ты с ума сошла, Баба Яга!

— Это я в Союзе Баба Яга, а тут — Василиса Прекрасная.

Да, поломанные люди отсюда выходят, особенно солдаты, мальчики восемнадцати - девятнадцати лет. Они увидели тут, как все продаётся... Многое... Как женщина продаёт ночь за ящик, да где там ящик, за две банки тушёнки. Потом этими глазами он будет смотреть на жену. Их тут сломали. Не надо удивляться, что они себя потом как-то не так ведут в Союзе. У них другой опыт. Они привыкли все решать автоматом, силой... Дуканчик продавал арбузы, один арбуз — сто афгашек. Наши солдаты хотели дешевле. Он отказывался. Ах так! — один взял и расстрелял из автомата все арбузы, целую гору арбузов. Попробуй такому в троллейбусе наступить на ногу или не пропустить в очереди...

Мечтала: вернусь домой, вынесу раскладушку в сад и засну под яблоней... Под яблоками. А теперь боюсь. От многих можно услышать, особенно сейчас, перед выводом наших войск: «Я боюсь возвращаться в Союз». Почему? Очень просто. Мы приедем, там все изменилось: другая мода за эти два года, другая музыка, другие улицы... Другое отношение к этой войне... Мы будем как белые вороны...»

*Служащая*

«Я настолько верил, что сейчас не могу с этим расстаться. Что бы мне ни говорили, что бы я ни читал, каждый раз оставляю себе маленькую лазейку. Срабатывает инстинкт самосохранения. Перед армией окончил институт физкультуры. Последнюю, дипломную, практику проходил в Артеке, работал вожатым. Там столько раз произносил высокие слова: пионерское слово, пионерское дело... Сам в военкомате попросился: «Отправьте меня в Афганистан...» Замполит нам читал лекции о международном положении, это он сказал, что мы всего лишь на один час опередили американские «зеленые береты», они уже находились в воздухе. Обидно за свою доверчивость. Нам вдалбливали, вдалбливали и наконец вдолбили, что это — «интернациональный долг». До конца дойти никогда не смогу... «Сними, — говорю себе, — розовые очки». Уезжал я не в

восьмидесятом и не в восемьдесят первом году, а в восемьдесят шестом. Но ещё все молчали. В восемьдесят седьмом я уже был в Хосте. Мы взяли одну горку... Семь наших ребят положили... Приехали московские журналисты... Им привезли «зелёных» (Афганская народная армия), якобы это они отбили горку... Афганцы позировали, а наши солдаты в морге лежали...

В Афганистан в «учебке» отбирали самых лучших. Страшно было попасть в Тулу, в Псков или в Кировабад — грязно и душно. А в Афганистан просились, добивались. Майор Здобин начал нас с Сашей Кривцовым, моим другом, уговаривать, чтобы мы забрали свои рапорты:

— Пусть лучше Сеницын погибнет, чем кто-нибудь из вас. На вас государство столько затратило.

Сеницын — простой крестьянский парень, тракторист. Я уже с дипломом. Саша учился на факультете германо-романской филологии Кемеровского университета. Он исключительно пел. Играл на фортепиано, скрипке, флейте, гитаре. Музыку сочинял. Рисовал хорошо. Мы жили с ним как братья. На политчасах нам о подвигах рассказывали, о героизме. Афганистан, утверждали, та же Испания. И вдруг: «Лучше пусть Сеницын погибнет, чем кто-нибудь из вас».

Увидеть войну было интересно с психологической точки зрения. Прежде всего изучить себя. Меня это привлекало. Спрашивал у знакомых ребят, кто там был. Один, как я теперь понимаю, лапшу нам на уши вешал. У него на груди виднелось крупное пятно, как бы от ожога, буквой «р», он специально носил открытые рубашки, показывал. Сочинял, как они ночью с «вертушек» на горы садились, ещё я запомнил, что десантник три секунды — ангел, до раскрытия парашюта, три минуты — орёл, пока летит, остальное время — ломовая лошадь. Мы принимали все за чистую монету. Повстречался бы мне сейчас этот Гомер! Таких потом раскусывал с ходу: «Если бы были мозги, то была бы контузия». Другой парень, наоборот, отговаривал:

— Не нужно тебе туда ехать. Это грязь, а не романтика.

Мне не нравилось:

— Ты пробовал? Я тоже хочу попробовать.

Он учил, как остаться живым. Десять заповедей:

— Выстрелил — откатись на два метра от места, с которого стрелял. Прячь за дувал или за скалу ствол автомата, чтобы не увидели пламя, не засекли. Когда идёшь, не пей, не дойдёшь. В карауле — не засни, царапай себе лицо, кусай за руку. Десантник бежит сначала сколько может, а потом сколько надо.

Отец у меня учёный, мама — инженер. Они с детства воспитывали во мне личность. Я хотел быть личностью, меня исключили из октябрят, долго не принимали в пионеры. Дрался за честь. Повязали галстук, я его не снимал, спал с ним. На уроках литературы учительница обрывала:

— Не говори сам, а говори как в книге.

— Я неправильно рассказываю?

— Не как в книге...

Как в сказке, где царь не любил все краски, кроме серых. И все в этом царстве-государстве было мышинного цвета.

Сейчас я призываю своих учеников:

— Учитесь думать, чтобы из вас не сделали очередных дураков. Оловянных солдатиков.

До армии меня учили жить Достоевский и Толстой, в армии — сержанты. Власть сержантов — неограниченная, три сержанта на взвод.

— Слушай мою команду! Что должен иметь десантник? Повторить!

— Десантник должен иметь наглую морду, железный кулак и ни грамма совести.

— Совесть — это роскошь для десантника. Повторить!

— Совесть — это роскошь для десантника.

— Вы — медсанбат. Медсанбат — белая кость ВДВ (воздушно-десантных войск). Повторить!

Из солдатского письма: «Мама, купи щенка и назови Сержантом, приеду домой — убью».

Сам режим забивает сознание, нет сил сопротивляться, с тобой можно сделать все.

В шесть часов утра — подъем. Три раза: подъем — отбой. Встать — лечь.

Три секунды, чтобы построиться на «взлетке», — белый линолеум, белый, чтобы чаще мыть, драить. Сто шестьдесят человек должны соскочить с кроватей и за три секунды построиться. За сорок пять секунд одеться по форме номер три — полная форма, но без ремня и шапки. Как-то один не успел накрутить портянки.

— Разойтись и повторить!

Опять не успел.

— Разойтись и повторить!

Физзарядка. Рукопашный бой: сочетание каратэ, бокса, самбо и боевых приёмов против ножа, палки, сапёрной лопатки, пистолета, автомата.

Он — с автоматом, ты — с голыми руками. Ты — с сапёрной лопаткой,

он — с голыми руками.

Сто метров «зайчиком». Десять кирпичей сломать кулаком. Заводили на стройку: «Не уйдёте, пока не научитесь». Самое трудное — преодолеть себя, не бояться бить.

— Медсанбат — белая кость ВДВ. Повторить!

Пять минут на умывание. Двенадцать краников на сто шестьдесят человек.

— Построились! Разбежались! Построились. Разбежались. Построились...

Утренний осмотр: проверка блях — они должны блестеть, как у кота одно место, — белых воротничков, наличия в шапке двух иголок с ниткой.

— Вперёд шагом марш. На исходную позицию. Вперёд шагом марш...

За весь день — полчаса свободного времени. После обеда. Для написания письма.

— Рядовой Кривцов, почему сидите и не пишете?

— Я думаю, товарищ сержант.

— Почему тихо отвечаете?

— Я думаю, товарищ сержант.

— Почему не орёте, как вас учили орать? Придётся потренироваться «на очке».

Тренироваться «на очке» — орать в унитаз, отрабатывать командный голос. Сзади сержант, следит, чтобы было гулкое эхо.

Из солдатского словаря:

Отбой — я люблю тебя, жизнь. Утренний осмотр — верьте мне, люди. Вечерняя поверка — их знали в лицо. На «губе» — вдали от Родины. Демобилизация — свет далёкой звезды. Поле для тактических занятий — поле дураков. Посудомойка — дискотека (тарелки кружатся, как диски). Замполит — Золушка (на флоте — Пассажир)...

— Медсанбат — белая кость ВДВ. Повторить!

Вечное чувство голода. Заветное место — военторг, там можно купить кекс, конфеты, шоколад. Отстреляешься на «пятёрку» — получаешь разрешение сходить в магазин. Не хватает денег — продаём несколько кирпичей. Берём один кирпич, подходим — два здоровых типа — к новенькому, у которого ещё есть деньги:

— Купи кирпич.

— А зачем он мне?

Берём в кольцо:

— Купи кирпич...

— Сколько?

— Три рубля.

Даёт нам три рубля, заходит за угол и выбрасывает кирпич. А мы за три рубля наедаемся. Один кирпич равен десяти кексам.

— Совесть — это роскошь для десантника. Медсанбат — белая кость ВДВ.

Я, наверное, неплохой актёр, потому что быстро научился играть отведённую мне роль. Хуже всего прослыть «чадос», от слова «чадо», что-то слабое, не мужского рода. Через три месяца попал в увольнение. Как все забылось! Ещё недавно целовался с девушкой, сидел в кафе, танцевал. Как будто не три месяца прошло, а три года и ты вернулся в цивилизацию. Вечером:

— Обезьяны, построиться! Что главное для десантника? Главное для десантника — не пролететь мимо земли.

Перед самым отъездом праздновали Новый год. Я был Дедом Морозом, Сашка — Снегурочкой. Это напомнило школу.

...Шли двенадцать суток... Хуже гор могут быть только горы... Уходили от банды... Держались на допинге...

— Санинструктор, давай свой «озверин».

А это сиднокарб. Переели все таблетки.

Нет сил попробовать улыбнуться.

— «На что жалуетесь?» — спрашивает врач у кота Леопольда, — начинает кто-то первый.

— На мышей.

— Мышите — не мышите... Все ясно. Вы очень добрый. Вам нужно разозлиться. Вот таблетки «озверин». Принимать по одной таблетке три раза в день после еды.

— Ну и что?

— Озвереете.

На пятые сутки взял и застрелился солдат, пропустил всех вперёд и приставил автомат к горлу. Нам пришлось тащить его труп, его рюкзак, его бронежилет, его каску. Жалости не было. Он знал, что у нас не бросают трупы — уносят.

Пожалели мы его первый раз, когда уже уезжали домой, демобилизовались.

— Принимать по одной таблетке три раза в день...

— Ну и что?

— Озвереете.

Подрывные ранения — самые страшные... Оторвана нога до колена... кость торчит... От второй ноги оторвана пятка... Срезан член... Выбит

глаз... Оторвано ухо... Первый раз внутри был колотун, в горле щекотало... Сам себе приговаривал: «Не сделаешь сейчас, никогда не станешь санинструктором». Отрыв двух ног... Перетянул жгутом, остановил кровь, обезболил, усыпил... Разрывная пуля в живот... Кишки вывалились... Перевязал, остановил кровь, обезболил, усыпил... Четыре часа держал... Умер...

Не хватало медикаментов. Зелёнки обыкновенной не было. То не успевали подвезти, то лимиты кончились — наша плановая экономика. Добывали трофейное, импортное. У меня всегда в сумке лежало двадцать японских разовых шприцев. Они в мягкой полиэтиленовой упаковке, снимешь чехол — делаешь укол. У наших «Рекордов» протирались бумажные прокладки, становились нестерильными. Половина не всасывалась, не качала — брак. Наши кровезаменители в бутылках по пол-литра. Для оказания помощи одному тяжелораненому нужно два литра — четыре бутылки. Как на поле боя ухитриться держать около часа на вытянутой руке резиновый воздуховод? Практически невозможно. А сколько бутылок ты на себе унесёшь? Что предлагают итальянцы? Полиэтиленовый пакет на один литр, ты прыгаешь на него сапогами — не лопается. Дальше: бинт обыкновенный, советский бинт стерильный. Упаковка дубовая, занимает больше веса, чем сам бинт. Импортные... Таиландские, австралийские... Тоньше, белее почему-то... Эластичного бинта вообще не было. Тоже брал трофейный... Французский, немецкий... А наши отечественные шины?! Это же лыжи, а не медицинское приспособление. Сколько их с собой возмёшь? У меня были английские: отдельные — на предплечье, голень, бедро. На молнии, надувные. Всунул руку, застегнул. Кость сломанная не двигается, защищена от ударов при транспортировке.

За девять лет ничего нового не поставили у нас на производство. Бинт тот же, шина — та же. Советский солдат — самый дешёвый солдат. Самый терпеливый. Так было в сорок первом году... И через пятьдесят лет так... Почему?..

Страшно, когда в тебя лупят, а не самому стрелять. Можно выжить, если постоянно думать об этом. Я никогда не садился в первую и последнюю машину. Никогда не спускал ноги в люк, пусть лучше с брони свисают, чтобы не отрезало при подрыве. Держал в запасе немецкие таблетки для подавления чувства страха. Но никто их не пил. С боевых приходили мало похожие на советских солдат. Сами себя обували, одевали, кормили. Наш бронежилет не поднять, американский — ни одной железной части, из какого-то пуленепробиваемого материала. Пистолет Макарова в



упор его не берет, а с автомата только со ста метров пуля достаёт. Американские спальные мешки образца сорок девятого года. Лебяжий пух, лёгкие. Наш ватник килограммов семь весит, не меньше. У убитых наёмников забирали куртки, шапки с длинными козырьками, китайские брюки, в которых паховина не натирается. Все брали. Труссы брали, так как с трусами был дефицит. С носками, с кроссовками. Приобрёл я маленький фонарик, ножик-кинжальчик. Стреляли диких баранов. Диким считался баран, отставший на пять метров от стада. Или меняли. Два килограмма чая за одного барана. Чай трофейный. Деньги с боевых приносили, афгани. У нас их кто повыше отнимали. Тут же на наших глазах между собой делили, не скрываясь, не прячась. В патрон забьёшь, сверху порохом присыплешь пару бумажек — спасёшь.

Одни хотели напиться, другие выжить, третьи мечтали о наградах. Я тоже хотел награду. В Союзе встретят:

— Ну, что у тебя? Что, старшина, каптёркой заведовал?

Обидно за свою доверчивость. Замполиты нас убеждали в том, во что сами не верили. С чем сами уже давно разобрались. Лозунг: «Афганистан нас сделал братьями» — враньё! В армии существуют три солдатских сословия: молодые, ветераны, дембеля. Я приехал — форму отгладил, ушил. Все наточено, блестит. Стрелка на спине — борзанка. А молодым нельзя форму ушивать, стрелка запрещена. Подходит дембель:

— Ты откуда?

— Из Союза.

— Ты что, молодой? Не понял, чего ты так оборзел.

— Давай не обострять отношения.

— Слушай, молодой, ты меня не зли, — он привык, чтобы его боялись. — Я тебя предупредил.

Вечером казарму моют молодые. Дембеля курят.

— Убери кровать.

— Чья кровать?

— Ты не понял?

Ночью подняли. Восемь человек. Прошлись хорошенько по мне сапогами. Отбили почки. Два дня кровью писал. Днём не трогали, только ночью. Пробовал не сопротивляться, все равно бьют. Переключился: меня будят, наношу первый удар, ещё не открывая глаз. Били аккуратно, без синяков. Полотенце на руку и по животу. Отбили живот. Дней семь били.

После боевых ни разу не трогали. Других молодых били, меня уже нет. Команда ночью:

— Санинструктора не трогать.

Через полгода перевод молодых в ветераны. Шикарный стол за деньги молодых. Плов. Шашлыки. Дембеля наелись, начинается обряд: ремень ребром и бляхой со всей силы по заднице — двенадцать раз за перевод, шесть за то, что в ВДВ, ещё три — за разведроту, добавить за наглость, за борзость, за дерзость. У меня набралось двадцать девять ударов. Пискнуть не смей, иначе все сначала. Выдержал? За один стол! Жмут руки.

Проводы дембеля — это роман. Нужно скинуться и купить ему в дорогу «дипломат», полотенце, платок матери, подарок любимой девушке. Сделать ему «парадку»: достать белый ремень — это что за десантник без белого ремня; сплести аксельбанты — у лётчиков достать парашютные стропы для этой цели; надраить бляху: дембельская бляха — произведение искусства, её трут шкуркой единичкой, затем двойкой, потом иголкой, войлоком... Старую форму неделю держат в машинном масле, возвращается её темно-зелёный цвет. Следующая операция — отстирать в бензине. После она висит месяц, проветривается. Готово! Дембеля уезжают, ветераны становятся дембелями.

Напутствие замполита перед возвращением домой: о чем можно говорить, о чем нет. О погибших нельзя, потому что мы большая и сильная армия. О неуставных отношениях не распространяться, потому что мы большая, сильная и морально здоровая армия. Фотографии порвать. Плёнки уничтожить. Мы здесь не стреляли, не бомбили, не отравляли, не взрывали. Мы — большая, сильная и морально здоровая армия.

...Таможня забирала подарки, которые мы везли: парфюмерию, платки, часы с калькулятором.

— Не положено, ребята.

Никакой описи не составлялось. Просто это был их бизнес. Но так пахло зелёными весенними листьями. Шли девушки в лёгких платьях... Мелькнула в памяти и исчезла Светка Афошка (фамилии не помню — Афошка и Афошка). В первый день своего приезда в Кабул она переспала с солдатом за сто афошек, пока не разобралась. Через пару недель брала по три тысячи. Солдату не по карману. А Пашка Корчагин где? Настоящее его имя Андрей, но звали Пашкой из-за фамилии.

— Пашка, посмотри, какие девушки!!

У Пашки-Андрея была девушка, она прислала фотографию со своей свадьбы. Мы дежурили возле него ночами — боялись. Однажды утром он повесил на скале фотографию — и расстрелял из пулемёта. Но ещё долго, слышали ночами, плакал.

— Пашка, посмотри, какие девушки!

В поезде приснилось: готовимся на боевые. Сашка Кривцов

спрашивает:

— Почему у тебя триста пятьдесят патронов, а не четыреста.

— Потому что у меня медикаменты.

Он помолчал и ещё раз спросил:

— А ты бы мог расстрелять ту афганку?

— Какую?

— Ту, что навела нас на засаду. Помнишь, четверо погибло?

— Не знаю. Наверное, нет. В детском садике и в школе меня дразнили «бабником», все время девочек защищал. А ты бы смог?

— Мне стыдно...

Он не успевает договорить, за что ему стыдно, я просыпаюсь.

Дома меня ждёт телеграмма от Сашиной мамы: «Приезжай, Саша погиб».

— Сашка, — прихожу я на кладбище, — мне стыдно за то, что на выпускном экзамене по научному коммунизму я получил «пятёрку» за критику буржуазного плюрализма... Мне стыдно, что после того, как Съезд народных депутатов сказал, что эта война — наш позор, нам вручили значки «Воинов-интернационалистов» и Грамоты Верховного Совета СССР.

Сашка, ты там, а я здесь...»

*Старшина, санинструктор разведроты*

«Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка, два килограмма, рос маленький. Обниму:

— Моё ты солнышко.

Ничего не боялся, только паука. Приходит с улицы... Мы ему новое пальто купили... Это ему исполнилось четыре года... Повесила я это пальто на вешалку и слышу из кухни: шлёп-шлёп, шлёп-шлёп... Выбегаю: полная прихожая лягушек, они из карманов его пальто выскакивают... Он их собирает:

— Мамочка, ты не бойся. Они добрые, — и назад в карман запихивает.

Игрушки любил военные. Дари ему танк, автомат, пистолет. Нацепит на себя и марширует по дому.

— Я солдат... Я солдат...

— Моё ты солнышко... Поиграй во что-нибудь мирное.

— Я — солдат... Я солдат...

Идти в первый класс. Не можем нигде купить костюм, какой ни купи — он в него прячется.

— Моё ты солнышко.

...Забрали в армию. Я молила не о том, чтобы его не убили, а чтобы не били. Я боялась, что будут издеваться ребята посильнее, он такой маленький. Рассказывал, что и туалет зубной щёткой могут заставить чистить, и трусы чужие стирать. Я этого боялась. Попросил: «Пришлите все свои фото: мама, папа, сестрёнка... Я уезжаю...»

Куда уезжает, не написал. Через два месяца пришло письмо из Афганистана: «Ты, мама, не плачь, наша броня надёжная».

— Моё ты солнышко... Наша броня надёжная...

Уже домой ждала, ему месяц остался до конца службы. Рубашечки купила, шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Одеда бы в могилку... Сама бы его одеда, так не разрешили гроб открыть... Поглядеть на сыночка, дотронуться... Нашли ли они ему форму по росту? В чем он там лежит?

Первым пришёл капитан из военкомата:

— Крепитесь, мать...

— Где мой сын?

— Здесь, в Минске. Сейчас привезут.

Я осела на пол:

— Моё ты солнышко!!! — Поднялась и набросилась с кулаками на капитана:

— Почему ты живой, а моего сына нет? Ты такой здоровый, такой сильный... А он маленький... Ты — мужчина, а он — мальчик... Почему ты живой?!

Привезли гроб, я стучала в гроб:

— Моё ты солнышко! Моё ты солнышко...

А сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на камни, обниму:

— Моё ты солнышко!..»

*Мать*

«Положил в карман кусочек своей земли — родилось такое чувство в поезде... Были, конечно, среди нас и трусы. Один парень не прошёл комиссию по зрению, выскочил радостный: «Повезло!!!» За ним шёл другой по очереди, и его тоже не взяли, он чуть не плакал: «Как я вернусь в свою часть? Меня две недели провожали. Хотя бы язва желудка была, а то зубы болят». В одних трусах прорвался к генералу: из-за каких-то больных зубов не берут, так пусть вырвут эти два зуба!

У меня по географии в школе было «пять». Закрываю глаза и представляю: горы, обезьяны, мы где-то загораем, едим бананы... А было так. Нас посадили на танки: в шинелях, пулемёт — вправо, пулемёт — влево, задняя машина, которая замыкает, — пулемёт назад, все бойницы

открыты, автоматы высунуты. Железный ёж какой-то. Встречаем два наших бэтэра — ребята на броне сидят, в тельняшках, в панамах, смотрят на нас, со смеху давятся. Увидел пленного наёмника, был потрясён. Как тренирован! — атлет. А я попал в горы и не знал, как ступить на камень, что начинать надо с левой ноги. Десять метров по отвесной скале нёс телефон... Когда взрыв, закрывал рот, а надо открывать — перепонки полопаются. Нам выдали противогазы. В первый же день мы их выбросили, химоружия у «духов» нет. Каски свои продали. Лишний груз на башке, нагреваются, как сковородки. У меня была одна проблема: где украсть дополнительный рожок с патронами. Выдали четыре рожка, пятый купил в первую получку у товарища, шестой подарили. В бою достаёшь последний рожок и последний патрон — в зубы. Это для себя.

Мы приехали социализм строить, а нас оградил колючей проволокой: «Ребята, туда нельзя. За социализм вам агитировать не надо, для этого специальные люди есть». Обидно, конечно, что не доверяют. Говорю с дукащиком:

— Ты неправильно жил. Мы сейчас тебя научим. Будем социализм строить.

Он улыбается:

— Я до революции торговал и сейчас торгую. Поезжай домой. Это наши горы. Сами разберёмся...

Едем по Кабулу, женщины бросают в наши танки палками, камнями. Бочата ругаются матом без акцента, кричат: «Русский, езжай домой».

Чего мы здесь?

...Стреляли из гранатомёта. Я успел развернуть пулемёт, это меня спасло. Снаряд в грудь летел, а так — одну руку прошило, в другую — ушли все осколки. Помню: такое мягкое, приятное ощущение... И никакой боли... И крик где-то надо мной: «Стреляй! Стреляй!» Нажимаю, а пулемёт молчит, потом смотрю — рука висит, все обгорело, только кисть осталась, а было чувство, что я пальцами нажимаю. Пальцев нет...

Сознание не потерял, выполз вместе со всеми из машины, мне наложили жгут. Надо идти, ступил два шага и упал. Потерял где-то полтора литра крови. Слышу:

— Нас окружают...

Кто-то сказал:

— Надо его бросить, а то все погибнем.

Я попросил:

— Застрелите меня...

Один парень сразу отошёл, второй автомат передёрнул, но медленно. А

когда медленно, патрон может стать на перекося. И вот патрон стал на перекося, он автомат бросает:

— Не могу! На, сам...

Я подтянул автомат к себе, но одной рукой ничего не сделаешь.

Мне повезло: там был овражек маленький, я в нем за камнем лежал. Душманы ходят рядом и не видят. Мысль: как только они меня обнаружат, надо чем-то себя убить. Нащупал большой камень, подтянул к себе, примерился...

Утром меня нашли наши. Те двое, что ночью сбежали, несли меня на бушлате. Понял: боятся, чтобы я не рассказал правду. А мне уже было все равно. В госпитале положили сразу на стол. Подошёл хирург: «Ампутация...» Проснулся, почувствовал, что руки у меня нет... Там разные лежали: без одной руки, без обеих рук, без ноги. Плакали втихаря. И в пьянку ударялись. Я стал учиться держать карандаш левой рукой...

Приехал домой к деду, больше никого у меня нет. Бабка в плач: внук любимый без руки остался. Дед на неё прикрикнул: «Не понимаешь политики партии». Знакомые встречают:

— Дублёрку привёз? Магнитофон японский привёз? Ничего не привёз... Разве ты был в Афганистане?

Мне бы автомат привезти!

Стал своих ребят искать. Он был там, я был там — у нас один язык. Свой язык. Мы понимаем друг друга. Вызывает меня ректор: «Мы тебя в институт с тройками приняли, стипендию дали. Не ходи к ним... Зачем вы на кладбище собираетесь? Беспорядок». Нам не разрешали собираться вместе. Нас боялись. Если мы организуемся, мы будем воевать за свои права. Нам надо давать квартиры. Мы заставим помогать матерям тех ребят, что лежат в могилах. Мы потребуем поставить памятники, ограды на этих могилах. А кому это, скажите, надо? Нас уговаривали: ребята, вы не очень распространяйтесь о том, что было, что видели. Государственная тайна! Сто тысяч солдат в чужой стране — тайна. Даже какая жара в Кабуле — тайна...

Война не делает человека лучше. Только хуже. Это однозначно. Я никогда не вернусь в тот день, когда ушёл на войну. Не стану тем, кем был до войны. Как я могу стать лучше, если я видел... как за чеки покупают у медиков два стакана мочи желтушника. Выпил. Заболел. Комиссовали. Как отстреливают себе пальцы. Как уродуют себя капсюлями, затворами пулемётов. Как в одном самолёте возвращаются домой цинковые гробы и чемоданы с кожухами, джинсами, женскими трусами... Китайским чаем...

Раньше у меня дрожали губы при слове — «Родина». Теперь я ни во

что не верю. Бороться за что-то... За что бороться? С кем бороться? Кому все это сказать? Воевали — воевали. Ну и нормально. А может, и за дело воевали? Сейчас начнут газеты писать, что все правильно. И будет правильно. А с другой стороны, начинают писать, что мы убийцы. Кому верить? Я не знаю. Я никому не верю уже. Газеты? Я их не читаю. И даже их не выписываю. Сегодня мы одно пишем, завтра другое. А где правда? Я не знаю. Вот есть друзья. Одному, двум, трём — верю. Могу во всем положиться. А больше — никому. Я уже шесть лет здесь, я все это вижу...

Дали мне инвалидную книжечку — льгота! Подхожу к кассе для участников войны:

— Ты куда, пацан? Перепутал.

Зубы стисну, молчу. За спиной:

— Я Родину защищал, а этот...

Незнакомый кто спросит:

— Где рука?

— По пьянке под электричку попал. Отрезало...

Тогда понимают. Жалеют...

У Валентина Пикуля в романе «Честь имею (исповедь офицера российского генштаба)» недавно прочёл:

«Сейчас (имеются в виду позорные последствия русско-японской войны 1905 года) многие офицеры подают в отставку, ибо везде, где ни появятся, их подвергают презрению и насмешке. Дело доходит до того, что офицер стыдится носить свой мундир, стараясь появляться в штатском. Даже израненные калеки не вызывают сочувствия, а безногим нищим подают намного больше, если они говорят, что ногу отрезало на углу Невского и Литейного трамваем, а к Мукдену и Ляоляну они никакого отношения не имеют».

Скоро о нас так напишут... Мне кажется, что теперь я могу даже Родину поменять... Уехать...»

*Рядовой, связист*

«Сам просился, мечтал попасть на эту войну. Было интересно. Ложился и представлял, как там. Хотел узнать, что это такое, когда у тебя одно яблоко и двое друзей, ты голодный и они голодные и ты это яблоко отдаёшь. Я думал, что там все дружат, что там все братья. За этим ехал.

Вышел из самолёта, таращусь на горы, а дембель (в Союз уже парень летел) в бок толкает:

— Давай ремень.

— Чего?! — ремень у меня был свой, фарцовый.

— Дурак, все равно заберут.

Забрали в первый же день. А я думал: «Афганистан — это все дружат». Идиот! Молодой солдат — это вещь. Его можно поднять ночью и бить, колотить стульями, палками, кулаками, ногами. Его можно ударить, избить в туалете днём, забрать рюкзак, вещи, тушёнку, печенье (у кого есть, кто привёз). Телевизора нет, радио нет, газет нет. Развлекались по закону слабого и сильного. «Постирай, чижик, мне носки» — это ещё ничего, а вот другое: «А ну-ка, чижик, оближи мне носки. Оближи хорошенько, да так, чтобы все видели». Жара под семьдесят градусов, ходишь и шатаешься. С тобой можно сделать все. Но во время боевых операций «деды» шли впереди, прикрывали нас. Спасали. Это правда. Вернёмся в казарму: «А ну-ка, чижик, оближи мне носки...»

А это страшнее, чем первый бой... Первый бой — интересно! Смотришь как художественное кино. Сотни раз в кино видел, как в атаку идут, а оказалось — выдумка. Не идут, а бегут, бегут не трусцой, красиво пригнувшись, а изо всех сил, а сил тогда у человека как у сумасшедшего, и петляешь, как бешеный заяц. Раньше любил парады на Красной площади, как идёт военная техника — любил. Теперь знаю: восхищаться этим нельзя, такое чувство, что скорее бы эти танки, бронетранспортёры, автоматы поставили на место, зачехлили. Скорее бы. Ещё лучше — пройти по Красной площади всем афганским «протезникам»... Таким, как я... Обе ноги выше колена отрезаны... Если бы ниже колен... Удача! Я счастливый человек был бы... Я завидую тем, у кого ниже колен... После перевязки дёргаешься час-полтора, такой маленький вдруг становишься без протезов. Лежишь в плавках и в тельняшке десантника, тельняшка получается с тебя ростом. Первое время никого к себе не подпускал. Молчал. Ну хотя бы одна нога осталась, а то ни одной. Самое трудное — забыть, что у тебя были две ноги... Из четырех стен можно выбрать одну, ту, где окно...

Матери поставил ультиматум: «Если будешь плакать, ехать не надо». Я и там больше всего боялся: убьют меня, привезут домой — мать будет плакать. После боя раненого жалко, а убитого нет, только маму его жалко. В госпитале хочу сказать нянечке спасибо, а не могу, даже слова забыл.

— В Афганистан опять пошёл бы?

— Да.

— Почему?

— Там друг — друг, а враг — враг. А тут — постоянный вопрос: за что погиб мой друг? За этих сытых спекулянтов? Здесь все не так. Чувствуешь себя посторонним.

Учусь ходить. Сзади меня подсекут. Упал. «Спокойствие, — говорю



себе. — Команда первая — поворачивайся и выжимайся на руках, команда вторая — вставай и иди». Первые месяцы больше подходило: не иди, а ползи. Ползи. Самая яркая картинка оттуда: чёрный мальчишка с русским лицом. Там их много. Ведь мы там с семьдесят девятого года. Семь лет... Я туда поехал бы... Обязательно! Если бы не две ноги выше колена... Если бы ниже колена...»

*Рядовой, миномётчик*

«Я сам себя спрашивал: «Почему поехал?» Ответов сто, но главный — вот в этих стихах, не запомнил только, чьи они:

Две вещи на свете, словно одно:  
Во-первых, женщины, во-вторых, вино.  
Но слаще женщин, вкуснее вина  
Есть для мужчины — война.

Завидовал коллегам, побывавшим в Афганистане: у них накопился колоссальный опыт. Где в мирной жизни его приобретёшь? Позади было уже десять лет работы хирургом в городской больнице большого города, но пришёл первый транспорт с ранеными, и я чуть с ума не сошёл. Рук нет, ног нет, лежит обрубок, который дышит. В садистских фильмах такое не увидишь. Делал там операции, о которых в Союзе только мечтать можно. Молодые медсёстры не выдерживали. То плачет так, что заикаться начинает, то хохочет. Одна стояла и все время улыбалась. Их отправляли домой.

Человек умирает совсем не так, как в кино. Попала пуля в голову — взмахнул руками и упал. А на самом деле: попала пуля в голову, мозги летят, а он за ними бежит, может полкилометра бежать, и их ловит. Это за пределом. Он бежит, пока не наступит физиологическая смерть. Легче было бы застрелить, чем смотреть и слушать, как он всхлипывает, просит смерти как избавления. Если у него остались ещё какие-то силы. Другой лежит, к нему подкрадывается страх... Страх начинает тархтеть... Кричит, зовёт... Проверишь: пульс нормальный. Успокоишь. А мозг ждёт момента, когда человек расслабится... Не успеешь отойти от кровати, а мальчишки — нет...

Эти воспоминания — они забудутся не скоро. Подрастут эти мальчишки-солдаты, они все переживут заново. Поменяются их взгляды. У меня — нет. Мой отец во вторую мировую был лётчик, но он ничего не

рассказывал. Ему казалось, что это обыденно, а мне было непонятно. А сейчас достаточно слова, намёка. Читаю вчера в газете: защищался до последнего патрона, последним застрелил себя. Что такое — застрелить себя? В бою вопрос ребром: ты или он? Ясно, что ты должен остаться. Но все ушли, а ты их прикрываешь, тебе приказали или ты сам решил, почти наверняка зная, что выбрал смерть. Я уверен, что психологически в эту минуту это не трудно. В той обстановке самоубийство воспринимается как нормальное явление, на него многие способны. Их называют потом героями. Самоубийцы в обычной жизни — ненормальные люди. Когда-то их не разрешали даже на кладбище хоронить вместе со всеми... Две газетные строчки, а ночью глаз не сомкнёшь, все в тебе поднимается.

Тем, кто там был, не захочется второй раз воевать. Нас не обманешь, что мясо растёт на деревьях. Какие бы мы ни были — наивные, жестокие, любящие жену и детей, не любящие жену и детей, — мы все равно убивали. Я понял своё место в легионе, но ни о чем не жалею. Сейчас все заговорили о чувстве вины. У меня его нет. Виноваты те, кто нас туда послал. С удовольствием ношу афганскую форму, чувствую себя в ней мужчиной. Женщины в восторге! Однажды надел и пошёл в ресторан. Администратор остановила на мне свой взор, а я ждал:

— Что, одет не по форме? А ну, дорогу обожжённому сердцу...

Пусть кто-нибудь мне скажет, что моя полевая военная форма ему не нравится, пусть пикнет. Почему-то я ищу этого человека...»

*Военврач*

«Первую я родила девочку. Перед её рождением муж говорил, мол, все равно, кто будет, но лучше девочка, потом у неё появится братик, а она будет ему шнурочки на ботиночках завязывать. Так и получилось...

Муж позвонил в больницу. Ответили:

— Дочка.

— Хорошо. Две девочки будут.

Тут ему сказали правду:

— Да сын у вас... Сын!

— Ну спасибо! Ну спасибо вам!

За сына стал благодарить.

Первый день... Второй... Всем приносят нянечки детей, а мне нет. Никто ничего не говорит. Стала я плакать, поднялась температура. Пришла врач: «Что вы, мамочка, расстраиваетесь? У вас настоящий богатырь. Он ещё спит, не просыпается. Он ещё не проголодался. Вы не волнуйтесь». Принесли, развернули его, он спит. Тогда я успокоилась.

Как назвать сына? Выбрали три имени: Саша, Алёша, Миша. Все нравятся. Приходит ко мне дочка с отцом, и Танечка сообщает: «Я зебий тянула...» Что за «зебий»? Оказывается, они набросали бумажки в шапку и жребий тянули. Два раза вытянули «Сашу». Это у нас Танечка решила. Родился он тяжёлый — четыре килограмма пятьсот граммов. Большой — шестьдесят сантиметров. Пошёл, помню, в десять месяцев. В полтора года уже хорошо говорил, но до трех лет не ладилось у него с буквами «р» и «с». Вместо «я сам» получалось «я шам». Своего друга звал «Тиглей» вместо Сергей. Воспитательница детского сада Кира Николаевна была у него «Килой Калавной». Увидел первый раз море, закричал: «Я не родился, меня морской волной на берег выбросило...»

В пять лет я подарила ему первый альбом. Их у него четыре — детский, школьный, военный (когда он в военном училище учился) и «афганский» (из тех фотографий, что он присылал). У дочки свои альбомы, я каждому дарила. Я любила дом, детей. Стихи им писала:

Пробился сквозь весенний снег  
Подснежника росток.  
Когда весна взяла разбег,  
Родился мой сынок...

В школе меня ученики раньше любили. Я была радостная... Долго любил играть в «казаки-разбойники»: «Я — смелый». Ему было пять лет, Танечке — девять, мы поехали на Волгу. Сошли с парохода, от пристани до дома бабушки — полкилометра. Саша встал как гвоздик:

— Не пойду. Бери меня на руки.  
— Такого большого да на руках?!

— Не пойду, и все.

И не пошёл. Это мы ему все время вспоминали.

В детском саду любил танцевать. Были у него такие красные штанишки, шаровары. Он в них сфотографировался. Фотографии эти есть. Собирал марки до восьмого класса — остались альбомы с марками. Потом стал собирать значки — осталась коробка со значками. Увлекался музыкой. Остались кассеты с его любимыми песнями...

Все детство мечтал стать музыкантом. Но, видно, вросло, впиталось в него то, что отец — военный, что жили мы всю жизнь в военном городке: он с солдатами кашу ел, машины с ними чистил. Никто не сказал ему «нет», когда он отослал документы в военное училище, наоборот: «Будешь,

сын, Родину защищать». Он хорошо учился, в школе всегда активистом был. Училище тоже закончил отлично. Нам благодарности командование присылало.

...Восемьдесят пятый год. Саша в Афганистане... Мы им гордимся — он на войне. Я рассказываю своим ученикам о Саше, о его друзьях. Ждём, когда приедет в отпуск...

До Минска мы жили в военных городках, и осталась привычка: когда дома — не закрывать дверь на ключ. Он заходит без звонка и говорит: «Вы телемастера не вызывали?» Из Кабула они с друзьями прилетели в Ташкент, оттуда смогли взять билеты до Донецка, ближе не было. А из Донецка (Минск не принимал) вылетели в Вильнюс. В Вильнюсе поезд надо было ждать три часа, это им долго, когда дом рядом, каких-то двести километров. Они взяли такси.

Загорелый, худой, только зубы светятся.

— Сыночек, — плачу, — какой ты худущий!

— Мапочка, — поднял и кружит меня по комнате, — я живой! Я жив, мамочка! Понимаешь, жив!

Через два дня — Новый год. Под ёлку он спрятал нам подарки. Мне платок большой. Чёрный.

— Зачем ты, сыночек, чёрный выбрал?

— Мапочка, там были разные. Но пока моя очередь подошла, только чёрные остались. Посмотри, он тебе идёт...

В этом платке я его хоронила, два года не снимала.

Он всегда любил делать подарки, называл их «сюрпризиками». Были они ещё маленькие, приходим с отцом домой — нет детей. Я — к соседям, я — на улицу, нет детей, и никто не видел. Как я закричу, как я заплачу! Открывается коробка из-под телевизора (купили телевизор и коробку не успели выбросить), вылезают оттуда мои дети: «Ты чего плачешь, мамочка?» Они накрыли стол, заварили чай, ждали нас, а нас нет. Саша придумал «сюрпризик» — спрятаться в коробку. Спрятались и заснули там.

Был ласковый. Мальчики редко бывают такими ласковыми. Всегда поцелует, обнимет: «Мапочка... Мамулечка...» После Афганистана ещё нежнее стал. Все ему дома нравилось. Но были минуты, когда сядет и молчит, никого не видит. По ночам вскакивал, ходил по комнате. Один раз просыпаюсь от крика: «Вспышки! Вспышки!.. Мапочка, стреляют...» Другой раз слышу ночью — кто-то плачет. Кто может у нас плакать? Маленьких детей нет. Открываю его комнату: он обхватил голову двумя руками и плачет...

— Сыночек, что ты плачешь?

— Страшно, мамочка. — и больше ни слова. Ни отцу, ни мне.

Уезжал как обычно. Напекла ему целый чемодан орешков, печенье такое. Его любимое. Целый чемодан, чтобы на всех хватило. Они там скучали по домашнему...

Второй раз он тоже приехал на Новый год. Сначала ждали его летом. Писал: «Мамочка, заготавливай побольше компотов, вари варенье, приеду — все поем и выпью». С августа перенёс отпуск на сентябрь, хотел в лес пойти, лисички собирать. Не приехал. На ноябрьские праздники его тоже нет. Получаем письмо, мол, как вы думаете, может, мне лучше опять приехать на Новый год: уже ёлка будет, у папы день рождения в декабре, а у мамы — в январе...

Тридцатое декабря... Целый день дома, никуда не выхожу. Перед этим было письмо: «Мамочка, заказываю тебе заранее вареники с черникой, вареники с вишней и вареники с творогом». Вернулся муж с работы, решили: теперь он ждёт, а я в магазин съезжу, гитару куплю. Утром как раз открытку получили, что гитары поступили в продажу. Саша просил: не надо дорогую гитару, купите обычную, дворовую.

Вернулась из магазина, а он дома:

— Ой, сыночек, прокараулила!

Увидел гитару:

— Какая гитара красивая! — И танцует по комнате. — Я дома. Как у нас хорошо! И в нашем подъезде даже запах особенный.

Говорил, что у нас самый красивый город, самая красивая улица, самый красивый дом, самые красивые акации во дворе. Он любил этот дом. Теперь нам жить здесь тяжело — все напоминает о Саше, и уехать трудно — он тут все любил.

Приехал он на этот раз другой. Это не только мы, дома, но и все его друзья заметили. Он им говорил:

— Какие вы все счастливые! Вы даже себе не представляете, какие вы все счастливые! У вас праздник каждый день.

Я пришла с новой причёской из парикмахерской. Ему понравилось:

— Мамочка, ты всегда делай такую причёску. Ты такая красивая.

— Денег, сыночек, много надо... Если каждый день...

— Я привёз деньги... Берите все... Деньги мне не нужны...

У друга родился сын. Помню, с каким лицом он попросил: «Дай поддержать». К концу отпуска у него разболелся зуб, а зубного врача он боялся с детства. За руку потащили в поликлинику. Сидим ждём, когда вызовут. Смотрю — у него на лице пот от страха.

Если по телевизору шла передача об Афганистане, он уходил в другую

комнату... За неделю до отъезда у него тоска в глазах появилась, она из них выплёскивалась. Может, это мне сейчас так кажется? А тогда я была счастливая: сын в тридцать лет майор, с орденом Красной Звезды приехал. В аэропорту смотрела на него и не верила: неужели этот красивый молодой офицер — мой сын. Я им гордилась.

Через месяц пришло письмо. Он поздравил отца с Днём Советской Армии, а меня благодарил за пироги с грибами. После этого письма со мной что-то случилось... Не могу спать... Вот лягу... Лежу... До пяти утра лежу с открытыми глазами...

Четвёртого марта вижу сон... Большое поле и по всему полю белые разрывы... Что-то вспыхивает... И тянутся длинные белые ленты... Саша мой бежит, бежит... Мечется... Негде ему спрятаться... и там вспыхнуло... И там... Я бегу за ним... Хочу его обогнать... Хочу, чтобы я впереди, а он за мной... Как когда-то в деревне попали мы в грозу... Я его прикрыла собой, он подо мной тихонько скребётся, как мышонок: «Мамочка, спаси меня!» Но я его не догнала... Он такой высокий, и шаги у него длинные-длинные... Бегу изо всех сил... Вот-вот сердце разорвётся... А догнать его не могу...

...Стукнула входная дверь. Заходит муж. Мы с дочкой сидим на диване. Он идёт к нам через всю комнату в ботинках, пальто, шапке. Такого никогда не было, он у меня аккуратный, потому что всю жизнь в армии, везде у него дисциплина. Подошёл и опустился перед нами на колени:

— Девочки, у нас беда...

Тут я вижу, что в прихожей ещё люди есть. Заходят медсестра, военком, учителя из моей школы, знакомые мужа...

— Сашенька! Сыночек!!!

Уже три года... А мы до сих пор не можем открыть чемодан... Там Сашины вещи... Привезли вместе с гробом... Мне кажется, что они Сашей пахнут.

Его сразу ранило пятнадцатью осколками. Он только успел сказать: «Больно, мамочка».

За что? Почему он? Такой ласковый. Добрый. Как это его нет? Медленно убивают меня эти мысли. Я знаю, что умираю, — нет больше смысла жить. Иду к людям, тащу себя к людям... Иду с Сашей, с его именем, рассказываю о нем... Выступала в политехническом институте, подходит ко мне студентка и говорит: «Меньше бы этого патриотизма в него напихали, был бы жив». Мне плохо стало после её слов. Я там упала.

Я ради Саши ходила... Он не мог исчезнуть просто так... Теперь говорят, что роковая ошибка, что никому это не надо было — ни нам, ни

афганскому народу. Раньше я ненавидела тех, кто Сашу убил... Теперь ненавижу государство, которое его туда послало. Не называйте имени моего сына... Он теперь только наш... Никому его не отдам... Не отдам даже его имя...»

*Мать*

«Вспышка... Фонтан света... И все... Дальше ночь... Мрак... Открыл один глаз и ползаю по стене: где я? В госпитале... Дальше проверяю — руки на месте?.. Ниже... Трогаю себя руками... Что-то я быстро кончаюсь... Короткий какой-то... Ясно: обеих ног нет...

Истерика... Паршивенькие мысли: смерть была бы лучшим убежищем, чем эта палата... Пусть бы в брызги, в ничто... Не видел бы себя... И другие не видели... Здесь вдруг — стоп! Ничего не помню...

Я забыл все, что было раньше... Тяжелейшая контузия... Всю свою жизнь забыл... Открыл паспорт и прочитал свою фамилию... Где родился... Тридцать лет... Женат... Двое детей... Мальчики...

Теперь надо вспомнить лица... Лиц не помню...

Первая приехала мама... Говорит: «Я — твоя мама...» Она рассказывала моё детство... Школу... Даже такие мелочи, какое у меня было пальто в восьмом классе, какие оценки... Что больше всего любил гороховый суп... Я её слушал и как будто сам себя видел со стороны... Наблюдал...

...Дежурная в столовой зовёт:

— Садись в коляску... Повезу... К тебе жена приехала...

Стоит возле палаты какая-то красивая женщина... Глянул: стоит, пусть себе и стоит. Где жена? А это была моя жена.

Она рассказала нашу любовь... Как познакомились... Как первый раз её поцеловал... Свадьбу... Как мальчики родились... Я слушал и не вспоминал... а запоминал... Когда хотел что-нибудь вспомнить, начинались сильные головные боли...

Сынишек вспоминал по фотографии. Приехали другие... Мои и не мои... Беленький стал тёмненьким... Маленький стал большим... Глянул на себя в зеркало: похожи!

И войну забыл... Все два года... Только зиму сейчас не люблю... А мама говорила, что в детстве больше всего любил зиму... Снег... Про войну ребята рассказывают... Фильмы смотрю... «Почему, — думаю, — я там был?» Мальчишек посылали... А я — офицер... Профессионал... Сам подал рапорт... Врачи говорят, что память может вернуться. Тогда у меня будет две жизни... Та, что мне рассказали... И та, что была...

**День второй**

**«А ДРУГОЙ УМИРАЕТ С ДУШОЙ ОГОРЧЁННОЙ...»**

*Автор.* Сегодня он снова позвонил. Теперь я зову его «мой главный герой».

*Главный герой.* Я не думал звонить... Зашёл в автобус и услышал, как две женщины обсуждали: «Какие они герои? Они там детей, женщин убивали. Они же ненормальные... А их в школы приглашают... Им ещё льготы...» Выскочил на первой остановке, стоял и плакал. Мы солдаты, мы выполняли приказ. За невыполнение приказа в условиях военного времени — расстрел! А мы жили тогда по условиям военного времени. Конечно, генералы не расстреливают женщин и детей, но они отдают приказы. А сейчас мы во всем виноваты... Солдаты виноваты... Нам говорят: преступный приказ выполнять — преступление. А я верил тем, кто отдавал приказы. Сколько я себя помню, меня все время учили верить. Только верить! Никто не учил меня: думай — верить или не верить, стрелять или не стрелять. Мне твердили: только крепче верь!

*Автор.* Это было со всеми нами.

*Главный герой.* Да, я убивал, я весь в крови... Но он лежал... мой друг, он мне братом был... Отдельно голова, отдельно руки, ноги... Сдёрнутая кожа... Я попросился сразу опять в рейд... Увидел в кишлаке похороны... Было много людей... Тело несли в чем-то белом... Я хорошо в бинокль их всех видел... И я приказал: «Стрелять! Прямо по похоронам — огонь!!»

Да, я убивал, потому что хотел жить. Хотел вернуться...

Нет, зачем? Зачем ты из меня это тащишь? Я только недавно перестал ночью думать о смерти. Три года каждую ночь выбирал, что лучше: пулю в рот или на галстук повеситься?... Опять эта резкая вонь колючек... От неё можно сойти с ума... — и гудок в трубке...

*Автор.* Почему мне кажется, что я его знаю давно? Что я уже слышала этот голос?



«Как во сне... Как будто я где-то это смотрел... В каком-то фильме... Такое теперь ощущение, что никого не убивал...

Сам поехал. Попросился добровольно. Хотел испытать себя, на что я способен. У меня большое «я». Учился в институте, там себя не покажешь, не узнаешь, кто ты. Хотел стать героем, искал случая стать героем. Ушёл со второго курса. Говорят: мужская война... Мальчишеская война... Воевали одни мальчишки... Недавние десятиклассники... Для нас это как игра. Очень важно было своё самлюбие. Твоя гордость. Смогу или не смогу. Он смог. А я? Мы этим были заняты, а не политикой. Я с детства готовил себя к каким-то испытаниям. Джек Лондон — мой любимый писатель. Настоящий мужчина должен быть сильным. Сильными становятся на войне. Моя девушка отговаривала: «Представь себе, чтобы что-нибудь подобное сказал Бунин или Мандельштам». Из друзей никто меня не понял. Кто женился. Кто восточной философией занялся. Кто — йогой. Один я — на войну.

...Вверху выгоревшие на солнце горы... Внизу девочка покрикивает на коз... Женщина вешает бельё... Как у нас на Кавказе... Даже разочаровался... Ночью — выстрел в наш костёр: поднял чайник, под чайником пуля лежит. В переходах жажда, мучительная, унижительная. Кажется, у тебя полный рот песка. Лизали росу, лизали собственный пот... Мне жить надо. Я жить хочу! Поймал черепаху. Острым камешком проткнул горло. Пил кровь черепахи. Другие не могли. Никто не мог.

Понял, что способен убить. В руках — оружие. В первом бою видел, как у некоторых бывает шок. Теряют сознание. Некоторых рвёт даже при воспоминании, как они убивали. Разрывается человеческий мозг... По человеческому лицу течёт человеческий глаз... Я выдерживал! Был среди нас охотник, хвастался, что до армии убивал зайцев, валил диких кабанов. Так вот, его всегда рвало. Животное убить одно, человека — другое. В бою становишься деревянным... Холодный рассудок... Расчёт... Мой автомат — моя жизнь... Автомат прирастает к телу... Как ещё одна рука...

Там была партизанская война, большие бои — редкость. Всегда: ты и он. Становишься чутким, как рысёнок. Пустил очередь — он сел. Ждёшь. Кто теперь? Ещё не услышал выстрела, а уже чувствуешь, как пролетела пуля. От камня к камню ползёшь... Таишься... Гонишься за ним... Как охотник... Весь — пружина... Не дышишь... Ловишь какой-то миг... Если бы сошлись, мог бы убить прикладом. Убиваешь — ощущаешь, что ты жив! Я — снова жив! Радости убить человека нету. Убиваешь, чтобы вернуться домой.

Убитые разные. Одинаковых нет... Лежат в воде... В воде что-то происходит с мёртвым лицом, какая-то улыбка у них у всех. После дождя

они лежат чистые. Без воды, в пыли, смерть откровеннее. Форма на нем новенькая, а вместо головы сухой красный лист... Раздавило, расплющило, как ящерицу... Но я-то жив! Сидит у стенки... Возле дома... Рядом орехи наколоты... Видно, кушал... С открытыми глазами... Некому было закрыть... После смерти... Десять - пятнадцать минут... Можно закрыть глаза... Потом нет... Но я-то жив! Другой нагнулся... Ширинка расстёгнута... По нужде вышел... Как жили в тот момент, так и лежат... Но я-то жив! Готов потрогать себя, удостовериться... Птицы не боятся смерти. Сидят смотрят. Дети не боятся смерти. Тоже сидят, смотрят спокойно, с любопытством. Как птицы. В столовой ешь суп, глянешь на соседа и представляешь его мёртвым. Одно время на фотографии близких не мог смотреть. Вернёшься с задания — детей, женщин встречать невыносимо. Отворачиваешься. Потом проходит. Бежишь утром на физзарядку — штангой занимался. Думал о форме, каким вернусь. Не высыпался, правда. Вши, особенно зимой. Матрацы дустом обсыпали.

Страх смерти я узнал дома. Вернулся, у меня родился сын. Страх: если я умру, мой сын будет расти без меня. Семь пуль своих запомнил... Могли, как у нас говорили, отправить к «верхним людям»... Прошли мимо. Даже такое чувство, что недоиграл... Недовоевал...

Вины на мне нет, кошмаров не боюсь. Всегда выбирал честный поединок: он и я. Когда увидел, как бьют пленного... Бьют вдвоём... А он связанный... Лежит как тряпка... я их разогнал, не дал бить... Таких презирал... Берет автомат и стреляет в орла... В морду одному заехал... Птицу — за что? Что она ему сделала?

Родные спрашивали:

— Как там?

— Ладно. Извините. Потом расскажу.

Окончил институт. Работал инженером. Я хочу быть просто инженером, а не ветераном афганской войны. Вспоминать не люблю. Хотя я не знаю, что будет с нами, с поколением, которое выжило. Впервые так выговорился... Как в поезде... Сошлись незнакомые люди, поговорили и вышли на разных станциях... Руки у меня дрожат... Почему-то волнуюсь... А мне казалось, что я легко вышел из игры... Будете писать, моей фамилии не называйте... Я ничего не боюсь... Но я не хочу во всей этой истории находиться...»

*Сержант, командир взвода пехоты*

«В декабре у меня намечалась свадьба, а в ноябре я уехала в Афганистан. Призналась жениху — рассмеялся: «Защищать южные рубежи

нашей Родины?» А когда поверил, что не шучу: «Тебе что, здесь спать не с кем?»

Ехала сюда, думала: «Не успела на БАМ, на целину, повезло — есть Афган!» Я поверила песням, которые привозили ребята, целыми днями крутила:

На афганской земле  
За прошедшие годы немало  
Разбросала по скалам  
Россия своих сыновей...

Была книжная московская девочка. Мне казалось, что настоящая жизнь где-то далеко. И там мужчины все — сильные, женщины — красивые. Много приключений. Хотелось вырваться из привычного...

Три ночи добиралась до Кабула, не спала. На таможне решили: нанюхалась. Помню, со слезами кому-то доказывала:

— Я не наркоманка. Я спать хочу.

Ташу тяжёлый чемодан — мамино варенье, печенье, и никто из мужчин не поможет. И это не просто мужчины, это молодые офицеры, красивые, сильные. А за мной всегда ухаживали мальчики, боготворили. Искренне удивилась:

— Поможет кто-нибудь?!

Они так на меня посмотрели...

Ещё три ночи сидела на пересылке. В первый же день подошёл прапорщик:

— Хочешь остаться в Кабуле, приходи ночью...

Толстенький, упитанный, по кличке, как потом девчонки шепнули, Баллон.

Взяли меня в часть машинисткой. Работали на старых армейских машинках. В первые же недели в кровь разбила пальцы. Стучала в бинтах — ногти отделялись от пальцев.

Через пару недель стучит ночью в комнату солдат:

— Командир зовёт.

— Не пойду.

— Чего ломаешься? Не знала, куда ехала?

Утром командир пригрозил сослать в Кандагар.

Что такое Кандагар?

Мухи, «духи» и кошмар...

Боялась в эти дни попасть под машину... Выстрела в спину...

По соседству в общежитии жили две девчонки: одна отвечала за электричество, прозвали её Электричкой, вторая занималась химводоочисткой — Хлорка. На все у них объяснение:

— Это жизнь...

Как раз в это время в «Правде» напечатали очерк «Афганские мадонны». Из Союза девочки писали: там он понравился, некоторые даже пошли в военкомат проситься в Афганистан. А мы не могли спокойно пройти мимо солдат, те ржали: «Бочкаревки», вы, оказывается, героини?! Выполняете интернациональный долг в кровати!..» Что такое «бочкаревки»? В «бочках» (такие вагончики) живут большие звезды, не ниже майора. Женщин, с которыми они... зовут «бочкаревками». Мальчишки, кто служит здесь, так и говорят: «Если я услышу, что девчонка была в Афгане, для меня она исчезает...» Мы пережили те же болезни, у всех девчонок гепатит был, малярия... Нас так же обстреливали... Но вот мы встретимся в Союзе, и я не смогу этому мальчишке броситься на шею. Мы для них все б... или чокнутые. Не спать с женщиной — не пачкаться... «А с кем я сплю? Я сплю с автоматом...» Могут в лицо крикнуть... Попробуй после этого кому-нибудь улыбнись...

Моя мама с гордостью объявляет знакомым: «Моя дочь в Афганистане». Наивная моя мама! Мне хочется написать ей: «Мама, молчи, а то услышишь: твоя дочь — проститутка»... Может, вернусь, все осмыслю — и отойду, потеплею. А сейчас внутри сломано, смято. Чему я здесь научилась? Разве тут можно научиться добру или милосердию? Или радости?

Бочата бегут за машиной:

— Ханум, покажи...

Могут и деньги совать. Значит, кто-то у них берет...

Была у меня мысль, что не доживу до дома. Сейчас я это перешагнула. Два сна у меня здесь меняются и повторяются.

Первый сон.

Заходим в богатый дуكان. На стенах ковры, драгоценности... И меня наши ребята продают. Им приносят мешок с деньгами... Они считают афошки... А два «духа» накручивают себе на руки мои волосы... Звенит будильник... В испуге просыпаюсь и кричу. Всех страхов ни разу не досмотрела...

Второй сон.

Летим из Ташкента в Кабул в военном самолёте Ил-65. Появляются в иллюминаторе горы, и яркий свет тухнет. Начинаем проваливаться в бездну

какую-то, нас накрывает пластом афганской тяжёлой земли. Рою её, как крот, и не могу выбраться на свет... Задыхаюсь... И копаю, копаю...

Если себя не остановлю, моему рассказу не будет конца. Тут каждый день случается что-то такое, что переворачивает тебя, твою душу. Вчера знакомый парень получил письмо из Союза, от своей девушки: «Я не хочу с тобой дружить, у тебя руки по локти в крови». Прибежал ко мне — я пойму.

О доме мы все думаем, но говорим мало. Из суеверия. Очень хочется вернуться. Куда мы вернёмся? Об этом тоже молчим. Только травим анекдоты:

— Дети, расскажите, кто ваши папы? Все тянут руки вверх:

— Мой папа — врач...

— Мой папа — сантехник...

— Мой папа в цирке работает...

Маленький Вова молчит.

— Вова, ты не знаешь, кто твой папа?

— Раньше он был лётчиком, а сейчас работает фашистом в Афганистане...

Дома я любила книжки о войне, здесь таскаю с собой Дюма. На войне не хочется видеть войну. Девочки ходили смотреть убитых. Говорили: лежат в носочках... Не хочу смотреть... И не люблю выезжать в горы. Там много на улицах одноногих мужчин скачет. Не каждый способен привыкнуть. Я, например, не могу. У меня была мечта стать журналистом, а теперь не знаю, мне теперь трудно во что-то верить.

Вернусь домой — никогда не поеду на юг. Не хватит сил видеть горы. Когда я вижу горы, мне кажется, что сейчас начнётся обстрел. Однажды нас обстреливали, а девочка стояла на коленях, плакала и молилась... Интересно, о чем она просила небо? Мы все здесь немножко скрытные, никто до конца не открывается. Каждый пережил какое-то разочарование...

А я все время плачу и молюсь о той книжной московской девочке, которой больше нет...»

*Служащая*

«Летел я туда с надеждой вернуться обратно и пройти с гордо поднятой головой. А теперь думаю, что таким, каким был до этой войны, уже никогда не буду. Нет... Не буду...

Наша рота прочёсывала кишлак. Идём с парнем рядом. Он открывает ногой дверь в дувал и в него — из пулемёта, расстреливает в упор... Девять пуль... Сознание заливают ненависть... Мы стреляли всех, вплоть до

домашних животных, в животное, правда, стрелять страшнее. Жалко. Я не давал расстреливать осликов... В чем же они виноваты?.. У них на шее висели амулеты, такие же, какие у детей... Когда подожгли пшеничное поле, мне стало не по себе, потому что я деревенский. Там вспоминалось из прежней жизни только хорошее, больше детство. Как лежал в траве среди колокольчиков и ромашек... Как жарили на костре пшеничные колоски и ели...

Жара стояла такая, что железо лопалось на крышах дуканов. Поле загорелось сразу, взорвалось огнём. Оно пахло хлебом... Огонь поднимал вверх детский запах хлеба...

Там ночь не наступает, а падает на тебя. Вот был день, и уже — ночь. Вот ты был мальчик, и уже — мужчина. Это делает война. Там идёт дождь, ты его видишь, но до земли он не долетает. Смотришь через спутник передачи о Союзе, удоставеряешься, что есть та, другая жизнь, но в тебя она уже не проникает... Все это можно рассказать... Все это можно напечатать... Но что-то обидное для меня происходит... Не могу передать сути...

Иногда мне самому хочется написать все, что видел. В госпитале. Безрукий, а у него на кровати сидит безногий и пишет письмо матери. Маленькая девочка... Она взяла у советского солдата конфету. Утром ей отрубили обе руки... Написать все как было, и никаких размышлений. Шёл дождь... И только об этом — шёл дождь... Никаких размышлений — хорошо или плохо, что шёл дождь.

Возвращались мы с надеждой, что дома нас ждут с распростёртыми объятиями. И вдруг открытие — никому не интересно, что мы пережили. Во дворе стоят знакомые ребята: «А, прибыл? Хорошо, что прибыл». Пошёл в школу. Учителя тоже ни о чем не спрашивают. Наш разговор.

Я:

— Надо увековечить память тех, кто погиб, выполняя интернациональный долг.

Они:

— Это были двоечники, хулиганы. Как мы можем повесить на школу мемориальную табличку в их честь?

Тут к войне своё отношение. Мол, что вы такого героического совершили? Проиграли войну? А кому она нужна была, эта война, — Брежневу и военным генералам? Получилось, что мои друзья погибли зря. И я мог погибнуть зря. А моя мама увидела меня из окна и бежала через всю улицу, кричала от радости. «Нет, — говорил я себе, — пусть свет перевернётся, но это не перевернётся: герои в земле лежат. Герои!»

В институте старый преподаватель убеждал:

— Вы стали жертвой политической ошибки... Вас сделали соучастниками преступления...

— Мне было тогда восемнадцать лет. А вам сколько? Когда у нас там шкура лопалась от жары — вы молчали. Когда нас привозили в «чёрных тюльпанах» — вы молчали. Играли на кладбищах военные оркестры. Когда нас там убивали — вы молчали. Теперь все разом заговорили: жертва... ошибка...

А я не хочу быть жертвой политической ошибки. И я буду за это драться! Пусть свет перевернётся, но это не перевернётся: герои в земле лежат. Герои!»

*Рядовой, гранатомётчик*

«Мне повезло. Я возвратился живой, с руками, ногами, глазами, не обожжённый и не сумасшедший. Мы уже там поняли, что война не та, на которую ехали. Решили — давай довоюем, останемся живыми, вернёмся домой и там разберёмся...

Мы — первая замена тем, кто входил в Афганистан. У нас не было идеи, у нас был приказ. Приказы не обсуждают, начини обсуждать — это уже не армия. Читайте Энгельса: «Солдат должен быть как патрон, в любое время готовый к выстрелу». Наизусть помню. На войну едут убивать. Моя профессия — убивать. Я этому учился. Личный страх? Другого могут убить, а меня нет. Этого убили, а меня не убьют. Сознание не воспринимает самой возможности собственного исчезновения. А ехал туда не мальчишкой — тридцати лет.

Я там почувствовал, что такое жизнь. Те годы — одни из лучших, — так я вам скажу. Здесь наша жизнь серенькая, маленькая: служба — дом, дом — служба. Там мы все испробовали, узнали. Испытали истинную мужскую дружбу. Увидели экзотику: как клубится утренний туман в узких ущельях, будто дымовая завеса, бурубухайки — разукрашенные, с высоченными бортами афганские грузовики, красные автобусы, внутри которых едут люди вперемешку с овцами и коровами, жёлтые такси. Там есть места, похожие на лунный пейзаж, что-то фантастическое, космическое. Одни вечные горы, кажется, человека на этой земле нет, только камень живёт. И этот камень в тебя стреляет. Просто чувствуешь враждебность природы, даже ей ты чужой. Мы жили между жизнью и смертью, и в наших руках тоже были чья-то жизнь и чья-то смерть. Есть ли что-нибудь сильнее этого чувства? Как там погуляли, мы нигде больше не погуляем. Как там нас любили женщины, они нигде больше так нас не

будут любить. Все обострялось близостью смерти, мы все время вертелись возле смерти. Много было разных приключений, мне кажется, я знаю запах опасности, как она пахнет, когда видишь затылком. Я все там испробовал и вышел сухим из воды. Там была мужская жизнь. Вот откуда у нас ностальгия. Афганский синдром...

Правое было дело или неправое было дело — никто тогда не задумывался. Мы делали то, что нам приказывали. Воспитание, привычка. Теперь, конечно, все переосмыслено, взвешено временем, памятью, информацией и правдой, которую нам открыли. Но это же почти через десять лет! А тогда существовал образ врага, знакомый из книжек, из школы, из фильмов о басмачах. Кинокартину «Белое солнце пустыни» я раз пять смотрел. И вот он, враг! И тебе хватило, досталось, а то жалел, что поздно родился, не успел к сорок первому году. У нас у всех духовный опыт или войны, или революции, других примеров не внушили.

Мы заменили первых и стали весело забивать колышки будущих казарм, столовых, армейских клубов. Выдали пистолеты ТТ-44 времён войны, политруки с ними ходили. Ими только застрелиться или продать в дуکان. Ходили, как партизаны, кто в чем, большая часть в спортивных трико, кроссовках. Я был похож на бравого солдата Швейка. Пятьдесят градусов жары, а начальство требует галстук и полную форму, как положено по уставу от Камчатки до Кабула...

В морге — мешки с разрубленным человеческим мясом... Шок! Через полгода... Смотрим кино... Трассеры на экран летят... Продолжаем смотреть кино... Играем в волейбол, начинается обстрел... Глянули, куда летят мины, играем дальше... Фильмы привозили про войну, про Ленина или как жена изменяет... А всем хотелось комедий... Комедий совсем не привозили... Он уехал, она с другим... Взял бы автомат и разрядил в экран! Экран — три - четыре сшитые вместе простыни под открытым небом, зрители сидят на песке. Раз в неделю — банно-стеклянный день. Бутылка водки — тридцать чеков. Везли из Союза... По таможенной инструкции одному человеку разрешено везти две бутылки водки и четыре вина, а пиво в неограниченном количестве. Пиво сливаешь, заливаешь бутылки водкой. Этикетка «Боржоми», попробуешь — сорок градусов. У нас собаку звали Вермут. Красный глаз, не желтеет. Пили «шпагу» — отработанный спирт с самолётов, антифриз — жидкость для машинного охлаждения. Предупреждаешь солдат:

— Пейте все, но антифриз не пейте.

Через день — два после того, как они прибыли, зовут врача:

— Что?



— Новенькие антифризом отравились...

Наркотики курили. Один накурится — «шубняк» нападает... Любая пуля летит — ему кажется: в него целятся... Другой на ночь курит... Начинаются галлюцинации. Всю ночь семью видит, жену обнимает... У некоторых были цветные видения... Как кино смотрит... Первое время наркотики нам продавали в дуканах, потом давали бесплатно:

— Кури, русский! На, кури... — бочата бегают и суют солдатам.

Из анекдотов:

— Товарищ подполковник, как пишется ваше звание — вместе или раздельно?

— Конечно раздельно. Проверочное слово «под столом».

Друзья гибли... Зацепил растяжку каблуком, услышал щелчок взрывателя и, как всегда в этом случае, не упал, не прижался к земле, а удивлённо оглянулся на звук и принял на себя десятки осколков... Танк разорвало так, что днище вскрыло, как консервную банку, повырывало катки, гусеницы. Механик-водитель пытался выбраться через люк, показались только его руки — дальше не смог, сгорел вместе с машиной. На кровать убитого в казарме никто не хотел ложиться. Появлялся новенький, по-нашему, «заменщик»...

— Спи пока здесь... На этой кровати... Ты все равно его не знал...

Вспоминали чаще тех, у кого остались дети. Сиротами будут расти... Ну а те, кто никого не оставил, ушёл как не был?..

За войну нам удивительно дёшево платили, каких-то два оклада, из которых один переводили в двести семьдесят чеков, из него высчитывали ещё взносы, подписки, налог и прочее. В то время как обычному вольнонаёмному рабочему на Саланге платили по тысяче пятьсот чеков. Сравните с офицерским окладом. Военные советники получали в пять - десять раз больше. Неравенство обнаруживалось на таможне... Когда везли колониальный товар... У кого магнитофон и пара джинсов, у кого видеосистема и к ней пять - семь чемоданов длиной с матрац, солдаты чуть волокут.

В Ташкенте:

— Из Афгана? Девочку хочешь? Девочка как персик, дорогой, — зовут в частный бардак.

— Нет, дорогой, спасибо. Домой хочу. К жене. Билет нужен.

— За билет бакшиш давай. Итальянские очки будут?

— Будут.

Пока долетел до Свердловска, заплатил сто рублей и отдал итальянские очки, японский платок с люрексом и французский

косметический набор. В очереди научили:

— Что стоишь? Сорок чеков в служебный паспорт — и через день дома.

Беру на вооружение:

— Девушка, мне до Свердловска.

— Билетов нет. Очки надень и посмотри на табло.

Сорок чеков в служебный паспорт...

— Девушка, мне до Свердловска...

— Сейчас проверю. Хорошо, что вы подошли, тут один отказался.

Приезжаешь домой. Попадаешь в совершенно другой мир — в семью. Первые дни никого не слышишь, только видишь. Трогаешь их. Как вам рассказать, что такое провести рукой по головке своего ребёнка... После всего... Утром на кухне запах кофе и блинчиков... Жена зовёт завтракать...

Через месяц уезжать. Куда, зачем — непонятно. Об этом не думаешь. Об этом просто нельзя думать. Знаешь одно: едешь, потому что надо. Ночью на зубах скрипит афганский песок, мягкий, как пудра или мука. Только что ты лежал в красной пыли... Это глина... Рядом рычит БМП... Опомился, вскочил — нет, ты ещё дома... Уезжаешь завтра... Сегодня отец попросил заколоть поросёнка... Раньше он режет поросёнка, я не подойду, затыкаю уши, чтобы не слышать этот визг... Убегал из дому...

Отец:

— Давай поддержи...

— Не так делаете... В сердце ему сюда... — взял и проколол.

...В морге мешки с разрубленным человеческим мясом... Шок! Нельзя пролить первую кровь, потом трудно остановиться...

Каждый сам занимался своим собственным спасением. Сам!

Сидят солдаты... Внизу идут старик и ослик... Они из гранатомёта: шар-р-рах! Ни старика, ни ослика...

— Ребята, вы что, с ума сошли? Шли старик и ослик... Что они вам сделали?

— Вчера тоже шли старик и ослик... Шёл солдат... Старик и ослик прошли, солдат остался лежать...

— А может, это другой старик и другой ослик...

Нельзя пролить первую кровь... Все время будешь стрелять во вчерашнего старика и вчерашнего ослика...

Довоевали. Остались живы, вернулись домой. Теперь разбираемся...»

*Капитан, артиллерист*

«Я сидела у гроба и спрашивала: «Кто там? Ты ли там, сынок?» Только

это и повторяла: «Кто там? Ты ли там, сынок?» Все решили, что я сошла с ума.

Прошло время. Я хотела узнать, как погиб мой сын. Обратилась в военкомат:

— Расскажите, как погиб мой сын? Где? Я не верю, что его убили. Мне кажется, что я похоронила железный ящик, а сын где-то живой.

Военком разозлился и даже прикрикнул:

— Это разглашению не подлежит. А вы ходите и всем говорите, что у вас погиб сын. Нельзя разглашать.

...Сутки я мучилась, пока родила. Узнала — сын! — боли прошли: не зря мучилась. С первых дней боялась за него, больше никого у меня не было. Жили мы в бараке, жили так: в комнате стояли моя кровать и детская коляска и ещё два стула. Работала я на железной дороге стрелочницей, зарплата — шестьдесят рублей. Вернулась из больницы и сразу — в ночную смену. С коляской на работу ездила. Возьму плитку, накормлю его, он спит, а я поезда встречаю и провожаю. Подрос, стала одного дома оставлять. Привяжу за ножку к кровати и ухожу на целый день. И он вырос у меня хороший.

Поступил в строительное училище в Петрозаводске. Я приехала его навещать, он поцеловал меня и куда-то убежал. Обиделась даже. Заходит в комнату, улыбается:

— Сейчас девочки придут.

— Какие девочки?

А это он сбегал к девочкам похвастаться, что к нему мама приехала, чтобы они пришли и посмотрели, какая у него мама.

Кто мне подарки дарил? Никто. Приезжает на Восьмое марта. Встречаю на вокзале:

— Давай, сынок, помогу.

— Сумка, мама, тяжёлая. Ты возьми мою трубку чертёжную. Но неси осторожно, там чертежи.

Я так и несу, а он проверяет, как я несу. Что там за чертежи?! Дома он раздевается, я быстрее на кухню — как мои пирожки? Поднимаю голову: стоит и держит в руке три красных тюльпана. Где он их взял на Севере? В тряпочку завернул и в трубку чертёжную, чтобы не замёрзли. А мне никто никогда цветов не дарил.

Летом поехал в стройотряд. Вернулся как раз перед моим днём рождения:

— Мама, извини, что не поздравил. Но я тебе привёз... — и показывает извещение на денежный перевод.

Читаю:

— Двенадцать рублей пятьдесят копеек.

— Ты, мама, забыла большие цифры. Тысяча двести пятьдесят рублей...

— Таких сумасшедших денег сроду в руках не держала и не знаю, как они пишутся.

Он такой довольный:

— Теперь ты отдохнёшь, а я буду работать. Буду много зарабатывать. Ты помнишь, когда я был маленький, я обещал, что вырасту и буду носить тебя на руках?

Правда, такое было. И вырос он метр девяносто шесть ростом. Поднимал и носил меня, как девочку. Наверное, потому мы так любили друг друга, что у нас никого больше не было. Как бы я его жене отдала, не знаю. Не перенесла бы.

Прислали повестку идти в армию. Он хотел, чтобы его взяли в десантники:

— Мама, набирают в десантные войска. Но меня, сказали, не возьмут, потому что я своей силищей им все стропы пообрываю. А у десантников такие красивые береты...

И все-таки он попал в Витебскую десантную дивизию. Приехала к нему на присягу. Даже не узнала: выпрямился, перестал стесняться своего роста.

— Мама, почему ты у меня такая маленькая?

— Потому что скучаю и не расту, — ещё пробовала шутить.

— Мама, нас посылают в Афганистан, а меня опять не берут. Почему ты не родила ещё девочку, тогда бы меня взяли.

Когда они принимали присягу, присутствовало много родителей. Слышу:

— Мама Журавлёва здесь? Мама, идите поздравьте сына.

Я подошла и хочу его поздравить, а он же метр девяносто шесть, никак не дотянусь до него. Командир приказывает:

— Рядовой Журавлёв, нагнитесь, пусть мама вас поцелует.

Он нагнулся и поцеловал, и кто-то нас в эту минуту сфотографировал. Единственный военный снимок, который у меня есть.

После присяги его отпустили на несколько часов, и мы пошли в парк. Сели на траву. Снял он сапоги — ноги стёрты в кровь. У них был маршбросок на пятьдесят километров, а сапог сорок шестого размера не было, и ему дали сорок четвёртый. Не жаловался, наоборот:

— Мы бежали с рюкзаками, гружёнными песком. Как ты думаешь,

каким я прибежал?

— Наверное, последним из-за этих сапог.

— Нет, мама, я был первым. Я снял сапоги и бежал, и песок не высыпал, как другие.

Мне хотелось что-нибудь сделать для него особенное:

— Может, сынок, в ресторан пойдём? Мы никогда с тобой не были в ресторане.

— Мама, купи лучше мне килограмм леденцов. Вот это будет подарок!

Перед отбоем мы расстались. Он помахал мне вслед кульком с леденцами.

Нас, родителей, разместили на территории части в спортзале на матах. Но мы только под утро легли, всю ночь ходили вокруг казармы, где спали наши ребята. Заиграл горн, я подхватила: поведут на физзарядку, вдруг ещё раз его увижу, хотя бы издалека. Бегут, все в одинаковых полосатых маечках — пропустила, не углядела. А они ходили строем в туалет, строем на физзарядку, строем в столовую. По одному им не разрешали, потому что, когда ребята узнали, что их посылают в Афганистан, один в туалете повесился, ещё двое себе вены перерезали. Их караулили.

Садилась в автобус, я одна из родителей плакала. Как будто что-то мне подсказывало, что видела его в последний раз. Скоро он написал: «Мама, я видел ваш автобус, я так бежал, чтобы увидеть тебя ещё раз». Когда мы сидели с ним в парке, по радио пели: «Как родная меня мать провожала». Услышу теперь эту песню...

Второе письмо начиналось: «Привет из Кабула...» Прочитала и так начала кричать, что прибежали соседи. «Где закон? Где защита? — билась головой о стол. — Он у меня единственный, даже в царское время единственных кормильцев в армию не брали. А тут на войну послали». Впервые после рождения Саши пожалела, что не вышла замуж, что некому меня защитить. Саша, бывало, дразнится:

— Мама, почему не выходишь замуж?

— Потому что ты меня ревнуешь.

Засмеётся и промолчит. Мы собирались жить вместе долго-долго.

Ещё несколько писем и молчание, такое длинное молчание, что я обратилась к командиру части. И Саша тут же пишет: «Мама, не пиши больше командиру части, знаешь, как мне попало? А я не мог тебе написать, руку оса укусила. Просить кого-нибудь не хотел, ты испугалась бы чужого почерка». Жалел меня, придумывал сказки, как будто я не смотрела каждый день телевизор и не могла сразу догадаться, что он был ранен. Теперь, если один день не было письма, у меня отказывали ноги. Он

оправдывался: «Ну как могут приходить каждый день письма, если нам даже водичку раз в десять дней возят?» Одно письмо было радостное: «Ура-ура! Сопровождали колонну в Союз. Дошли до границы, дальше не пустили, но мы хоть издалека посмотрели на свою Родину. Нигде лучше земли нет». В последнем письме: «Если я проживу лето, я вернусь».

Двадцать девятого августа я решила, что лето кончилось, купила ему костюм, туфли. Все в шкафу...

Тридцатое августа. Перед тем как идти на работу, сняла с себя серёжки и кольцо. Почему-то не могла носить.

Тридцатого августа он погиб...

За то, что осталась живой после смерти сына, я должна благодарить своего брата. Он неделю лежал возле моего дивана, как собака... Сторожил меня... А у меня в голове было одно: добежать до балкона и спрыгнуть с седьмого этажа... Помню, внесли в комнату гроб, я легла на него и меряю... Один метр, второй метр... Сын у меня двухметровый был... Руками меряла, по росту ли гроб... Как сумасшедшая говорила с гробом: «Кто там? Ты ли там, сынок?.. Кто там? Ты ли там, сынок? Кто там? Ты ли там, сынок?..» Привезли в закрытом гробу: вот, мать, мы тебе привезли... Я не могла его поцеловать последний раз... Погладить... Я даже не знала, во что он одет...

Сказала, что место на кладбище сама ему выберу. Сделали мне два укола, и мы пошли с братом. На главной аллее уже были «афганские» могилы.

— И моего сыночка сюда. Тут со своими ребятами ему будет веселее.

Кто с нами был, не помню, какой-то начальник, качает головой:

— Не разрешено их хоронить вместе. Разбрасываем по всему кладбищу...

Ой, недобрая я стала. Ой, недобрая я теперь стала. «Не обозлись, Соня. Ты только, Соня, не обозлись», — умолял брат. А как мне доброй стать? По телевизору показывают ихний Кабул... А я бы взяла пулемёт и всех стреляла. Сяду у телевизора и «стреляю»... Это они моего Сашу убили... А потом раз показали старую женщину... Наверное, афганскую мать... Она прямо на меня смотрела... Я подумала: «А там же её сын, может, его тоже убили». Вот после неё я перестала «стрелять».

Может, мне из детдома мальчика взять... Русенького, как Саша... Нет, мальчика боюсь... Лучше девочку... Мальчика заберут и убьют... Будем вдвоём Сашу ждать... Я не сумасшедшая, но я его жду... Рассказывают случай... Привезли матери гроб; она его похоронила... А через год он возвращается, живой, только раненый был. У матери разрыв сердца... А я

жду... Мёртвым я его не видела... Не целовала... Жду...»

*Мать*

«Я начну не с самого начала. Я начну с того, когда все рухнуло.

Ходили в Джелалабад... Стоит у дороги девочка, лет семи... У неё перебита рука, висит, как у разорванной тряпичной игрушки, на какой-то ниточке... Глаза-маслины неотрывно смотрят на меня... Я соскакиваю с машины, чтобы взять её на руки и отнести к нашим медсёстрам... Она в диком ужасе, как зверёк, отскакивает от меня и кричит... Она бежит и кричит, ручонка болтается, вот-вот совсем отлетит... Я тоже бегу и кричу... Догоняю, прижимаю к себе, глажу... Она кусается, царапается, вся дрожит... Словно её какое-то дикое животное схватило, а не человек... И меня, как громом, поражает мысль: она не верит, что я хочу её спасти, она думает — я хочу её убить...

Мимо проносят носилки: на них сидит старая афганка и улыбается.

Кто-то спрашивает:

— Куда её ранили?

— В сердце, — говорит медсестра.

А ехал туда, глаза были, как у всех, огненные: я там кому-то нужен. Я им нужен... Как она от меня убегала... Как дрожала... Как боялась меня... Никогда не забуду...

Там сны о войне не видел. А здесь ночью воюю. Догоняю эту маленькую девочку... Глаза-маслины... Ручонка болтается, вот-вот отлетит...

— Надо мне к психиатру? — спросил у своих ребят.

— Чего?

— Воюю.

— Мы все воюем...

Не думайте, что это были супермены... С сигаретой в зубах, сидели на убитых и банку тушёнки открывали?.. Арбузы ели?.. Чушь! Обыкновенные ребята. На нашем месте мог оказаться любой. И тот, кто сегодня судит: «Вы там убивали...» Мне вмазать в эту морду охота! Не был там... Не испытал... Не суди! Вы никогда не сможете стать с нами рядом. И никто не имеет права нас судить. Один Сахаров... Его буду слушать... Никто не хочет понять эту войну, оставили нас с ней один на один. Сами, мол, разбирайтесь. Мы ходим виноватые, должны оправдываться... Перед кем оправдываться? Нас послали. Мы поверили. И с этим там погибали. Не надо ставить вместе тех, кто туда посылал, и тех, кто там был. У меня погиб друг... Майор Саша Кравец... Скажите его маме, что он виноват...

Скажите его жене... Его детям... Вы нас туда послали... «У вас все нормально», — сказал мне врач. Какие же мы нормальные?! Мы столько в себе принесли...

Там совсем по-другому чувствовалась Родина. Звали — Союз. Дембелей провожали:

— Вы уж там поклонитесь Союзу.

Казалось: за нашей спиной что-то большое и сильное, и оно нас всегда защитит. Но помню: вышли из боя, с потерями — убитые, тяжелораненые... Вечером врубили телевизор — отвлечься: что там в Союзе? В Сибири построен новый завод-гигант... Английская королева дала обед в честь высокого гостя... В Воронеже подростки изнасиловали двух девчонок-школьниц, от скуки... В Африке принца убили... Наше чувство: мы никому не нужны, страна живёт своим...

Первым не выдержал Саша Кучинский:

— Выключи! Или я расстреляю сейчас телевизор.

После боя по рации докладываешь:

— Запишите: «трехсотых» — шесть, «ноль-двадцать первых» — четыре.

«Трехсотые» — раненые, «ноль-двадцать первые» — убитые. Глядишь на убитого и думаешь о его матери: я вот знаю, что её сын погиб, а она ещё нет. Сказалось ли ей? Ещё хуже — упал в речку или в пропасть, тело не нашли. Матери сообщают: пропал без вести... Чья это была война? Война матерей. Они воевали. А народ не страдал. Народ не знал. Ему говорили, что мы воюем с «бандами». Стотысячная регулярная армия девять лет не может победить разрозненные кучки «бандитов»? Армия с новейшей техникой... Не дай Бог попасть под обстрел нашей артиллерии, когда цель обрабатывают реактивные установки «Град» или «Ураган». Телеграфные столбы летят... Готов залезть в землю, как дождевой червяк... А у «бандитов» — пулемёты «максимы», которые мы только в кино видели... «Стингеры», японские безоткатки... Это уже потом. Приведут пленных — худые, измождённые люди с большими, крестьянскими руками... Какие же это бандиты? Это — народ!

Мы там поняли, им это не надо. Если им не надо, то зачем это нам? Проезжаешь мимо брошенных кишлаков... Ещё дымок костра вьётся, едой пахнет... Идёт верблюд и кишки за собой тянет, как будто горбы свои разматывает... Надо достреливать... А сознание все-таки запрограммировано на мирную жизнь: дострелить не можешь... Другой возьмёт и пальнёт в целого верблюда. А просто так! С охотки, с дури... В Союзе бы за это посадили, а тут — герой: бандитам мстит. Почему



восемнадцатилетние - девятнадцатилетние убивают легче, чем, например, тридцатилетние? Им не жалко. После войны я вдруг обнаружил, какие страшные детские сказки. Все время в них кто-то кого-то убивает. Баба Яга вообще в печке живьём зажаривает, а детям не страшно. Они плачут очень редко.

Но хотелось остаться нормальным. Приехала к нам певица. Красивая женщина, песни у неё задушевные. А там так скучаешь по женщине, ждёшь её, как близкого человека. Она вышла на сцену:

— Когда летела к вам, мне дали пострелять из пулемёта. С какой радостью я стреляла...

Запела, а к припеву просит:

— Ребята, ну хлопайте! Хлопайте, ребята!

Никто не хлопает. Молчат. И она ушла, концерт сорвался. Супердевочка приехала к супермальчикам. А у этих мальчиков в казармах каждый месяц десять - двадцать коек пустых... Те, кто на них спал, уже в холодильнике... Только письма по диагонали на простынях... От мамы, от девочки: «Лети с приветом, вернись с ответом...»

Выжить — на этой войне было главным. Не подорваться на mine, не сгореть в бронетранспортере, не стать мишенью для снайпера. А для некоторых: выжить и что-нибудь из вещей привезти — телевизор, дублёрку... Ходила шутка, что о войне в Союзе узнают в комиссионных магазинах. Зимой едешь по нашему Смоленску — девушки в афганских шубах. Мода!

У каждого солдата на шее висел амулетик.

— Что у тебя? — спросишь.

— Молитовку мама дала.

Когда я вернулся, мама открылась:

— Толя, ты не знаешь, я тебя на землю заговорила, потому ты живой и целый.

Уходили в рейд: одну записку кладёшь в верхнюю часть одежды, другую — в нижнюю. Подорвёшься — какая-нибудь часть останется: верхняя или нижняя. Или носили браслеты с гравировкой: фамилия, группа крови, резус и личный номер офицера. Никогда не говорили: «Я пойду». — «Послали». Не произносили слова «последний».

— Давай зайдём в последний раз...

— Ты что, сдурел? Нет такого слова... Крайний... ну, четвёртый, пятый... А этим здесь не пользуются...

У войны — подлые законы: сфотографировался перед тем, как идти на боевые, — убили, побрился — убили. Первыми погибали те, кто приезжал

нацеленный на героизм, с голубыми глазами. Встречал такого: «Буду героем!» Погиб с ходу. Извините, на операции — тут же лежим, тут же нужду справляем. Солдатская поговорка: лучше топтаться в собственном дерьме, чем самому стать дерьмом на минах. Родился у нас свой жаргон: борт — самолёт, броник — бронежилет, зелёнка — кусты и заросли камыша, вертушка — вертолёт, глюки видел — галлюцинации после наркотика, подпрыгнул на mine — подорвался, заменщики — кто домой уезжает. Столько сочинили, что «афганский» словарь можно составить. А погибали больше всего в первые месяцы и в последние. В первые — много любопытства, в последние — сторожевые центры отключаются, наступает отупение, ночью не можешь понять: где я, что я, зачем? Со мной ли это? Заменщики не спят полтора - два месяца. У них своё исчисление: сорок третье марта или пятьдесят шестое февраля, это значит — должен был заменяться в конце марта или в конце февраля. Очень сильно ждёшь. Меню в столовой: красная рыба (килька в томате), белая рыба (килька в масле) — раздражает, свежесбеленные цветочные клумбы в центре гарнизона — раздражают, анекдоты, над которыми ещё недавно надрывался от хохота, — не нравятся. Странно, что ещё вчера и позавчера было смешно... А что тут смешного?

...Приехал офицер в Союз в командировку. Зашёл в парикмахерскую. Девушка посадила его в кресло:

— Как обстановка в Афганистане?

— Нормализуется...

Через несколько минут снова:

— Как обстановка в Афганистане?

— Нормализуется...

Пройдёт какое-то время:

— Как обстановка в Афганистане?

— Нормализуется...

Постригся, ушёл. В парикмахерской недоумевают:

— Зачем мучила человека?

— Как спрошу об Афганистане, у него волосы дыбом становятся — легче стричь.

А отсюда (прошло три года) тянет туда. Да не туда тянет, не на войну, а к тем людям. Ждёшь-ждёшь, а уезжать в последний день жалко, кажется, у всех бы взял адрес. У всех!

У Лютика. Так звали Валерку Широкова, хрупкий, изящный. Нет-нет да и запоёт кто-нибудь: «Руки, словно лютики». А характер — железный, лишнего слова не скажет. Был у нас жмот, все копил, покупал, менял.

Валерка стал перед ним, вытащил из своего бумажника двести чеков, показал и тут же на глазах у того одуревшего разорвал на мелкие кусочки. Молча вышел.

У Саши Рудика. Мы с ним в рейде встречали Новый год. Ёлка — автоматы поставили пирамидой, игрушки — повесили гранаты. А на машине-установке «Град» зубной пастой написали: «С Новым годом!!!» Почему-то три восклицательных знака. Саша хорошо рисовал. Я привёз домой простыню с его пейзажем: собака, девочка и клёны. Горы он не рисовал, горы мы там разлюбили. Любого спроси: «О чем тоска?» — «В лес хочу... В реке искупаться... Молока большую кружку выпить...»

В Ташкенте в ресторане подходит официантка:

— Миленькие, молоко берете?

— По два стакана обыкновенной воды. А молоко завтра будем пить. Только приехали...

Из Союза каждый вёз чемодан варенья и берёзовый веник. Там же эвкалиптовые продаются — мечта! Нет, везли свои, берёзовые...

У Сашика Лашука. Парень чистый. Часто писал домой. «У меня родители старенькие. Они не знают, что я тут, я им сочиняю о Монголии». Приехал с гитарой и уехал с гитарой.

Там разные люди были. Не представляйте нас одинаковыми. А то сначала о нас молчали, потом стали воображать всех героями, теперь ниспровергают, чтобы следом забыть. Там же один мог лечь рывком на мину и спасти даже незнакомых ему ребят, другой подойти к тебе и просить: «Хотите, стирать вам буду, только не посылайте на боевые».

Идут «КамАЗы», и на козырьках крупными буквами: Кострома, Дубна, Ленинград, Набережные Челны... Или: «Хочу в Алма-Ату!» Ленинградец находил ленинградца, костромич — костромича... Обнимались, как братья. И в Союзе мы как братья. Ну кто ещё молодой может сегодня идти по улице с костылём и новеньким орденом? Только свой. Мой брат... Наш брат... Обнимаемся, другой раз только на скамейке посидим и выкурим по сигарете, а кажется, говорили весь день. У нас у всех дистрофия... Там это было несоответствие веса росту... Здесь — несоответствие чувств возможности вылиться, выплеснуться в словах, в деле...

Ехали мы уже из аэропорта в гостиницу. Первые часы дома. Молчим, притихли. В один миг у всех нервы не выдержали и разом выдохнули водителю:

— Колея! Колея! Держи колею!..

Потом — хохот. Потом — счастье: да мы же в Союзе! Можем по обочине ехать... По колее... По всей земле... Пьянеешь от этой мысли...

Через несколько дней обнаружили:

— Ребята!!! Мы все сутулые...

Не могли ходить прямо, разучились. Я себя полгода на ночь к кровати привязывал, чтобы распрямиться.

Встреча в Доме офицеров. Вопросы: «Расскажите о романтике службы в Афганистане», «Убивали ли вы лично?» Особенно девочкам нравятся кровожадные вопросы. Жизнь вокруг серенькая, щекочут себе нервы. Но ведь ни у кого не повернётся язык завести разговор о романтике Великой Отечественной войны? Там была разница возрастов — воевали сыновья, отцы и деды. А тут — одни мальчишки. Слепые и восторженные. Насмотрелся, как им всего хотелось попробовать. Попробовать убить. Страх попробовать. Гашиш. Один попробует — летает, а у другого — «шубняк»: куст становится деревом, камень бугром, идёт и в два раза выше ноги поднимает. Ему ещё страшнее.

Был и такой вопрос: «А вы могли не поехать в Афганистан?» Я? Я... У нас отказался лишь один, командир батареи майор Бондаренко:

— Родину пойду защищать. В Афганистан не поеду.

Первое, что с ним сделали: суд офицерской чести — исключить за трусость! Пройти через это мужскому самолюбию? Петля — на шею, пистолет — к виску. Второе — понизили в должности, как мы говорим, рассыпали звезду: из майора стал капитаном. И — в стройбат. Через это пройти? Выгнали из партии. И через это? Выгнали из армии. И через это? Военная косточка, тридцать лет в армии.

— Что ты можешь? — спрашивают у офицера.

— Могу командовать ротой. Могу командовать взводом или батареей.

— Что ещё можешь?

— Могу копать.

— Что ещё?

— Могу не копать...

И через это пройти?

...На таможне у меня размагнитили кассеты с концертом Розенбаума.

— Что вы, ребята, делаете?

— А у нас, — показывают мне, — есть список, что можно везти, а что нет.

Приехал в Смоленск: из окошек всех студенческих общежитий несётся Розенбаум...

А сейчас — надо рэкетов напугать, приходит милиция:

— Давайте, ребятки, помогите...

Неформалов разогнать:

— Позовём «афганцев»...

Дескать, «афганец» — это машина-убийца, ему все нипочём: крепкие кулаки, слабая голова. Все боятся. Все не любят.

Когда у вас болит рука, вы не отсекаете себе руку. Вы её нянчите, чтобы вылечить. Вы её лечите.

Почему мы собираемся? Спасаемся вместе. Но домой возвращаешься один...»

*Майор, пропагандист артополка*

«Каждую ночь видишь один и тот же сон, все прокручивается заново. Все стреляют, и ты стреляешь... Все бегут, и ты бежишь... Падаешь, просыпаешься... На больничной койке... Рывком сбрасываешь себя с кровати, чтобы выйти в коридор покурить. И тут вспоминаешь: ног нет... Тут возвращаешься в действительность...

Я не хочу слышать о политической ошибке! Не хочу знать! Если это ошибка, тогда верните мне мои ноги...

Вы вынимали когда-нибудь из кармана убитого письма: «Дорогая...», «Дорогие...», «Любимая...»? Вы видели солдата, простреленного одновременно кремнёвой пищалью и китайским автоматом?..

Нас туда послали, мы выполняли приказ. В армии ты сначала должен выполнить приказ, а потом можешь его обжаловать. Тебе сказали: вперёд! Значит, вперёд. А нет — партбилет отдай. Звание отдай. Присягу давал?! Давал. Поздно пить боржоми, когда почки отказали. «Мы вас не посылали туда». А кто посылал?

Там у меня был друг. Я уходил в бой, он со мной прощался. Я приходил, он обнимал меня — живой! Такого друга у меня здесь не будет...

На улицу редко выхожу... Стесняюсь...

Вы когда-нибудь пристёгивали наши протезы? На них ходишь и боишься шею сломать. Говорят, в других странах «протезники» на горных лыжах катаются, играют в теннис, танцуют. Купите их на валюту вместо французской косметики... Вместо кубинского сахара... Марокканских апельсинов...

Мне двадцать два года, вся жизнь впереди. Надо жену искать. Была девушка. Сказал ей: «Я тебя ненавижу», — чтобы ушла. Жалела... Хочу, чтобы любила...

Снится мне ночами дом родной

И в рябинах тихая опушка.

Тридцать, девяносто, сто...

Что-то ты расщедрилась, кукушка...

Из наших песен... Любимая... А иногда даже дня неохота жить...

Но даже сейчас мечтаю: хотя бы краешком глаза глянуть на тот кусочек земли... Нас всех тянет туда... Так тянет, когда стоишь у пропасти или высоко над водой... Так тянет, что голова кружится...

Война закончилась... Теперь постараются нас забыть, запрятать куда-нибудь подальше... Так уже было в финскую... Сколько книг написано о Великой Отечественной и ничего о финской... Наш народ быстро прощает... И я через десять лет привыкну, мне будет наплевать...

Убивал ли я там? Убивал. А вы что хотите, чтобы мы там остались ангелами? Вы ждали — ангелы возвратятся?..»

*Старший лейтенант,  
командир миномётного взвода*

«Служил на Дальнем Востоке. В журнале дежурного телефониста прочёл: «Направить старшего лейтенанта Иванова в штаб армии для рассмотрения вопроса о переводе его в Туркестанский военный округ для дальнейшего прохождения службы». Дата и время. Ожидал, что пошлют на Кубу, потому что, когда проходил медкомиссию, речь шла о стране с жарким климатом.

Спрашивали:

— Не возражаете, если мы вас пошлём в заграникомандировку?

— Нет, не возражаю.

— Поедете в Афганистан.

— Так точно.

— Вы знаете: там стреляют, убивают...

— Так точно...

В Союзе у сапёров какая жизнь? Копают лопатой, долбают киркой. А хотелось использовать то, чему учили в училище. Сапёры на войне всегда нужны. Я ехал учиться воевать.

Из всех, сколько нас вызывали из разных частей, отказался один. Его вызывали три раза:

— Не возражаете, если мы вас пошлём в заграникомандировку?

— Возражаю.

Ему не позавидуешь. Тут же получил выговор, его офицерское имя теперь замарано, и продвижения по службе не будет. Отказывался он из-за состояния здоровья, у него то ли гастрит был, то ли язвенная болезнь. Но

на это не смотрели: жарко — не жарко, предложили — должен ехать. Уже печатались списки...

Из Хабаровска шесть дней до Москвы ехал поездом. Через всю Россию, через сибирские реки, по берегу Байкала. Через сутки у проводницы кончилась заварка чая, на вторые сутки — сломался титан. Родные встретили. Поплакали. Но коль надо, то надо.

...Открылся люк — синее-синее небо, у нас только над рекой бывает такое синее небо, как там. Шум, крик, но все свои. Кто встречает заменщика, кто друзей, кто передачу от родных из Союза ждёт. Загоревшие все, весёлые. Не верилось, что где-то есть тридцать пять градусов мороза, металл замерзает и броня. Первого афганца увидел на пересылке через забор из колючей проволоки. Кроме как интереса, никаких других чувств к «импортному» человеку не испытал. Обыкновенный.

Получил бумаги в Баграм на должность командира инженерно-дорожного взвода в сапёрном батальоне.

Вставали рано утром и отправлялись, как на работу: танк с тралом, группа снайперов, собака минно-розыскная и две бээмпэшки для боевого прикрытия. Первые километры — на броне. Там хорошо видны следы, дорога пыльная, пыль лежит пудрой, как снег. Птица сядет — знак остаётся. Если вчера прошёл танк, смотри в оба: в след от гусеницы танка могут мину закопать. Пальцами изобразят гусеницу, а следы свои заметут мешком или чалмой. Дорога крутилась мимо двух мёртвых кишлаков, людей там не было, одна обгоревшая глина. Отличное укрытие! Всегда будь начеку. Остались кишлаки позади, слезаем с брони. Теперь так: впереди собака бежит, виляет туда-сюда, а за ней идут сапёры со щупом. Идут и прокалывают землю. Тут уж — с тобой Бог, твоя интуиция, твой опыт, чутьё. Там ветка сломана, там железка какая-то лежит, вчера её не было, там камень. Они же и для себя знаки оставляли, чтобы самим не подорваться.

Одна железка, другая... Какой-нибудь болт... Вроде в пыли валяются... А под землёй батарейки... Проводок к бомбе или к ящику с тротилом... Противотанковая мина человека не слышит... Она срабатывает при нагрузке двести пятьдесят - триста килограммов... Первый подрыв... Я один остался сидеть на танке, моё место было возле дула, башня защитила, остальных снесло. Сразу обшарил себя, проверил: голова на месте? Руки, ноги на месте? На месте — поехали дальше.

Впереди ещё один подрыв... Лёгкий бронированный тягач напоролся на мощный фугас... Тягач раскололся пополам, воронка — три метра длиной, а глубиной в человеческий рост. Тягач вёз мины, около двухсот

мин для миномёта... Мины в кустах, на обочине... Веером лежат... Ехало пять солдат и старший лейтенант; мы с ним несколько вечеров вдвоём сидели, курили, разговаривали... Никого целого не осталось... Мы ходили и собирали... Голова запылённая, помятая, как будто без костей... Собрали шесть ящиков, разложили, чтобы от каждого что-то домой отвезти...

Очень помогали собаки. Они как люди. Одарённые и неодаренные, с интуицией и без интуиции. Часовой заснёт, а собака нет. Я любил Арса. К нашим солдатам ластится, а на афганских лает. У них форма была более зелёная, чем наша, наша желтоватая. Но как он различал? Мины слышал за несколько шагов... Упрётся в землю, хвост трубой: не подходи! Минные ловушки разные... Самые опасные — самодельные мины, они не повторялись, в них нельзя было уловить закономерность... Стоит ржавый чайник, в нем взрывчатка... В магнитофоне, в часах... В консервной банке... Тех, кто шёл без сапёров, называли «смертниками». На дороге мины, на тропе в горах мины, в доме мины... Сапёры всегда идут первыми...

Топтались в окопчике... Уже подрыв в нем был, уже програбили, уже два дня топтались все... А я спрыгнул сверху — взрыв! Сознание не терял... На небо посмотрел... Небо светится... У сапёров при подрыве всегда первая реакция: посмотреть на небо. Целы ли глаза? На прикладе автомата носил жгут, этим жгутом меня перевязали. Выше колен... А я уже знал: где жгут накладывают, там потом и отрезают три - пять сантиметров выше отрыва.

— Куда ты жгут кладёшь? — кричу солдату.

— У вас до колена, товарищ старший лейтенант.

Пятнадцать километров меня ещё везли в медсанбат. Полтора часа ушло. Там промыли, сделали новокаиновую блокаду. В первый день ногу резали, пила зажужжала, как циркулярка, — потерял сознание. На второй день глаза оперировали. При подрыве пламя ударило в лицо. Глаза, можно сказать, соштопали, двадцать два шва было. Снимали по два - три в день, чтобы глазное яблочко не рассыпалось, Подойдут, фонариком посветят — слева, справа: есть ли светоощущение, на месте сетчатка?

Какой цвет?

— Зелёный.

А цвет у фонарика красный.

Я мог бы написать рассказ, как офицер превращается в надомника. Собирает электропатроны, электророзетки... Сто штук в день. Шнурки заклёпывает... Какие? Красные, чёрные, белые — не знает... Не видит... Диагноз: тотально слепой... Сетки вяжет... Коробочки клеит... Раньше



думал, что только сумасшедшие этим занимаются... Тридцать сеток в день... Уже норму выполняет...

У сапёров было мало шансов вернуться целыми или вообще вернуться, особенно из рот разминирования, спецразминирования. Или ранен, или убит. Уходим на операцию — не прощаемся за руку. В день подрыва новый командир роты пожал мою руку. Он от души, ещё никто его не предупредил. И я взлетел... Хочешь верь — хочешь не верь. Существовало поверье: сам напросился в Афганистан — добром это не кончится, послали — дело служивое, может, и пронесёт, вернёшься домой.

Пять лет прошло. А что мне снится? Длинное минное поле... Составил формуляр: количество мин, количество рядов и ориентиры, по которым можно их найти... И этот формуляр у меня потерялся... А у нас они часто терялись, или берёшь формуляр, там ориентир — дерево, а оно сгорело... Или грудка камней, а они взорвались... Никто не ходил, не проверял... Боялись... Сами подрывались на своих минах... Никто не знает, что там мины... Мне надо крикнуть: «Там мины! Не ходите!..» Мне надо опередить детей... Я бегу... У меня опять обе ноги... И я вижу, мои глаза снова видят... Но это только ночью, только во сне. Просыпаюсь...»

*Старший лейтенант, сапёр*

«Это, может быть, нелепо. В этом случае, с этой войной. Но я — человек романтический, не люблю жизнь из мелочей, из вещей. В первый же день, как я туда прибыла, меня вызвал начальник госпиталя: «Что вас заставило сюда приехать?» Я должна была рассказать ему всю свою жизнь. Чужому, незнакомому мужчине... Военному... Как на площади... Вот это самое мучительное, самое унижительное для меня там. Ничего тайного, интимного, все вытягивается наружу. Вы смотрели фильм «Беспредел»? О жизни зэков в колонии. Мы жили по тем же законам... (Та же колючая проволока, тот же пятачок земли...)

Моё окружение — девочки-официантки, повара. Разговоры: о рублях, о чеках, мясе с костями и без костей, о сырокопчёной колбасе, болгарском печенье. В моем же представлении — это было самопожертвование, женский долг — защищать наших мальчиков, спасать! Я возвышенно все представляла. Люди истекают кровью, я даю свою кровь. Уже на пересылке в Ташкенте поняла: еду не туда. Сажусь в самолёт — плачу, не могу остановиться. Там то же, что и здесь, от чего убегала, от чего хотела отвернуться. На пересылке водка лилась рекой. «Снится нам трава у космодрома... Зелёная-зелёная трава...» Как в космос улетала... Тут, в Союзе, у каждого свой дом, своя крепость... А там... Нас в комнате четыре

человека. Та девочка, что поваром работала, приносила из столовой мясо и заталкивала его под кровать...

— Помой пол — за меня.

— Я вчера мыла, сегодня твоя очередь.

— Помой, дам сто рублей...

Я молчу.

— Мяса дам.

Молчу. Она берет ведро воды и выливает на мою кровать.

— Ха-ха-ха-ха... — все смеются.

Другая девочка. Официантка. Ругалась матом и любила Цветаеву. После смены садится и раскладывает пасьянс:

— Будет — не будет... Будет — не будет...

— Что «будет — не будет»?

— Любовь, что ещё.

Свадьбы там были. Настоящие. И любовь. Но редко. Любовь была до Ташкента: оттуда — он налево, она — направо.

Таня Бэтээр (высокая, большая) любила сидеть и допоздна разговаривать. Спирт пила только чистый.

— Как ты можешь?

— Что вы, водка слабая, водка меня не берет.

С собой увезла пятьсот или шестьсот открыток с киноактёрами. Они дорогие в дуканах, она щеголяла: «На искусство денег не жалко».

Верочку Харькову запомнила сидящей перед зеркалом с открытым ртом и высунутым языком. Она боялась брюшного тифа. Кто-то ей сказал, что надо каждое утро смотреть в зеркало: при брюшном тифе на языке остаются следы от зубных резцов.

Они меня не признавали. Дескать, какая-то дура, носит пробирки с микробами. Я работала врачом-бактериологом в инфекционном госпитале. У меня на языке вечно было одно: брюшничок, гепатит, паратит, амёбиаз. Раненые не сразу попадали в госпиталь. Пять - десять часов, а то и сутки, и двое они лежали в горах, в песке. Раны осеменялись микробами, то, что называется раневой инфекцией. Раненый в реанимации, а я у него нахожу брюшной тиф.

Умирали молча. Один только раз видела, как расплакался офицер. Молдаванин. К нему подошёл хирург, тоже молдаванин, спросил у него по-молдавски:

— Батюшка, на что жалуетесь? Что болит?

И тот расплакался:

— Спасите меня. Я должен жить. У меня любимая жена и любимая

дочка. Я должен вернуться...

Он умер бы молча, но расплакался, потому что услышал родную речь.

В морг не могла зайти. Туда привозили человеческое мясо, перетёртое с землёй. И под кроватью у девочек мясо... Поставят на стол сковородки: «Руба! Руба!» — по-афгански это значит «вперёд». Жара... Пот капает в сковородки... Я видела только раненых и имела дело только с микробами... Я не пойду микробы продавать... В военторге на чеки можно было купить карамельки. Моя мечта! «Афганистан, какая прелесть!» — была там такая песня. Я всего там боялась, если честно признаться... Приехала туда и не различала даже звёздочки на погонах, звания. Всем говорила «вы». Не помню уж кто, но кто-то дал мне на кухне в госпитале два сырых яйца. Потому что врачи ходили полуголодные. «Сидели» на картофельном клейстере, замороженном мясе, приготовленном для войны... Древесина... Без запаха и цвета... Я схватила эти два яйца, завернула в салфетку. Ну, дома с луком поем. Весь день представляла, как буду ужинать. Тут — везут на каталке парня, эвакуируют в Ташкент. Что там под простыней — не видно, одна красивая голова на подушке катается. Поднял на меня глаза:

— Кушать хочется.

Как раз это перед обедом, ещё бачки не привезли, а его уносят, и когда-то это ещё прилетят в Ташкент, когда накормят.

— На, — и даю ему эти два яйца. Повернулась и пошла, не спросила: руки, ноги у него есть? Я ему на подушку положила. Не разбила, не покормила. Вдруг рук нет?

Ехала два часа в машине, а рядом трупы... Четыре трупа... Они лежали в спортивных костюмах...

Домой вернулась. Не могла слушать музыку, разговаривать на улице, в троллейбусе. Закрыла бы дверь в комнате — чтобы телевизор и я одна. За день до отлёта в Союз застрелился начмед нашего госпиталя Юрий Ефимович Жибков... В Афганистане у кого-то из офицеров переписала: «Иностранец, которому случится попасть в Афганистан, будет под особым покровительством Неба, если он выйдет оттуда здоровым, невредимым и с головой на плечах...» Француз Фурье...

Встречаю на улице молодого человека: «Это, наверное, «афганец»?» Но я его не окликаю, чтобы не показаться смешной. У меня натура мягкая, и я ловлю себя на мысли, что превратилась в агрессивное, жестокое существо. Готовим мальчишек к выписке... Они прячутся на чердаках, в подвалах госпиталя... Мы их ловим, вытаскиваем... На пересылке молодые девчонки учили меня, кому надо дать бутылку водки, чтобы попасть в хорошее место... Они учили меня... Им по восемнадцать — двадцать лет, а

мне сорок пять.

На таможне, когда возвращались, заставили снять все до бюстгальтера.

— Кто вы?

— Врач-бактериолог.

— Покажите документы. — взяли документы. — Открывайте чемоданы. Будем шмонать...

Я тащила с собой назад старенькое пальто, одеяло, покрывало, шпильки, вилки... Все, что из дому брала. Выгрузили на стол:

— Вы что, сумасшедшая? Стихи, наверное, пишете?

Мне здесь невмоготу. Здесь страшнее, чем там. Там вернулся из Союза, кто что привёз — садимся за один стол. Третий тост. Молча. За всех, кто погиб. Сидим за столом, а мышки прогуливаются, в туфлях сидят. В четыре часа вой... Первый раз вскочила: «Девочки, волки». Девочки смеются: «Молитву мулла читает». Я долго-долго в четыре утра просыпалась.

Хотелось продолжения. Просилась в Никарагуа. Куда-нибудь, где война идёт. Не мирится душа с этой жизнью. Не хочет. На войне даже лучше. Там оправдание есть всему. И хорошему и страшному. Невероятно?! Но приходит эта мысль в голову...»

*Врач-бактериолог*

«Я его первая выбрала. Стоит высокий, красивый парень. «Девочки, — говорю, — мой». Подошла и пригласила на дамский вальс. Девушки приглашают кавалеров... А я — судьбу.

Очень хотела сына. Договорились: если родится девочка, дам имя ей я. Будет Олечка. Родится сын, даст имя он. Будет Артём или Денис. Родилась Олечка.

— А сынишка будет?

— Будет. Пусть только Олечка подрастёт.

Я родила бы ему и сына.

— Людочка, не пугайся. Молоко пропадает... — я малютку грудью кормила. — Посылают в Афганистан...

— Почему ты? У тебя маленький ребёнок.

— Не я, кому-то другому выпадет. Партия велела — комсомол ответил: есть.

Он был преданный армии человек. «Приказы, — повторял, — не обсуждаются». У них в семье у матери очень сильный характер, и он привык слушаться, подчиняться. В армии ему было легко.

Как провожали? Мужчины курили. Мать молчала. Я плакала: кому

нужна эта война? Дочка спала в люльке.

Встретила на улице дурочку, юродивую, она часто появлялась в нашем военном городке, на базаре или в магазине. Говорили люди, что молодой её изнасиловали, и с тех пор она даже мать не узнает. Остановилась возле меня.

— Вот привезут тебе мужа в цинке, — засмеялась и убежала.

Я не знала, что случится, но я знала — что-то случится.

Ждала его, как у Симонова: жди меня, и я вернусь... В день могла написать по три, по четыре письма и отправить. Мне казалось, что тем, что я думаю о нем, тоскую о нем, я его берегу. А он писал, что здесь, на войне, каждый делает свою работу. Выполняет приказ. И кому какая судьба. Не волнуйся и жди.

Когда я бывала у его родителей, об Афганистане никто не вспоминал. Ни слова. Ни мать, ни отец. Уговора такого не было, но все боялись этого слова.

...Одела девочку, чтобы нести в детский сад. Поцеловала. Открываю дверь: стоят военные, и у одного в руках чемодан моего мужа, небольшой, коричневый, я его собирала. Со мной что-то произошло... Если я их впущу, они принесут в дом страшное... Не впущу, все останется на своих местах... Они дверь к себе — хотят войти, а я к себе — не впускаю...

— Раненый? — у меня ещё эта надежда была, что раненый.

Военком вошёл первым:

— Людмила Иосифовна, с глубокой скорбью должны сообщить, что ваш муж...

Слез не было. Я кричала. Увидела его друга, бросилась к нему:

— Толик, если ты скажешь, я поверю. Что ты молчишь?

Он подводит ко мне прапорщика, сопровождавшего гроб:

— Скажи ей...

А того трясёт, он тоже молчит.

Подходят ко мне какие-то женщины, целуют.

— Успокойся. Давай телефоны родных.

Я села и тут же выпалила все адреса и телефоны, десятки адресов и телефонов, которые я не помнила. Проверили потом по записной книжке — все точно.

Квартира у нас маленькая, однокомнатная. Гроб поставили в клубе части. Я обнимала гроб и кричала:

— За что? Что ты кому плохого сделал?

Когда ко мне возвращалось сознание, я смотрела на этот ящик: «Привезут тебе мужа в цинке...» И опять кричала:

— Я не верю, что здесь мой муж. Докажите мне, что здесь он. Тут даже окошечка нет. Что вы привезли? Кого вы мне привезли?

Позвали друга.

— Толик, — говорю, — поклянись, что здесь мой муж.

— Я своей дочкой клянусь, что там твой муж... Он умер сразу, не мучился... Больше ничего тебе не скажу.

Сбылось его: «Если придётся умереть, то так, чтобы не мучиться». А мы остались мучиться... Висит на стене его большой портрет.

— Сними мне папу, — просит дочка. — Я буду с папой играть...

Окружит портрет игрушками, разговаривает с ним. Ночью укладываю её спать.

— А куда стреляли в папу? Почему они выбрали именно папу?

Приведу её в садик. Вечером надо забирать домой — рёв:

— Не уйду из садика, пока за мной не придёт папа. Где мой папа?

Я не знаю, что ей отвечать. Как объяснить? Мне самой только двадцать один год... Этим летом отвезла её к маме в деревню. Может, там его забудет... У меня нет сил плакать каждый день... Увижу, как идут вместе муж, жена и ребёнок с ними, — душа кричит... Встал бы ты хоть на одну минуту... Посмотрел, какая у тебя дочка!.. Для тебя эта непонятная война кончилась... Для меня — нет... А для нашей дочери она будет самая длинная... Ей жить после нас... Наши дети самые несчастные, они будут отвечать за все... Ты меня слышишь?..

Кому это я кричу?..»

*Жена*

«Когда-то я думала: рожу сына... Сама себе рожу мужчину, которого буду любить и который меня будет любить. С мужем мы разошлись... Он ушёл от меня, ушёл к молодой... Я его любила, наверное, поэтому другого не было...

Сына растили с мамой, две женщины, а он — мальчишка. Стану тихонько и слежу из подъезда: с кем он, что у него за компания?

— Мама, — вернётся домой, — я уже взрослый, а ты меня пасёшь.

Маленький был как девочка. Бельный, хрупкий, он у меня восьмимесячным родился, искусственник. Наше поколение не могло дать здоровых детей, росли мы в войну — бомбёжки, стрельба, голод... Играл он все время с девочками, девочки его принимали, он не дрался... Любил кошек, завязывал им банты.

— Купи, мамочка, хомячка, у него шкурка тёпленькая, как мокренькая.

Покупался хомячок. И аквариум. И рыбки. Пойдём на базар: «Купи

мне живую курочку... Рябушку...»

И вот я думаю: неужели он там стрелял? Мой домашний мальчик... Не для войны он был... Мы его очень любили, лелеяли...

Приехала к нему в Ашхабад в учебную роту:

— Андрюша, я хочу пойти поговорить с начальником. Ты у меня один... Здесь граница близко...

— Не смей, мама. Надо мной будут смеяться, что я маменькин сынок. И так говорят: «Тонкий, звонкий и прозрачный».

— Как тебе тут?

— Лейтенант у нас хороший, он с нами как с равными. А капитан и по лицу может ударить.

— Как!!! Мы тебя с бабушкой никогда не били, даже маленького.

— Здесь мужская жизнь, мама. Лучше вам с бабушкой ничего не рассказывать...

Только маленький он был мой. Отмоешь его в ванной, из луж как чертёнок вылазил, завернёшь в простынку, обнимешь. Казалось, никто никогда его у меня не заберёт. Никому не отдам. Потом его от меня отлучили...

Я сама после восьми классов уговорила его пойти в строительное училище. Думала, что с этой специальностью ему будет легче в армии. А отслужит — поступит в институт. Он хотел стать лесником. В лесу всегда радовался. Птиц узнавал по голосам, показывал, где какие цветы. Этим напоминал своего отца. Тот — сибиряк, любил природу так, что во дворе не давал косить траву. Пусть растёт все! Нравилась Андрюше форма лесника, фуражка: «Мама, она на военную похожа...»

И вот я думаю: неужели он там стрелял?

Из Ашхабада часто писал нам с бабушкой. Одно письмо наизусть выучила, держала его в руках тысячу раз:

«Здравствуйте, мои родные мама и бабушка. Вот уже больше трех месяцев служу в армии. Служба моя идёт хорошо. Со всеми порученными мне заданиями я пока справляюсь и замечаний со стороны командования не имею. Недавно наша рота ездила в учебно-полевой центр, это восемьдесят километров от Ашхабада, он расположен в горах. Там они занимались две недели горной подготовкой, тактикой и стрельбой из стрелкового оружия. Я и ещё три человека в лагерь не ездили, остались в расположении части. Нас оставили, потому что вот уже три недели мы работаем на мебельной фабрике, строим цех. А за это нашей роте фабрика сделает столы. Мы выполняем там кирпичную кладку, штукатурные работы, мне известные.

Мама, ты спрашиваешь о своём письме, я его получил. Получил также

посылку и десять рублей, которые вы вложили. За эти деньги мы несколько раз ели в буфете и покупали конфеты...»

Я себя утешала надеждой: раз он занимается штукатурными работами и кирпичной кладкой, значит, нужен как строитель. Ну и пусть строит им собственные дачи, личные гаражи, только бы не послали никуда дальше.

Был восемьдесят первый год... Ходили отголоски... Но что в Афганистане мясорубка?.. Бойня?!. Знало очень мало людей. По телевизору мы видели братание советских и афганских солдат, цветы на наших бронетранспортёрах, крестьян, целующих дарованную землю... Одно меня заставило испугаться... Когда ездила к нему в Ашхабад, встретила женщину... Сначала в гостинице заявили:

— Мест нет.

— Буду ночевать на полу. Я приехала издалека, к сыну-солдату... И никуда отсюда не уеду.

— Ну ладно, пустим вас в четырехместный номер. Там уже живёт одна мать, тоже сына навещает.

От этой женщины я впервые услышала, что готовится новый набор в Афганистан, и она привезла большие деньги, чтобы спасти сына. Уезжала она довольная, а со мной на прощание поделилась: «Не будь наивной идиоткой...» Когда я рассказала об этом моей маме, она заплакала:

— Почему ты не упала им в ноги?! Не просила? Сняла бы и отдала свои серёжки...

Это была самая дорогая вещь в нашем доме, мои копеечные серёжки. Они же не с бриллиантами! Маме, которая всю жизнь жила более чем скромно, они казались богатством. Господи! Что с нами творят? Не он, так кто-то другой был бы. У него тоже мать...

То, что он попал в десантно-штурмовой батальон и летит в Афганистан, для него самого было неожиданностью. Его распирала мальчишеская гордость. Он не скрывал.

Я — женщина, сугубо штатский человек. Может быть, чего-то не понимаю. Но пусть мне объяснят: почему мой сын занимался штукатурными работами и кирпичной кладкой в то время, когда ему надо было готовиться к боям? Они же знали, куда их посылают. В газетах печатались снимки моджахедов... Мужчины по тридцать, сорок лет... На своей земле... Рядом семьи, дети... И как, скажите, за неделю до вылета из общевойсковой части он оказался в десантно-штурмовом батальоне? Даже я знаю, что такое десантные войска, какие там сильные парни нужны. Их специально надо готовить. Потом мне командир учебной школы ответил, что, мол, ваш сын был отличник боевой и политической подготовки. Когда



он им стал? Где? На мебельной фабрике? Кому я отдала своего сына? Кому доверила? Они даже из него солдата не сделали...

Из Афганистана было только одно письмо: «Не волнуйся, тут красиво и спокойно. Много цветов, цветут деревья, поют птицы. Много рыбы». Райские кущи, а не война. Успокаивал нас, а то, не дай Бог, начнём хлопотать, чтобы его оттуда вырвать. Необстрелянные мальчики. Почти дети. Их бросали в огонь, а они это принимали за честь. Мы так их воспитали.

Он погиб в первый же месяц... Мой мальчик... Мой худышечка... Какой он там лежал? Никогда не узнаю.

Его привезли через десять дней. Все эти десять дней во сне я что-то теряла и не могла найти. Все эти дни завывал на кухне чайник. Поставишь кипятить чай, он поёт на разные голоса. Я люблю комнатные цветы, у меня их много на подоконниках, на шкафу, на книжных полках. Каждое утро, когда я их поливала, роняла горшки. Они выскальзывали из моих рук и разбивались. В доме стоял запах сырой земли...

...Остановились возле дома машины: два военных газика и «скорая помощь». Мгновенно догадалась — это к нам, в мой дом. Ещё сама дошла до двери, открыла:

— Не говорите! Не говорите мне ничего! Ненавижу вас! Отдайте мне только моего сына... Я буду его хоронить по-своему... Одна... Не надо никаких военных почестей...»

*Мать*

«Правду всю расскажет вам только отчаянный. Абсолютно отчаянный расскажет вам все. Кроме нас, многого никто не знает. Правда слишком страшная, правды не будет. Никто не захочет быть первым, никто не рискнёт. Кто расскажет, как перевозили наркотики в гробах? Шубы?.. Вместо убитых... Кто вам покажет ниточку засушенных человеческих ушей? Боевые трофеи... Хранили в спичечных коробочках... Они скручивались в маленькие листочки... Не может быть? Неловко слушать о славных советских парнях? Выходит, может. Выходит, было. И это тоже правда, от которой никуда не деться, не замазать дешёвой серебряной краской. А вы думали: поставим памятники, и все.

Я не ехал убивать, я был нормальный человек. Нам внушили, что воюют бандиты, а мы будем герои, нам всем скажут спасибо. Хорошо запомнил плакаты: «Воины, будем укреплять южные рубежи нашей Родины», «Не опозорим чести соединения», «Цвети, родина Ленина», «Слава КПСС». А вернулся оттуда... Там же все время было маленькое

зеркало... А тут большое... Глянул и не узнал себя... Нет, кто-то другой смотрел на меня... С новыми глазами, с новым лицом... Не могу определить, что поменялось, но даже внешне это другой человек.

Служил я в Чехословакии. Слух: ты едешь в Афганистан.

— Почему я?

— Ты — холостяк.

Собирался как в командировку. С чем ехать? Никто не знал. «Афганцев» у нас ещё не было. Кто-то посоветовал взять резиновые сапоги, за два года они ни разу мне негодились, в Кабуле оставил. Из Ташкента летели на ящиках с патронами. Приземлились в Шиндане. Царандой, их милиция, с автоматами нашими времён Великой Отечественной войны, наши и их солдаты, грязные, лямые, как из окопов вылезли. Резкий контраст тому, к чему привык в Чехословакии. Грузят раненых, у одного в животе осколок. «Этот не жилец, по дороге умрёт», — услышал от вертолётчиков, которые привезли их с застав. Ошеломило спокойствие, с каким говорили о смерти.

Это, может быть, самое непостижимое там — отношение к смерти. Вот опять, если всю правду... Это невозможно... То, что здесь немыслимо, там буднично. Убивать страшно и неприятно. Но очень скоро начинаешь думать, что в упор убивать страшно и неприятно, а вместе, в массе — азартно, иногда, я видел, даже весело. В мирное время оружие стоит в пирамиде, каждая пирамида — на отдельном замке, оружейная комната на звуковой сигнализации. А тут оружие постоянно при себе, к нему привыкаешь. Вечером с кровати стреляли из пистолета в лампочку: лень встать, выключить свет. Одуревши в жару, разряжали автомат в воздух, хоть куда-нибудь... Окружаем караван, караван сопротивляется, сечёт из пулемётов... Приказ: караван уничтожить... Переходим на уничтожение... Над землёй стоит дикий рёв верблюдов... За это, что ли, нам вручали ордена от благодарного афганского народа?!

Война — это война, надо убивать. Нам что — боевое оружие вручили в «Зарницу» играть с братьями по классу? Трактора, сеялки там, что ли, ремонтировать? Нас убивали, и мы убивали. Убивали где могли. Убивали где хотели. Но это не та война, которую мы знали по книгам, фильмам: линия фронта, нейтральная полоса, передовая... Киризная война... Киризы — подземные ходы, проделанные когда-то для орошения... Люди возникают из них днём и ночью как призраки... С китайским автоматом, с ножом, которым дома разделывал барана, а то и просто с камнем в руках. Не исключено, что недавно с этим призраком торговался в дукане, а тут он уже за гранью твоего сочувствия. Только что он убил твоего друга, вместо

друга лежит кусок мяса. Последние его слова: «Не пишите моей матери, заклиная вас, чтобы она ничего не узнала...» А ты, шурави, ты, советский, за гранью его духа, сочувствия. Твоя артиллерия разметала его кишлак, и он почти ничего не нашёл ни от матери, ни от жены, ни от детей. Современное оружие увеличивает наши преступления. Ножом я мог бы убить одного человека, двух... Бомбой — десятки... Но я — военный человек, моя профессия — убивать... Как там в сказке? Я — раб волшебной лампы Аладдина... Так я — раб Министерства обороны... Куда прикажут, туда я и буду стрелять... Мне скажут: стреляй! Я не буду думать... Я буду стрелять... Моя профессия — стрелять...

Но я не ехал туда убивать... Не хотел... Как это получилось? Почему афганский народ принял нас не за тех, кто мы были на самом деле? Бочата стоят в резиновых калошах на босу ногу на морозе, и наши ребята отдают им свои сухпаи. Я это видел своими глазами. Подбегает к машине оборванный мальчишка, он ничего не просит, как остальные, он только смотрит. У меня было в кармане двадцать афгани, я их ему отдал. Он как стал на колени в песок, так и не встал, пока мы не сели в бэтээр, не отъехали. А рядом другое... У мальчишек-водоносов наши патрули отбирали деньги... Что там за деньги? Копейки. Нет, я туда даже туристом не хочу. Никогда не поеду. Я же вам сказал: правда слишком страшная, правды не будет. Она никому не нужна. Ни вам, кто здесь был. Ни нам, кто там был. Вас было больше, вы молчали. А мы там были такими, какими вы нас здесь сделали. Дети наши вырастут и будут скрывать, что мы там были.

Встречал самозванцев: я, мол, из Афгана, да мы там, я там...

— Где служил?

— В Кабуле...

— Какая часть?

— Да я — спецназ...

На Колыме, в бараках, где держали сумасшедших, кричали: «Я — Сталин». А теперь нормальный парень заявляет: «Я — из Афгана». И не один. В сумасшедший дом забирал бы их...

Я вспоминаю один. Выпью. Посижу... Люблю песни афганские послушать. Но один. Это было... Эти странички... Хотя они и замаранные... Никуда от них не уйти... Собираются вместе молодые... Они обозлённые, потому что никому здесь не нужны. Им трудно себя найти, обрести наново какие-то моральные ценности. Один мне признался: «Если бы я знал, что мне ничего не будет, мог бы человека убить. Просто так. Ни за что. Мне не жалко». Был Афганистан, теперь его нет. Не будешь всю жизнь молиться и каяться... Я жениться хочу... Сына хочу... Чем

быстрее мы замолчим, тем лучше для всех. Кому эта правда нужна? Обывателю! Чтобы он плюнул нам в душу: «Ах, сволочи, там убивали, грабили, и здесь им льготы?» И мы одни останемся виноватые. Все, что пережили, будет зря.

Зачем-то же все-таки это было? Зачем?

В Москве на вокзале пошёл в туалет. Смотрю: туалет кооперативный. Сидит парень, рассчитывает. Над головой у него вывеска: «Для детей до семи лет, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов — вход бесплатный».

Я опешил:

— Это ты сам сообразил?

Он с гордостью:

— Да, сам. Предъяви документ и проходи.

— У меня отец всю войну прошёл, и я два года чужой песок глотал, чтобы у тебя помочиться бесплатно?

Такой ненависти, как к этому парню, у меня в Афгане ни к кому не было... Решил нам заплатить...»

*Старший лейтенант, начальник расчёта*

«Прилетела в Союз в отпуск. Пошла в баню. Люди стонут на полках от удовольствия, мне показались стоны раненых.

Дома скучала по друзьям в Афганистане. А в Кабуле уже через несколько дней мечтала о доме. Родом я из Симферополя. Окончила музыкальное училище. Счастливые сюда не едут. Здесь все женщины одинокие, ущемлённые. Попробуйте прожить на сто двадцать рублей в месяц — моя зарплата, когда и одеться хочется, и отдохнуть интересно во время отпуска. Говорят, за женихами, мол, приехали? Ну а если и за женихами? Зачем скрывать? Мне тридцать два года, я одна.

Тут узнала, что самая жуткая мина — «итальянка». Человека после неё в ведро собирают. Пришёл ко мне парень и рассказывает, рассказывает. Я думала, он никогда не остановится. Я испугалась. Он тогда: «Вы извините, я пошёл...» Незнакомый парень... Увидел женщину, хотел рассказать... У него на глазах друг в ничто, в пепел превратился... Я думала, что он не остановится. К кому он пошёл?..

У нас тут два женских общежития: одно прозвали «Кошкин дом» — там живут те, кто два — три года в Афганистане, другое — «Ромашка», там новенькие, ещё как бы чистенькие: любит — не любит, к сердцу прижмёт, к черту пошлёт. В субботу — солдатская баня, в воскресенье — женская. В офицерскую баню женщин не пускают... Женщины грязные... И эти же

офицеры обращаются к нам за одним... На стенках фотографии детей, жён... Они нам их показывают...

Начинается обстрел... Эрэс летит, этот свист... Внутри что-то обрывается... Болит... Ушли на задание два солдата и собака. Собака вернулась, а их нет... Тут все воюют. Кто ранен, кто болен. Кто в душу ранен. Целых нет. Начинается обстрел... Мы бежим в щели прятаться... А афганские дети пляшут на крышах от радости... Тут нельзя целым остаться... Везут нашего убитого... Они танцуют и поют... Дети... Мы им подарки в кишлаки привозим... Муку, матрацы, плюшевые игрушки... Мишки, зайчики... А они танцуют... Сменяются... Тут нельзя целым остаться...

Первый вопрос в Союзе: замуж вышла? Какие льготы вам дадут? Единственная наша льгота (для служащих): если убьют — тысяча рублей семье. Привезут в военторг товары: мужчины впереди: «Вы — кто?.. А нам жёнам надо подарки купить». Ночью проснутся к нам...

Тут выполняют «интернациональный долг» и делают деньги. Это нормально. Покупают в военторге конфеты, печенье, консервы и сдают в лавочку. Существует ценник: банка сухого молока — пятьдесят афошек, военная шапка-фуражка — четыреста афошек... Зеркало с машины — тысяча, колесо с КамАЗа — восемнадцать - двадцать тысяч, пистолет Макарова — тридцать тысяч, автомат Калашникова — сто тысяч, машина мусора из военного городка (в зависимости от того, какой мусор, есть ли там железные банки, сколько их) — от семисот до двух тысяч афошек... Из женщин лучше всех живут те, кто спит с прапорщиками. А на заставах ребята цингой болеют... Капусту гнилую едят.

Девчонки рассказывают, что в палате безногих говорят обо всем, только не о будущем. Здесь не любят говорить о будущем. Счастливым умирать, наверное, страшно... А мне маму жалко...

Кошка между убитыми крадётся... Ищет поесть... Боится... Как будто ребята лежат живые...

Остановите меня сами. Я буду рассказывать и рассказывать. А я никого не убила...»

*Служащая*

«Иногда задумаюсь, что было бы, если бы не попал на эту войну? Я был бы счастливый. Я никогда бы не разочаровался в себе и ничего бы о себе не узнал из того, что лучше о себе не знать. Как сказал Заратустра: не только ты заглядываешь в пропасть, но и она смотрит тебе в душу...

Учился на втором курсе радиотехнического института, но тянуло к

музыке, к книгам об искусстве. Это был более близкий мне мир. Начал метаться, и вот в эту паузу — повестка в военкомат. А я человек безвольный, пытаюсь не вмешиваться в свою судьбу. Если вмешиваться, то все равно проиграешь, а так — что бы ни случилось, ты не виноват... Конечно, к армии готов не был. Первое, что там понял: ты — раб, но не один. А до того времени был, как мне казалось, личностью.

В упор не говорили, но было ясно: идём в Афганистан. Я в свою судьбу не вмешивался... Выстроили на плацу, зачитали приказ, что мы воины-интернационалисты... Все воспринималось очень спокойно, не скажешь: «Я боюсь! Я не хочу!» Едем выполнять интернациональный долг, все разложено по полочкам. А на пересылке в Гардезе началось... Старослужащие отбирали все ценное: сапоги, тельняшки, береты. Все стоило денег: берет — десять чеков, набор значков — их у десантника должно быть пять: гвардейский, отличника Военно-воздушных Сил, значок парашютиста, значок за классность и, как мы его звали, «бегунок», значок воина-спортсмена — этот набор оценивался в двадцать пять чеков. Отнимали рубашки парадные, их меняли у афганцев на наркотики. Подойдёт несколько «дедов»: «Где твой вещмешок»? Пороются, что понравится — заберут, и все. В роте сняли со всех обмундирование, в обмен дали старое. Зовут в каптёрку: «Тебе зачем здесь новое? А ребята в Союз возвращаются». Домой писал: какое хорошее небо в Монголии — кормят хорошо, солнце светит. А это уже была война... Выехали в первый раз в кишлак... Командир батальона учил, как вести себя с местным населением:

— Все афганцы, независимо от возраста, бача. Поняли? Остальное покажу.

Встретили на дороге старика. Команда:

— Остановить машину. Всем смотреть!

Комбат подошёл к старику, сбросил чалму, порылся в бороде:

— Ну, иди-иди, бача.

Это было неожиданно.

В кишлаке бросали детям перловую кашу в брикетах. Они убегали, думали, что кидаем гранаты.

Первый боевой выезд — сопровождение колонны. Внутри возбуждение, интерес: война рядом! В руках, на поясе — оружие, гранаты, которые раньше только на плакатах видел. На подходе к зеленой зоне... Я, как оператор-наводчик, очень внимательно смотрел в прицел... Появляется какая-то чалма...

— Серёга, — кричу тому, кто сидит у пушки, — вижу чалму! Что

делать?

— Стрелять.

— Так просто стрелять?

— А ты думал. — даёт выстрел.

— Ещё вижу чалму... Белая чалма... Что делать?

— Стрелять!!!

Выпустили половину боекомплекта машины. Стреляли из пушки, из пулемёта.

— Где ты видел белую чалму? Это сугроб.

— Серёга, а твой «сугроб» бежит... Твой снеговик с автоматом...

Соскочили с машины, палили из автоматов.

Убить человека или не убить — так вопрос не стоял. Все время хотелось есть и спать, все время одно желание — скорее бы это кончилось. Кончить стрелять, идти... А ехать на раскалённой броне... Дышать едким поджаренным песком... Пули свистят над головой, а мы спим... Убить или не убить — это послевоенные вопросы. Психология самой войны проще. Афганцы для нас не были людьми, и мы для них тоже. Видеть друг в друге людей нам было нельзя. Не смогли бы убивать. Блокируем душманский кишлак... Стоим сутки, двое... Звереешь от жары, от усталости... И мы становились более жестокими, чем «зеленые»... Те все-таки свои, они в этих кишлаках росли... А мы — не задумываясь... Чужая жизнь, на нашу непохожая, непонятная... Нам проще было выстрелить, бросить гранату...

Один раз возвращаемся, семь ребят ранены, двое контужены. Кишлаки вдоль дороги вымерли, кто в горы ушёл, кто в своём дувале сидит. Вдруг выскакивает старая афганка, плачет, кричит, с кулаками бросается на броню... У неё убили сына... Она нас проклинает... У всех она вызвала одно чувство: чего это она кричит, кулаками машет, грозит — надо её убить. Мы её не убили, а могли убить. Столкнули с дороги и поехали дальше. Везём семь мёртвых... Чего она кричит? Чего хочет?

Мы ничего не знали, мы были солдатами, которые воевали. Наша солдатская жизнь от афганцев отделена, им запрещалось появляться на территории части. Нам было известно, что они нас убивают. А все очень хотели жить. Я допускал, что меня могут ранить, даже желал быть легко раненным, чтобы полежать, отоспаться. Но умирать никто не хотел. Когда двое наших солдат зашли в дуكان, перестреляли семью дуканщика, забрали все, начался разбор. Сначала отказывались: это, мол, не мы. Нам притащили наши пули, которые извлекли из убитых. Стали искать: кто? Нашли троих — офицера, прапорщика и солдата. Но помню, когда в роте шёл обыск, похищенные деньги искали, было чувство унижения: как это

из-за них, из-за каких-то убитых афганцев, обыскивают? Кто они такие? Состоялся трибунал. Двоих приговорили к расстрелу — прапорщика и солдата. Все их жалели. Из-за глупости погибли. Называли это глупостью, а не преступлением. Убитой семьи дукащика как бы не существовало... Мы исполняли интернациональный долг, все разложено по полочкам... Только сейчас задумался, когда рассыпался стереотип... А ведь я никогда не мог без слез читать «Муму» Тургенева! На войне с человеком что-то происходит, там человек тот и уже не тот. Разве нас учили: «Не убий!» В школу, в институт приходили участники войны и рассказывали, как они убивали. У всех были приколоты к торжественным костюмам орденские планки. Я ни разу не слышал, что на войне убивать нельзя. Я знал, что судят только тех, кто убивает в мирное время. Они — убийцы, а в войну это именуется по-другому: «сыновний долг перед Родиной», «святое мужское дело», «защита Отечества». Нам объяснили, что мы повторяем подвиг солдат Великой Отечественной. Как я мог усомниться? Нам всегда повторяли, что мы самые лучшие; если мы самые лучшие, то зачем мне самому думать — все у нас правильно. Потом я много размышлял. Друзья говорили: «Ты или сошёл с ума, или хочешь сойти с ума». А я (меня воспитывала мама, человек сильный, властный) никогда не хотел вмешиваться в свою судьбу...

В «учебке» разведчики из спецназа рассказывали, как ворвались в кишлак, перерезали всех. Какие-то романтические истории. Тоже хотелось быть сильным, как они. Ничего не бояться. Наверное, я живу с комплексом неполноценности: люблю музыку, книги, а тоже хотел бы ворваться в кишлак, перерезать всем горло и легко, с бравადой хвастаться после. Но я помню другое... Как испытал панический страх... Ехали... Начался обстрел... Машины остановились... Команда: «Занять оборону!» Стали прыгивать... Я встал... А на моё место подвинулся другой... Граната прямо в него... Чувствую, что лечу с машины плашмя... Медленно опускаюсь, как в мультике... А куски чужого тела быстрее меня падают... Я лечу почему-то медленнее... Сознание все это фиксирует, вот что страшно... Так, наверное, можно и свою смерть запомнить, проследить... Забавно... Упал... Как каракатица сползаю в арык... Лёг и поднял вверх раненую руку... Потом выяснилось, что был ранен легко... Но я держал руку и не двигался...

Нет, сильного человека из меня не получилось... Такого, чтобы ворваться в кишлак, перерезать всем горло... Через год я попал в госпиталь... Из-за дистрофии... Во взводе я оказался один «молодой», десять «дедов» и я один «молодой»... Спал три часа в сутки... За всех мыл



посуду, заготавливал дрова, убирал территорию... Носил воду... Метров двадцать до речки... Иду утром, чувствую: не надо идти, там мины... Но так боялся, что меня снова изобьют... Проснутся: воды нет, умыться нечем... И я пошёл и подорвался... Но подорвался, слава Богу, на сигнальной мине... Ракета поднялась, осветила... Упал, посидел... Пополз дальше... Хотя бы ведро воды. Даже зубы почистить нечем... Разбираться не станут, будут бить...

Типичные лагерные дела. За год из нормального парня я превратился в дистрофика, не мог без медсестры пройти через палату, обливался потом. Вернулся в часть, снова начали бить. Так били, что повредили ногу, пришлось делать операцию. В госпитале наведася ко мне комбат, пытался:

— Кто бил?

Били ночью, но я все равно знал, кто бил. А признаться нельзя, стану стукачом. Это был лагерный закон, который нельзя нарушить.

— Чего молчишь? Скажи кто, под трибунал эту сволочь отправлю...

Я молчал. Власть извне была бессильна перед властью внутри солдатской жизни, именно эти внутренние законы решали мою судьбу. Те, кто пытался им противостоять, всегда терпели поражение. Я это видел... Я в свою судьбу не вмешивался... В конце службы сам пытался кого-то бить... У меня не получалось... «Дедовщина» не зависит от человека, её диктует чувство стада. Сначала тебя бьют, потом ты должен бить. От «демпелей» я скрывал, что не могу бить. Меня бы презирали — и те, кого бьют, и те, кто бьёт. Приехал домой, пришёл в военкомат, а к ним цинковый гроб привезли... Это был наш старший лейтенант... В похоронке написано: «Погиб при исполнении интернационального долга». А я в ту минуту вспомнил, как он напьётся, идёт по коридору и разбивает дневальным челюсти... Раз в неделю так развлекался... Не спрячешься — зубами плевать будешь... Человека в человеке немного — вот что я понял на войне. Нечего есть — он жестокий. Ему самому плохо — он жестокий. Так сколько же в нем человека? Один только раз сходил на кладбище... На плитах: «Геройски погиб», «Проявил мужество и отвагу», «Исполнил воинский долг». Были, конечно, герои, если слово «герой» брать в узком смысле, например, в условиях боя: прикрыл собой друга, вынес раненого командира в безопасное место... Но я знаю, что один у нас наркотиками отравился, другого застрелил часовой, когда он лез в пищевой склад... Мы все лазили в склад... Мечта — сгущёнка с печеньем. Но вы же об этом не напишете, обязательно вычеркнете. Никто не скажет, что там, под землёй, лежит, какая правда. Живым — ордена; мёртвым — легенды, — всем

хорошо.

Война эта была как здешняя жизнь — совсем не такая, как в книжках читал. Слава Богу, у меня другой мир, он закрыл тот. Мир книг, музыки. Он меня спас. Не там, а здесь стал разбираться, где я был, что со мной было. Но думаю об этом один, не хожу в «афганские» клубы. Не представляю, чтобы я пошёл в школу и рассказывал о войне, о том, как из меня, ещё несформированного человека, лепили даже не убийцу, а что-то такое, что хотело только есть и спать. Я ненавижу «афганцев». Их клубы очень похожи на армию. Те же армейские штучки: нам металлисты не нравятся — пойдём, ребята, им морду набьём. Это тот кусок моей жизни, от которого хочу отделиться, а не слиться с ним. У нас жестокое общество, раньше я этого не замечал.

Однажды в госпитале мы наворовали феназипама... Его применяют при лечении душевнобольных... По одной - две таблетки... Кто съел десять, кто — двадцать... В три часа ночи одни пошли на кухню посуду мыть... А она была чистая... Другие сидели и мрачно играли в карты... Третий нужду справлял на подушке... Полный абсурд... Медсестра в ужасе убежала... Вызвала караул...

Так эта вся война осталась у меня в памяти... Полный абсурд...»

*Рядовой, наводчик-оператор*

«Родила двойню, два мальчика, и Коля один у меня от этой двойни остался. До восемнадцати лет, до совершеннолетия, пока не пришла повестка в армию, стоял на учёте в Институте охраны материнства. Разве таких солдат надо было в Афганистан посылать? Правильно меня соседка укоряла: «Не могла собрать пару тысяч и дать взятку?» Кто-то дал и спас сына. А моего вместо него отправили. А я не понимала, что деньгами надо спасать сына, я его душой спасала.

Приехала к нему на присягу. Вижу: не готов он для войны, растерян. Мы с ним всегда были откровенны:

— Ты не готов, Коля. Буду просить за тебя.

— Мама, не хлопочи и не унижайся. Ты думаешь, это кого-то тронет, что я не готов? Кто здесь на эти вещи обращает внимание?

Все-таки добилась приёма у командира батальона. Стала просить:

— Сын у меня единственный... Если что-то случится, я не смогу жить... А он не готов... Вижу — не готов...

Он с участием отнёсся:

— Обратитесь в свой военкомат. Если мне пришлют официальную бумагу, я его в Союзе распределю.

Самолёт прилетел ночью, а в девять утра я уже прибежала в военкомат. Военкомом у нас товарищ Горячев. Он сидит разговаривает по телефону. Я стою...

— Что у вас?

Рассказываю. Тут звонок. Он берет трубку, а мне:

— Никаких бумаг писать не буду.

Умоляю, на колени становлюсь. Готова руки ему целовать:

— Он же у меня единственный.

Даже из-за стола не поднялся.

Ухожу и все равно прошу:

— Запишите мою фамилию.

У меня все равно надежда: может, он подумает, может, он посмотрит дело сына, не каменный же.

Прошло четыре месяца. У них там ускоренные трехмесячные курсы, а сын пишет уже из Афганистана. Каких-то четыре месяца... Всего одно лето...

Утром иду на работу. Я спускаюсь по лестнице вниз, а они мне навстречу. Трое военных и женщина. Военные идут впереди, и фуражку каждый на левой руке несёт. Откуда-то я знала, что это траур, когда офицерские фуражки на руках лежат. Я тогда не вниз, а наверх побежала. И они, видимо, поняли, что это — мать. Они тоже наверх... А я тогда — в лифт и вниз... Мне надо выскочить на улицу, удрать... Спасти... Ничего не услышать... Пока я доехала до первого этажа — лифт останавливался, заходили люди, — они уже там стоят и меня ждут. Нажимаю кнопку и вверх... На свой этаж... Вбегаю в квартиру, но от ужаса забываю захлопнуть дверь... Слышу, как они входят... Прячусь в спальне... Они — за мной... Фуражки на руках лежат...

И один из них — военком Горячев... Пока у меня были силы, я, как кошка, на него бросалась и кричала:

— Вы весь в крови моего сына! Вы весь в крови моего сына!!!

Он, правда, молчал. Я его даже ударить хотела. Он молчал. А потом уже ничего не помню...

К людям меня потянуло через год. А до этого одна и одна, как прокажённая. Я была не права: люди не виноваты. Но мне тогда казалось, что все они виноваты в смерти моего сына. И знакомая продавщица в булочной, и незнакомый таксист, и военком Горячев — все виноваты. Тянуло меня не к этим людям, а к таким, как я. Мы на кладбище знакомились, возле могил. К вечеру, после работы, одна мать с автобуса спешит, другая уже сидит возле своего камня, плачет, третья ограду красит.

Разговоры у нас об одном... О детях... Только о них говорим, будто они живые. Я эти наши разговоры все наизусть помню:

— Вышла на балкон: стоят два офицера и врач. Зашли в подъезд. Смотрю в глазок: куда двинутся? Остановились на нашей площадке. Поворачивают вправо... К соседям? У них тоже сын в армии... Звонок... Открываю дверь: «Что, сын погиб?» — «Мужайся, мать...»

— А мне сразу: «Гроб, мать, у подъезда стоит. Где вам его поставить?» Мы на работу с мужем собирались... Яичница на плите жарилась... Чайник кипел...

— Забрали, постригли... И через пять месяцев гроб привезли...

— И моего через пять...

— Моего через девять...

— Спрашиваю у того, кто сопровождал гроб: «Есть там что-нибудь?»

— «Я видел, как его в гроб положили. Он там». Смотрю на него, смотрю, он голову вниз опускает: «Что-то там есть...»

— А запах был? У нас был...

— И у нас был. Даже черви беленькие на пол падали...

— А у меня никакого запаха. Только свежее дерево. Сырые доски...

— Если вертолёт сгорел, то их по частям собирают. Руку найдут, ногу... По часам узнают... По носкам...

— А у нас во дворе гроб час простоял. Сын два метра ростом, десантник. Привезли саркофаг — деревянный гроб и второй, цинковый... С ним в наших подъездах не развернёшься... Семь мужчин еле подняли...

— Моего восемнадцать дней везли... Их насобирают целый самолёт... «Чёрный тюльпан»... Сначала на Урал доставляли... Потом в Ленинград... А после в Минск...

— Ни единой вещички не вернули. Ну пусть бы какая-нибудь память... Он курил, хотя бы зажигалка осталась...

— Хорошо, что не открывают гроб... Что мы не видим, что сделали с нашими сыновьями... Он у меня всегда живой перед глазами... Целенький...

Сколько мы проживём? С такой болью в душе долго не живут. И с такими обидами. В райисполкоме пообещали:

— Дадим вам новую квартиру. Выберите любой дом в нашем районе.

Нашла: в центре города, кирпич, а не панели, планировка новая. Называю адрес.

— Вы что, с ума сошли? То цековский дом.

— Так кровь моего сына такая дешёвая?

Секретарь парткома в нашем институте — хороший человек, честный.

Не знаю, как он попал в ЦК, он пошёл за меня просить, мне он только сказал:

— Ты бы слышала, что они мне говорили! Мол, она горем убита, а ты что? Чуть из партии не выгнали.

Надо было самой пойти. Что бы они мне ответили?

Буду сегодня на могилке... Там сынок... Там люди все свои...»

*Мать*

«Что-то с памятью... Даже думаю уйти со второго курса института... От меня куда-то убегают, исчезают человеческие лица, слова... Собственные ощущения... Остаются отрывки, осколки... Как будто со мной не было того, что было...

Из военной присяги помню:

«...Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик, и, как воин Вооружённых Сил СССР, я клянусь защищать её мужественно и умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами...»

Из первых дней в Афгане...

Мне показался он раем. Увидел, как растут апельсины. Что мины подвешивают на деревья, как апельсины (зацепится антенна за ветку — взрыв), я узнал позже. Поднимается ветер-«афганец», на расстоянии вытянутой руки мгла, темнота, ты слепой. Принесут кашу, в котелке половина песка из-за этого «афганца». Через несколько часов — солнышко, горы. Никакой войны. Пулемётная очередь или выстрел из гранатомёта, щелчок снайпера. Двоих нет. Постояли, постреляли. Двинулись дальше. Солнышко, горы. Никакой войны. Двоих нет. И блеск исчезнувшей в песках змеи. Рыбий блеск...

Даже если рядом свистят пули, что такое смерть — ты ещё не представляешь. Лежит в песке человек, а ты его зовёшь... Ты ещё не понял... Внутренний голос подсказывает: «Вот она, смерть... Вот она какая...» Меня ранили в ногу, не так сильно, тогда мне так казалось. Подумал: «Я, кажется, ранен». С удивлением подумал, спокойно. Нога болит, но ещё не верится, что это уже и со мной произошло. Ещё новенький, ещё хочется пострелять. Хотел героем вернуться. Взяли нож, разрезали голенище сапога — мне вену перебило. Наложили жгут. Больно, но показать, что больно, — я бы себя не уважал как мужчину, поэтому терпел. Когда бежишь от танка до танка — это открытая местность, метров сто. Там обстрел, там камни крошатся, но я не могу сказать, что я не побегу

или не поползу. Я бы себя не уважал как мужчину. Перекрестился — и побежал... А тут в сапоге кровь, везде кровь. Бой ещё продолжался больше часа. Выехали мы в четыре утра, а бой кончился в четыре часа дня, и мы ничего за это время не ели. У меня руки были в собственной крови, меня это не смущало, ел белый хлеб этими руками. Потом мне передали, что друг мой скончался в госпитале, ему пуля попала в голову. Я был начитан, я представлял, что раз он погиб, то через несколько дней на вечерней поверке будет так — кто-то, может быть, за него ответит: «Дашко Игорь погиб при исполнении интернационального долга». Он тихий был, Героем Советского Союза не был. Но все равно его не должны были сразу забыть, вычеркнуть из списков...

О ком я вам сейчас говорил? Об Игоре Дашко... Я смотрел на него, лежащего в гробу... Жалость уже ушла... Я долго смотрел, вглядывался, чтобы потом вспомнить...

Из тех дней, когда домой вернулся...

Приехали в Ташкент, пришли на вокзал — билетов нет. Вечером договорились с проводниками: дали им по пятьдесят рублей, сели в поезд и поехали. Нас было четыре человека в вагоне и два проводника, каждый получил по сто рублей. Бизнес ребята делают. А нам было наплевать. Мы смеялись беспричинно, а внутри: «Живые! Живые!»

Дома открыл дверь, взял ведро и пошёл за водой через двор. Счастливый!

Военную награду — медаль — вручили в институте. Потом статья в газете появилась: «Награда нашла героя». Мне смешно, будто меня искали красные следопыты, будто сорок лет после войны прошло. И не говорил я, что мы поехали туда во имя того, чтобы на афганской земле загорелась заря Апрельской революции. А написали.

...До армии любил охоту. Была мечта: отслужу, уеду в Сибирь и буду там охотником. А теперь что-то во мне переменилось. Пошли с другом на охоту, он застрелил гуся, а потом мы увидели подранка. Я бежал за ним... Он стрелял... А я бежал, чтобы словить живого... Я не хотел убивать... Я уже не хочу убивать...

Что-то с памятью... Остаются отрывки, осколки... Как будто со мной не было того, что было...

*Рядовой, танкист*

«Выглядел я внешне так, что никому в голову не приходило, что у меня внутри. Только отец и мать не разрешали бесконечно думать о том, от чего не мог освободиться.

...Уехал я в Афганистан со своей собакой Чарой. Крикнешь: «Умри!» — и она падает. «Закрой глаза», — и она лапами закрывает морду и глаза. Если мне не по себе, сильно расстроен, она садилась рядом и плакала... Первые дни я немел от восторга, что я там. С детства тяжело болел, в армию меня не брали. Но как это парень не служил в армии? Стыдно. Будут смеяться. Армия — школа жизни, она делает мужчин. Попал в армию. Начал писать рапорты, чтобы послали в Афганистан.

— Ты там сдохнешь за два дня, — уговаривали меня.

— Нет, я должен быть там, — я хотел доказать, что я такой же, как и все.

От родителей скрыл, где служу. С двенадцати лет у меня рак лимфоузлов, они всю жизнь меня спасали. Сообщил им только номер полевой почты, мол, секретная часть, город назвать нельзя.

Привёз с собой собаку и гитару. В особом отделе спросили:

— Как ты сюда попал?

— А вот так... — рассказываю, сколько рапортов подал.

— Не может быть, чтобы сам. Ты что, сумасшедший?

Никогда не курил. Захотелось закурить.

Увидел первых убитых: ноги отрезаны по самый пах, дыра в голове. Отошёл и упал. Все во мне вопило: «Хочу быть живым».

Ночью кто-то стащил автомат убитого. Нашли. Наш солдат. Продал в дуكان за восемьдесят тысяч афгани. Покупки показал: два магнитофона, джинсовые тряпки. Мы сами его убили бы, растерзали, но он был под стражей. На суде сидел, молчал. Плакал. В газетах писали о «подвигах». Мы смеялись, возмущались, ходили с этими газетами в туалет. Но загадка: вернулся домой, прошло два года, я читаю газету, ищу о «подвигах» — и верю.

Там казалось: вернусь домой — это будет радость. Все переделаю в своей жизни, переменю. Многие возвращаются, разводятся, наново женятся, уезжают куда-нибудь. Кто в Сибирь строить нефтепроводы, кто в Чернобыль, кто в пожарники. Туда, где риск. Уже нельзя удовлетвориться существованием вместо жизни. Я там видел обожжённых ребят... Сначала они жёлтые, одни глаза блестят, а кожа слезает — они розовые... А подъем в горы? Это так: автомат — само собой, удвоенный боекомплект — килограммов десять патронов, гранат столько-то килограммов, плюс ещё каждому человеку по мине — это ещё килограммов десять, бронежилет, сухпак, — в общем, со всех сторон навешано на тебе килограммов сорок, если не больше. У меня на глазах человек становился мокрым от пота, будто его ливень исхлестал. Я видел оранжевую ледовую корку на

застывшем лице убитого. Да, почему-то оранжевую. Видел дружбу, трусость... А то, что мы сделали, это было нужно. Вы, пожалуйста, никогда не трогайте этого. Много сейчас умников. Почему же никто не положил партбилет, никто пулю в лоб себе не пустил, когда мы были там? Нет, это не зря жертва.

Приехал, мать, как маленького, раздела, всего ощупала: «Целенький, родненький». Сверху целенький, а внутри горит. Все мне плохо: яркое солнце — плохо, весёлая песня — плохо, чей-то смех — плохо. В моей комнате те же книги, фото, магнитофон, гитара. А я другой... Через парк пройти не могу — оглядываюсь. В кафе официант станет за спиной: «Заказывайте». А я готов вскочить и убежать, не могу, чтобы у меня кто-то за спиной стоял. Увидишь подонка, одна мысль: «Расстрелять его надо». На войне приходилось делать прямо противоположное тому, чему нас учили в мирной жизни. А в мирной жизни надо было забыть все навыки, приобретённые на войне. Я стреляю отлично, прицельно метая гранаты. Кому это здесь надо?

Там мне казалось, что есть что защищать. Мы защищали нашу Родину, нашу жизнь. А тут друг не может одолжить трояк — жена не разрешает. Разве это друг? Я понял, что мы не нужны. Не нужно то, что мы пережили. Это лишнее, неудобное. И мы лишние, неудобные. Работал я слесарем по ремонту автомобилей, инструктором в райкоме комсомола.

Ушёл. Везде болото. Люди заняты заработками, дачами, машинами, копчёной колбасой. До нас никому нет дела. Если бы мы сами не защищали свои права, то это была бы неизвестная война. Если бы нас не было так много, сотни тысяч, нас замолчали бы, как замолчали в своё время Вьетнам, Египет... Там мы все вместе ненавидели «духов». Кого же мне сейчас ненавидеть, чтобы у меня были друзья?

Ходил в военкомат, просился назад, в Афганистан. Не взяли, сказали: «Война скоро кончится». Вернутся такие же, как я. Нас будет ещё больше.

Утром просыпаешься и рад, что не помнишь снов. Я никому свои сны не рассказываю. Но остаётся, существует даже то, что не смог рассказать, не захотел...

Как будто я сплю и вижу большое море людей. Все возле нашего дома. Я оглядываюсь, мне тесно, но почему-то я не могу встать. Тут до меня доходит, что я лежу в гробу, гроб деревянный. Помню это хорошо. Но я живой, помню, что я живой, но я лежу в гробу. Открываются ворота, все выходят на дорогу и меня выносят на дорогу. Толпы народа, у всех на лицах горе и ещё какой-то восторг тайный, мне непонятный. Что случилось? Почему я в гробу? Вдруг процессия остановилась, я услышал,



как кто-то сказал: «Дайте молоток». Тут меня пробила мысль — я вижу сон. Опять кто-то повторяет: «Дайте молоток». Оно как наяву и как во сне. И третий раз кто-то сказал: «Подайте молоток». Я услышал, как хлопнула крышка, застучал молоток, один гвоздь попал мне в палец. Я начал бить головой в крышку, ногами. Раз — и крышка сорвалась, упала. Люди смотрят — я поднимаюсь, поднялся до пояса. Мне хочется закричать: больно, зачем вы меня заколачиваете гвоздями, мне там нечем дышать. Они плачут, но мне ничего не говорят. Все как немые. И я не знаю, как мне заговорить с ними так, чтобы они услышали. Мне кажется, что я кричу, а губы мои сжаты, не могу их раскрыть. Тогда я лёг назад в гроб. Лежу и думаю: они хотят, чтобы я умер, может, я действительно умер и надо молчать. Кто-то опять говорит: «Дайте мне молоток»...»

*Рядовой, связист*

### *День третий*

## **«НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВЫЗЫВАЮЩИМ МЁРТВЫХ. И К ВОЛШЕБНИКАМ НЕ ХОДИТЕ...»**

*Автор.*

«Вначале сотворил Бог небо и землю...

И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды...

И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.

И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так...

И произвела земля зелень: траву, сеющую семя по роду её, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его...

И был вечер, и было утро: день третий».

Что ищу в Священном писании? Вопросы или ответы? Какие вопросы и какие ответы? Сколько в человеке человека? Одни верят — много, другие утверждают — мало. Так сколько?

Он мог бы мне помочь, мой главный герой. С утра прислушиваюсь к телефонной трубке, но она молчит. И только к вечеру...

*Главный герой.* Все глупо было? Да? Так выходит? Понимаешь, что это для меня? Для нас? Я ехал туда нормальным советским парнем. Родина нас не предаст, Родина нас не обманет... Нельзя безумному запретить безумие его... Одни говорят — мы вышли из чистилища, другие — из помойной ямы... Чума на оба ваших дома! Я жить хочу! Я любить хочу! У меня скоро родится сын... Я назову его Алёшкой. Имя друга... До смерти не забуду, как я его нёс... Отдельно голова. Отдельно руки, ноги... Сдёрнутая кожа... Родится девочка, все равно будет Алёшка...

Все глупо? Да? Но мы же не трусили. Не обманули вас? Больше не позвоню... Человек с глазами на затылке идти не может. Я все забыл... забыл... забыл... Нельзя безумному запретить безумие его... Нет, я не застрелюсь... У меня будет сын... Алёшка... Я жить хочу! Все! Прощай!

*Автор.* Он положил трубку. Но я ещё долго с ним разговариваю. Слушаю...

\* \* \*

«Многие говорят теперь, что все было зря. Хотят и нам внушить. Над могилами повесьте таблички, выбейте на камнях, что все было зря!

Мы ещё там гибли, а нас уже здесь судили. Раненых привозили в Союз и разгружали на задворках аэропорта, чтобы народ не заметил. Скажете, что это было вчера? А это «вчера» было совсем недавно; в восемьдесят шестом я приехал в отпуск, и у меня спрашивали: вы там загораете, ловите рыбу, зарабатываете бешеные деньги? Откуда люди могли знать правду? Газеты молчали.

...Там даже воздух другой, мне этот воздух снится... Мы — оккупанты, пишут нынче в газетах. Если мы были оккупантами, почему мы их кормили, раздавали лекарства? Входим в кишлак — они радуются... Уходим — они тоже радуются... Я так и не понял: почему они всегда радовались?..

Едет автобус... Останавливаем: проверка! Сухой пистолетный выстрел... Мой боец падает лицом в песок... Переворачиваем его на спину: пуля в сердце попала... Я готов был их всех гранатомётом сечь. Обыскали: пистолета не нашли и никакого другого оружия... Одни женщины в автобусе... А мой боец падает лицом в песок...

Над могилами повесьте таблички, выбейте на камнях, что все было

зря!

Шли как обычно... За несколько минут я вдруг потерял дар речи... Хотел крикнуть: «Стой!» — а не мог. Я продолжал идти... Вспышка!.. На какое-то время произошла потеря сознания, а затем — вижу себя на дне воронки... Пополз... Боли не было... Не хватало только сил ползти, меня все обгоняли... Метров четыреста ползли, а потом кто-то первый сказал: «Сядем. Уже в безопасности». Я хотел сесть, как все, и... тут только увидел, что у меня нет ног... Рванул к себе автомат, застрелюсь! У меня выхватили автомат... Кто-то сказал: «Майор без ног... Мне жалко майора...» Как я услышал слово «жалко», у меня боль пошла по всему телу... Я услышал такую страшную боль, что стал выть...

У меня до сих пор привычка ходить только по дороге, по асфальту. По тропинке в лесу не пойду. По траве все ещё боюсь ходить. Мягкая весенняя трава возле нашего дома, а мне все равно страшно.

В госпитале те, у кого нет обеих ног, просились в одну палату... Нас собралось четыре человека... Возле каждой койки две деревянные ноги, всего восемь деревянных ног... На двадцать третье февраля, в День Советской Армии, учительница привела к нам девочек-школьниц с цветами... Поздравить... Они стоят и плачут... Два дня никто в палате не ел... Молчали...

К одному родственничек было заявился, тортом нас угощал:

— Все было зря, ребята! Зря! Но ничего: пенсию дадут, целыми днями телевизор будете смотреть.

— Пошёл ты! — четыре костыля в него полетели.

Одного потом в туалете с петли сняли... Обкрутил шею простыней, хотел на оконной ручке повеситься... Получил письмо от девочки: «Знаешь, «афганцы» уже не в моде...» А у него двух ног нет...

Над могилами повесьте таблички, выбейте на камнях, что все было зря!»

*Майор, командир горнострелковой роты*

«Возвращалась с чувством, что долго хочу сидеть у зеркала и расчёсывать волосы. Хочу ребёнка родить, пелёнки стирать, слышать детский плач. А врачи не разрешили: «Сердце ваше не выдержит этой нагрузки». Девочку свою я рожала тяжело. Делали кесарево сечение, потому что начался сердечный приступ. «Но никто не поймёт, — пришло письмо от подруги, — что болезни наши мы получили в Афганистане. Скажут, это же не ранение...»

И никто, наверное, не поверит, что в восемьдесят втором году меня,

студентку-заочницу университета (училась на третьем курсе филологического факультета), вызвали в военкомат:

— Нужны медсёстры в Афганистане. Как вы к этому относитесь? Будете получать там полтора оклада. Плюс чеки.

— Но я учусь. — после окончания медицинского училища я работала медсестрой, но мечтала о другом — стать учительницей. Одни сразу находят своё призвание, а я первый раз ошиблась.

— Вы — комсомолка?

— Да.

— Подумайте.

— Я хочу учиться.

— Советуем подумать. А нет — позвоним в университет, скажем, какая вы комсомолка. Родина требует...

...В самолёте Ташкент — Кабул моей соседкой оказалась девушка, возвращавшаяся из отпуска:

— А уютг ты с собой взяла? Нет? А электрическую плитку?

— Я на войну еду...

— А, понятно, ещё одна романтическая дура. Книжек военных начиталась...

— Не люблю я военные книжки...

— Зачем тогда едешь?

Это проклятое «зачем» будет меня там преследовать все два года.

И правда — зачем?

То, что называлось пересылкой, представляло собой длинный ряд палаток. В палатке «Столовая» кормили дефицитной в Союзе гречкой и витаминами «Ундевит».

— Ты — красивая девочка. Зачем ты здесь? — спросил пожилой офицер.

Я расплакалась.

— Кто тебя обидел?

— Вы обидели.

— Я?!

— Вы сегодня пятый, кто меня спрашивает: зачем я здесь?

Из Кабула в Кундуз — самолётом, из Кундуза в Файзабад — вертолётom. С кем ни заговорю о Файзабаде: да ты что? Там стреляют, убивают, короче — прощай! Посмотрела на Афганистан с высоты, большая красивая страна — горы как у нас, горные реки как у нас (я была на Кавказе), просторы, как у нас. Полюбила!

В Файзабаде я стала операционной сестрой. Все хозяйство — палатка

«Операционная». Весь медсанбат располагался в палатках. Шутили: «Спустил с раскладушки ноги — и уже на работе». Первая операция — ранение подключичной артерии у старой афганки. Где сосудистые зажимы? Зажимов не хватает. Держали пальцами. Коснулась шовного материала: берёшь одну катушку с шёлком, ещё одну, и они тут же рассыпаются в пыль. Видно, лежали на складах ещё с той войны, с сорок пятого года.

Но афганку мы спасли. Вечером заглянули с хирургом в стационар. Хотели узнать, как она себя чувствует. Она лежала с открытыми глазами, увидела нас... Зашевелила губами... Я думала: она хочет что-то сказать... А она хотела в нас плюнуть... Я тогда не могла понять, что они имеют право на ненависть. Стояла окаменевшая: мы её спасаем, а она...

Раненых привозили на вертолёте. Как услышишь гул вертолёта, бежишь...

Столбик термометра застывает на отметке сорок градусов. В операционной нечем дышать. Салфеткой на зажиме еле успеваю вытирать пот хирургам, они стоят над открытой раной. Через трубочку от капельницы, продетую под маску, кто-нибудь из «нестерильных» медиков даёт им попить. Не хватало кровезаменителей. Вызывают солдата. Он тут же ложится на стол и даёт кровь. Два хирурга... Два стола... И я одна операционная сестра... Ассистировали терапевты. Они понятия не имели о стерильности. Мотаюсь между двумя столами... Вдруг над одним столом тухнет лампочка... Кто-то берет и выкручивает её стерильными перчатками.

— Вон отсюда!

— Ты что?

— Вон!!!

На столе лежит человек... У него раскрыта грудная клетка.

— Вон!!!

Сутки за операционным столом стоим, бывало, а и то и двое. То с боевых раненых везут, то неожиданно начнутся самострелы — в колено себе выстрелит или пальцы на руке повредит. Море крови... Не хватало ваты...

Тех, кто решался на самострел, презирали. Даже мы, медики, их ругали. Я ругала:

— Ребята гибнут, а ты к маме захотел? Коленку он поранил... Пальчик зацепил... Надеялся, в Союз отправят? Почему в висок не стрелял? Я на твоём бы месте в висок стреляла...

Клянусь, я так говорила! Мне они тогда все казались презренными трусами, только сейчас я понимаю, что это, может быть, и протест был, и

нежелание убивать. Но это только сейчас я начинаю понимать...

В восемьдесят четвёртом вернулась домой. Знакомый парень нерешительно спросил:

— Как ты считаешь: должны мы там быть?

Я вознегодовала:

— Если бы не мы, там были бы американцы. Мы — интернационалисты...

Как будто я могла это чем-то доказать.

Удивительно мало мы там задумывались. Жили с закрытыми глазами. Видели наших ребят, покорёженных, обожжённых. Видели их и учились ненавидеть. Думать не учились. Поднимались на вертолёте, внизу расстилались горы, покрытые красными маками или какими-то неизвестными мне цветами, а я уже не могла любоваться этой красотой. Мне больше нравился май, обжигающий своей жарой, тогда я смотрела на пустую, сухую землю с чувством мстительного удовлетворения: так вам и надо. Из-за вас мы тут погибаем, страдаем. Ненавидела!

Раны огнестрельные... Раны минно-взрывные... Вертолёты садятся и садятся... Несут на носилках... Они лежат, прикрытые простынями...

— Раненый или убитый?

— Нет, не раненый...

— А что? — отворачиваю край простыни.

А там лежит скелет, обтянутый кожей. Таких доставляли с далёких застав.

— Что с ним случилось?

— Чай с мухой подал.

— Кому?

— «Деду» нёс чай, а туда муха залетела. Били и две недели не подпускали к кухне...

Боже мой! И это среди моря крови... Среди чужих песков...

В Кундузе двое «дедов» заставили ночью «молодого» выкопать яму... Он выкопал... «Стань в яму»... Он стал в яму... Они засыпали его по горло землёй... Одна голова торчала... Всю ночь они на неё мочились... Утром, когда его откопали, он застрелил обоих... Об этом случае по всей армии читали приказ...

Боже мой! И это среди моря крови... Среди чужих песков...

Рассказываю вам, а сама думаю: все такое страшное. Почему я только страшное вспоминаю? Была же дружба, взаимовыручка. И героизм было. Может, мне мешает та старая афганка? Мы её спасли, а она хотела в нас плюнуть... Но я вам не до конца рассказываю... Её привезли из кишлака,

через который прошли наши спецназовцы... Никого живого не осталось, только она одна... А если с самого начала, то из этого кишлака стреляли и сбили два наших вертолётта... Обгоревших вертолётчиков вилами докололи... А если до самого конца, до самого... То мы не задумывались: кто первый — кто последний. Мы лишь своих жалели...

У нас послали на боевые врача. Он первый раз вернулся, плакал:

— Меня всю жизнь учили лечить. А я сегодня убивал... За что я их убивал?

Через месяц он спокойно анализировал свои чувства:

— Стреляешь иходишь в азарт: на, получай!

...Ночью на нас падали крысы... Обтягивали кровати марлевым пологом. Мухи были величиной с чайную ложку. Привыкли и к мухам. Нет животного неприхотливее человека. Нет!

Девочки засушивали на память скорпионов. Толстые, большие, они «сидели» на булавах или висели на ниточках, как брошки. А я занималась «ткачеством». Я брала у лётчиков парашютные стропы и вытягивала из них нити, которые потом стерилизовала. Этими нитями мы зашивали, штопали раны. Из отпуска везла чемодан игл, зажимов, шовного материала. Сумасшедшая! Привезла уют, чтобы не сушить на себе зимой мокрый халат. И электрическую плитку.

По ночам крутили всей палатой ватные шарики, стирали и сушили марлевые салфетки. Жили одной семьёй. Мы уже предчувствовали, что, когда вернёмся, будем потерянным поколением, лишними людьми. Как, например, нам ответить на вопрос, зачем столько женщин посылали на эту войну? Когда стали прибывать уборщицы, библиотекари, заведующие гостиницами, мы сначала недоумевали: для чего уборщица на два-три модуля или библиотекарь для двух десятков потрепанных книг. Для чего, как вы думаете?.. Мы сами сторонились этих женщин, хотя они ни в чем не были перед нами виноваты.

А я там любила... У меня был любимый человек... Он и сейчас живёт... Но перед мужем я согрешила; обманула его: я сказала, что того, кого я любила, убили...

— А встречалась ли ты с живым «духом»? — спросили у меня дома. — Он, конечно, с бандитской рожей и кинжалом в зубах?

— Встречала. Красивый молодой человек. Окончил Московский политехнический институт. — а моему младшему брату представлялось что-то среднее между басмачами из гражданской войны и горцами из «Хаджи-Мурата» Льва Толстого.

— А почему вы работали по двое — трое суток? Могли отработать

восемь часов и идти отдыхать.

— Вы что! Не понимаете?!

Не понимают. А я знаю, нигде не буду так необходима, как там была. Не поверите, какую я там видела радугу после дождя: высокие цветные столбы на все небо. Никогда я больше такой радуги не видела и не увижу... На все небо...»

*Медсестра*

«Счастливая была — родила двоих сыновей, два дорогих мальчика. Росли: один большой, другой маленький. Старший, Саша, в армию идёт, а младший, Юра, в шестом классе.

— Саша, куда тебя посылают?

— Куда Родина прикажет, туда и поеду.

Говорю младшему.

— Смотри, Юра, какой у тебя брат!

Пришло солдатское письмо. Юра бежит ко мне с ним:

— А нашего Сашу на войну посылают?

— На войне убивают, сынок.

— Ты, мама, не понимаешь. Он вернётся с медалью «За отвагу».

Вечером с друзьями во дворе играет — воюют с «духами»:

— Та-та... Та-та... Та-та...

Вернётся домой:

— Как ты думаешь, мама, война закончится раньше, чем мне исполнится восемнадцать лет?

— Я хочу, чтобы раньше.

— Повезло нашему Саше — героем будет. Пусть бы ты меня раньше родила, а его потом.

...Принесли Сашин чемоданчик, в нем синие плавки, зубная щётка, кусок мыленного мыла и мыльница. Справка об опознании.

— Ваш сын умер в госпитале.

У меня как пластинка в голове: «Куда Родина прикажет, туда и поеду... Куда Родина прикажет, туда и поеду...»

Внесли и вынесли ящик, как будто в нем ничего не было.

Маленькие они были, зову: «Саша!» — бегут оба, зову: «Юра!» — один и другой бегут.

Зову:

— Саша! — ящик молчит. — Юрочка, а где ты был?

— Мама, когда ты кричишь, мне хочется убежать на конец Земли.

С кладбища убежал, еле нашли.



Привезли Сашины награды: три ордена и медаль «За отвагу».

— Юра, посмотри, какая медаль!

— Я, мама, вижу, а наш Саша не видит...

Три года, как сына нет, ни разу не приснился. Брючки его под подушку кладу, его маечку:

— Приснись, сынок. Приди повидаться.

Не идёт. В чем я перед ним провинилась?

Из окна нашего дома видна школа и школьный двор. Юра там с друзьями играет — воюет с «духами». Только слышу:

— Та-та... Та-та... Та-та...

*Мать*

«Хватит, два года... По горло... Такое не повторится... Не повторится... Никогда... Не вспоминать... Забыть этот дурной сон! Я там не был... не был...

Но все-таки я там был.

Закончив военный институт и отгуляв положенный отпуск, летом восемьдесят шестого я приехал в Москву и, как было указано в предписании, явился в штаб одного важного заведения. Найти его было не так-то просто. Я зашёл в бюро пропусков, набрал трехзначный номер.

— Слушаю. Полковник Сазонов, — ответили на том конце провода.

— Здравия желаю, товарищ полковник! Прибыл в ваше распоряжение. Нахожусь в бюро пропусков.

— А, знаю, знаю... Вам уже известно, куда вас направляют?

— В ДРА. Город Кабул.

— Неожиданно для вас?

— Никак нет, товарищ полковник.

Пять лет нам внушали: вы все там будете. Так что, нисколько не покрывив душой, я мог бы честно ответить полковнику: «Я ждал этого дня целых пять лет». Если кто представляет отъезд офицера в Афганистан как быстрые сборы по первому звонку, по-мужски скупое на чувства прощание с женой и детьми, посадку в ревущий самолёт в предрассветной мгле, он ошибается. Путь на войну получил необходимое «бюрократическое оформление»: помимо приказа, автомата, сухпайка требуются справки, характеристики — «политику партии и правительства понимает правильно», служебные паспорта, визы, аттестаты и предписания, справки о прививках, таможенные декларации, посадочные талоны. И только после этого вы сядете в самолёт и, оторвавшись от земли, услышите выкрик пьяного капитана: «Вперёд! На мины!»

Газеты сообщали: «Военно-политическая обстановка в ДРА продолжает оставаться сложной и противоречивой». Военные утверждали, что вывод первых шести полков надо расценивать только как пропагандистский шаг. О полном выводе советских войск не может быть и речи. «На наш срок — хватит», — в этом никто из летевших со мной не сомневался. «Вперёд! На мины!» — кричал уже сквозь сон пьяный капитан.

Итак, я — десантник. Как меня тут же просветили, армия делится на две половины — десантников и соляру. Этимологию слова «соляра» установить так и не удалось. Многие солдаты, прапорщики и часть офицеров делают себе наколки на руках. Они не отличаются большим разнообразием, чаще, всего Ил-76 и под ним купол парашюта. Бывают и варианты. Например, я встречал такой лирический сюжет: облака, птички, парашютист под куполом и трогательная надпись: «Любите небо». Из негласного кодекса десантников: «Десантник становится на колени лишь в двух случаях: перед трупом друга и чтобы напиться воды из ручья».

Моя война...

— Равняйтесь! Смирно! Приказываю совершить марш по маршруту: пункт постоянной дислокации — уездный партийный комитет Баграми — кишлак Шевани. Скорость на маршруте — по головной машине. Дистанция в зависимости от скорости. Позывные: я — «Фреза», остальные — по бортовым номерам машин. Вольно. — обычный ритуал перед выездом нашего агитотряда. Могло последовать продолжение — снимать каски и бронежилеты категорически запрещаю. Автомат из рук не выпускать...

Я запрыгиваю на свою БРДМку, небольшой проворный броневилок. От наших советников услышал её кличку — «бали-бали». «Бали» в переводе с афганского «да». Когда афганцы проверяют микрофон, они помимо нашего традиционного «раз-два, раз-два» говорят «бали-бали». Мне как переводчику интересно все, что связано с языком.

— «Сальто», «Сальто», я — «Фреза». Пошли...

За невысоким каменным забором — одноэтажные кирпичные домики, покрытые снаружи известью. Красная табличка: уездный партийный комитет. На крыльце нас встречает товарищ Лагман. Он одет в советское военное «хэбэ».

— Салам алейкум, рафик Лагман.

— Салам алейкум. Четоур асти! Хуб асти! Джор асти! Хайр хайрият асти? — выпаливает он традиционный набор афганских приветственных фраз, которые все означают, что собеседник интересуется вашим здоровьем. Отвечать на эти вопросы не нужно, можно просто повторить то

же самое.

Командир не упускает момента, чтобы загнуть свою любимую фразу:

— Четоур асти? Хуб асти? В Афгане по д-ур-р-ости.

Услышав непонятное, товарищ Лагман недоуменно смотрит на меня.

— Русская народная пословица, — поясняю я.

Нас приглашают в кабинет. Приносят на подносе чай в заварных металлических чайниках. Чай у афганцев — неперенный атрибут гостеприимства. Без чая не начнётся работа, не состоится деловой разговор, отказаться от чашки чая все равно что не протянуть при встрече руку.

В кишлаке нас встречают старейшины и бочата, вечно неумытые (совсем маленьких не моют вообще, согласно шариату — их вере — слой грязи сохраняет от злой напасти), одетые во что попало. Раз я говорю на фарси, каждый считает необходимым удостовериться в моих познаниях. Следует неизменный вопрос: сколько времени? Я отвечаю, что вызывает бурю восторга (ответил, значит, действительно знает фарси, а не притворяется).

— Ты мусульманин?

— Мусульманин, — отшучиваюсь я. Им нужны доказательства.

— Калему знаешь?

Калема — это особая формула, произнеся которую ты становишься мусульманином.

— Ла илях илля миах ва Муххамед расул Аллах, — декламирую я. — Нет Бога, кроме Аллаха, и Мохаммед — Пророк его.

— Дост! Дост (друг)! — лепечут бочата, протягивая в знак признания свои худенькие руки.

Они ещё не раз попросят меня повторить эти слова, будут приводить своих друзей и заворожённо шептать: «Он знает калему».

Из звуковещательной установки, которую сами афганцы называли «Аллой Пугачёвой», уже разносятся афганские народные мелодии. Солдаты развешивают на машинах наглядную агитацию — флаги, плакаты, лозунги, раскручивают экран — покажем фильм. Врачи ставят столики, раскладывают коробки с медикаментами.

Открывается митинг. Вперёд выходит мулла в длинной белой накидке и белой чалме. Читает суру из Корана. Закончив суру, он обращается к Аллаху с просьбой сберечь всех правоверных от зла вселенского. Согнув руки в локтях, поднимает ладони к небу. Все, и мы тоже, повторяем за ним эти движения. После муллы выступает товарищ Лагман. С очень длинной речью. Это одна из особенностей афганцев. Говорить могут и любят все. В

лингвистике есть термин — эмоциональная окрашенность. Так вот, у афганцев речь не просто окрашена, а раскрашена метафорами, эпитетами, сравнениями. Афганские офицеры не раз высказывали мне своё удивление тем, что наши политработники проводят занятия по бумажкам. На партийных собраниях, заседаниях, активах афганцев я слушал наших лекторов с теми же бумажками, с той же лексикой: «в авангарде широкого коммунистического движения», «быть постоянным примером», «неустанно претворять в жизнь», «наряду с успехами имеются некоторые недоработки» и даже «некоторые товарищи не понимают». К моему приезду в Афганистан митинги, вот такие, как наши, давно стали обычной принудителькой, народ собирался, чтобы попасть на медосмотр или получить кулёк муки. Исчезли овации и дружные выкрики «заидо бод» — «да здравствует!» с поднятыми вверх кулаками, которыми неизменно сопровождались все выступления в те времена, когда народ ещё верил в то, в чем его пытались убедить, — в сияющие вершины Апрельской революции, в светлое будущее.

Бочата выступления не слушали, им интересно, какой будет фильм. У нас, как всегда, мультфильмы на английском и два документальных на фарси и пушту. Здесь любят индийские художественные фильмы или картины, где много драк и стреляют.

После кино — раздача подарков. Мы привозили мешки с мукой и детские игрушки. Передаём их председателю кишлака, чтобы разделили между беднейшими и семьями погибших. Поклявшись публично, что все будет как положено, он вместе с сыном стал таскать мешки домой.

— Как ты думаешь, раздаст? — обеспокоился командир отряда.

— Думаю, что нет. Местные подходили и предупреждали, что нечист на руку. Завтра все будет в дуканах.

Команда:

— Всем по ленточке. Приготовиться к движению.

— 112-й к движению готов, 305-й готов, 307-й готов, 308-й...

Бочата сопровождают нас градом камней. Один попадает в меня.

— От благодарного афганского народа, — говорю я.

Возвращаемся в часть через Кабул. Витрины некоторых дуканов украшены надписями на русском: «Самая дешёвая водка», «Любые товары по любой цене», «Магазин «Братишка» для русских друзей». Торговцы зазывают по-русски: «батник», «варенка», «сервиз «Седой граф» на шесть персон», «кроссовки на липучках», «люрекс в бело-голубую полосочку». На прилавках наша сгущёнка, зелёный горошек, наши термосы, электрочайники, матрацы, одеяла...

Дома чаще всего мне снится Кабул. На склонах гор висят глиняные домики... В них зажигаются огни... Издали кажется, что перед тобой величественный небоскрёб. Если бы я не был там, то не сразу догадался бы, что это всего лишь оптический обман...

Я вернулся оттуда и через год ушёл из армии. Вы не видели, как блестит штык при лунном свете? Нет? А фотографию: советский офицер стоит рядом с повешенным афганцем? Любительский снимок... На память... Самое страшное — участвовать в допросах... Когда пленного сажают на мину: говори или... Есть такая пытка: «телефон». Привязывают провод к половым органам... И пускают ток...

Я ушёл из армии... Поступил на факультет журналистики... Пишу книгу... Но происходит оптический обман...

— Калему знаешь?

— Ла илях илля миах ва Муххамед...

— Дост! Дост!

Наш офицер возле повешенного афганца... Улыбается... Я там был... Я это видел, но можно ли об этом писать? Никто об этом не пишет... Значит, нельзя. Если об этом не пишут, выходит, этого как бы не было. Так было или не было?»

*Старший лейтенант, переводчик*

«А я ничего отдельного из той жизни не помню. Летело нас в самолёте двести человек. Двести мужчин. Человек в группе и человек один — это разные люди. Я летел и думал о том, что должен буду там перечувствовать...

Из напутствия командира:

— Подъем в горы. Если сорвёшься — не кричать. Падать молча, «живым» камнем. Только так можно спасти товарищей.

Когда смотришь с высокой скалы, то солнце так близко, кажется, можно взять руками.

До армии я прочёл книгу Александра Ферсмана «Воспоминание о камне». Помню, поразили слова: жизнь камня, память камня, голос камня, душа камня, тело камня, имя камня... Я не понимал, что о камне можно говорить как об одушевлённом предмете. А там открыл для себя, что на камень можно смотреть долго, как на воду и огонь.

Из поучений:

— В зверя надо стрелять немножко вперёд, а то он твою пулю проскочит. И в бегущего человека тоже...

Был ли страх? Был. У сапёров в первые пять минут. У вертолётчиков

— пока бегут к машине. У нас, в пехоте, — пока кто-то первый не выстрелит.

Подъем в горы... С утра и до поздней ночи... Усталость такая, что тошнит, рвёт. Сначала свинцом наливаются ноги, затем руки, руки начинают подрагивать в суставах.

Один упал:

— Застрелите меня! Не могу идти...

Вцепились в него втроём, тащим.

— Бросьте меня, ребята! Застрелите!

— Сука, мы тебя пристрелили бы... Но у тебя мама дома...

— Застрелите!!!

Мучит жажда. Уже на полпути у всех пустые фляжки. Высовывается изо рта язык, висит, его назад не засунешь. Как-то мы ещё умудрялись курить. Поднимаемся до снега, ищем, где талая вода — из лужи пьём, грызём лёд зубами. Про хлорные таблетки все забыли. Какая там ампула с марганцовкой? Дополз и лижешь снег... Пулемёт сзади строчит, а ты из лужи пьёшь... Захлёбываешься, а то убьют — и не напьёшься. Мёртвый лежит лицом в воду, кажется, пьёт.

Я теперь как сторонний наблюдатель... Из сегодняшнего дня смотрю туда... Каким был там? Я не ответил вам на главный вопрос: как попал в Афганистан? Сам попросил направить меня на помощь афганскому народу. Тогда по телевизору показывали, по радио говорили, в газетах писали о революции... Что мы должны помочь... Собирался на войну... Учился каратэ... Ударить первый раз в лицо — это непросто. До хруста. Надо какую-то пограничную черту в себе перешагнуть — и хрясь!

Первый убитый... Афганский мальчик, лет семи... Лежал, раскинув руки, как во сне... И рядом развёрнутое брюхо застывшей лошади... В чем повинны дети? В чем повинны животные?

Из «афганской» песни:

Скажи, зачем и для кого отдали жизнь они свою?

Зачем в атаку взвод пошёл под пулемётную струю?

Вернулся и два года во сне хоронил себя... А то просыпаюсь в страхе: застрелиться нечем!

Друзей интересовало: награды есть? Ранения есть? Стрелял? Я пытался рассказать о том, что переживал, интереса никакого. Стал пить... Один... Третий тост... Молча... За тех, кто погиб... За Юрку... А

мог его спасти... Мы вместе лежали в кабульском госпитале... У меня царапина на плече, контузия, а у него не было ног... Много ребят лежало без ног, без рук... Курят, отпускают шуточки... Там они в порядке... Но в Союз не хотят, до последнего просят, чтобы их оставили... Возвращаться страшно... В Союзе начинается другая жизнь... Юрка в день отправки в аэропорт вскрыл себе в туалете вены...

Убеждал его (мы играли по вечерам в шахматы):

— Юрка, не падай духом. А Алексей Мересьев? Ты читал «Повесть о настоящем человеке»?

— Меня очень красивая девушка ждёт...

Иногда я ненавижу всех, кого встречаю на улице, вижу у окна. Еле сдерживаю себя... Хорошо, что на таможне у нас отбирают оружие, гранаты... Мы сделали своё дело, теперь нас можно забыть? Юрку тоже?

Ночью проснусь и не могу сообразить: то ли я здесь, то ли я там? Кто-то сказал, что сумасшедшие — это изумившиеся люди? Живу как сторонний наблюдатель... У меня есть жена, ребёнок... Я любил раньше голубей... Утро любил... Теперь как сторонний наблюдатель... Что угодно бы отдал, только бы вернуть мне радость...

*Рядовой*

«Дочка пришла из школы и говорит:

— Мама, никто не верит, что ты была в Афганистане.

— Почему?

— Удивляются: «Кто твою маму туда послал?»»

А я ещё не привыкла к ощущению безопасности, наслаждаюсь им. Не привыкла, что не стреляют, не обстреливают, можно открыть кран и выпить стакан воды, и от неё хлоркой не несёт. Там хлеб с хлоркой, булочки с хлоркой, макароны, каша, мясо, компот с хлоркой. Не помню, как прожила два года дома. Как с дочкой встретилась, помню, а остальное не задерживается в памяти, оно такое маленькое, незаметное, никчёмное по сравнению с тем, что пережито там. Ну, купили новый стол на кухню, телевизор... А что ещё тут происходило? Ничего. Дочка растёт... Она в Афганистан писала, командиру части: «Верните мне поскорее маму, я очень соскучилась...» Кроме дочери, мне ничего после Афганистана не интересно.

Там реки сказочно голубые. Никогда не думала, что вода может быть такого небесного цвета. Красные маки растут, как у нас ромашки, костры маков у подножия гор. Высокие непугающиеся верблюды спокойно смотрят на все, как старики. На «противопехотке» (мина) взорвался ослик,

тянул на базар тележку с апельсинами.

Будь ты проклят, Афганистан!

Я не могу после него спокойно жить. Жить как все. Приехала, соседки, подружки в гости часто просились:

— Валя, мы к тебе забежим на минутку. Расскажи, какая там посуда? Какие ковры? Правда, что шмоток навалом и видео видимо-невидимо? Что ты привезла? Может, что продашь?

Гробов оттуда привезли больше, чем магнитофонов. Про них забыли...

Будь ты проклят, Афганистан!

Дочка растёт. Комната у меня маленькая. Там обещали: вернётесь домой, вам за все отплатят. Обратилась в райисполком, взяли мои бумаги.

— Вы ранены?

— Нет, я целая вернулась.

Сверху целая, а что внутри, не видно.

— Ну и живите как все. Мы вас туда не посылали.

В очереди за сахаром:

— Оттуда всего навезли, а здесь права качают...

Поставили сразу шесть гробов: майор Яшенко, лейтенант и солдаты... Они лежат обёрнутые в белые простыни... Голов не видно... Никогда не думала, что мужчины могут так кричать, рыдать... Фотографии у меня остались... На месте гибели ставили обелиски из крупных осколков бомб, выбивали фамилии на камнях. «Духи» сбрасывали их в пропасть. Расстреливали памятники, подрывали, чтобы никакого следа не осталось от нас...

Будь ты проклят, Афганистан!

Дочка выросла без меня. Два года в школе-интернате. Я приехала, учительница жалуется: у неё тройки, она уже большая.

— Мама, что вы там делали?

— Женщины там помогали мужчинам. Я знала женщину, которая сказала мужчине: «Ты будешь жить». И он жил. «Ты будешь ходить». И он ходил. Перед этим она забрала у него письмо, написанное жене:

«Кому я нужен безногий?! Забудьте обо мне». Она сказала ему: «Пиши: «Здравствуйте, дорогая жена и дорогие Алёнка и Алёшка...»»

Как я уехала? Меня вызвал командир: «Надо!» Мы воспитаны на этом слове, у нас привычка. На пересылке лежит на голом матраце молодая девчонка и плачет:

— У меня дома все есть: четырехкомнатная квартира, жених, любящие родители.

— Зачем приехала?



— Сказали, что здесь трудно. Надо!

Я ничего оттуда не привезла, кроме памяти. Будь ты проклят, Афганистан! Эта война никогда не кончится, наши дети будут воевать. Дочка опять вчера сказала:

— Мама, никто не верит, что ты была в Афганистане...»

*Прапорщик, начальник секретной службы*

«Не говорите при мне, что мы — жертвы, что это было ошибкой. Не произносите при мне этих слов. Я не разрешаю.

Мы воевали хорошо, храбро. За что вы нас? Я целовал на коленях знамя, я дал присягу. Мы так воспитаны, что это свято, раз ты поцеловал знамя. Мы любим Родину, мы ей верим. Я люблю её, несмотря ни на что. Я ещё на этой войне, я ещё не вернулся... Под окном «стрельнет» выхлопная труба — животный страх. Звон разбитого стекла — животный страх... В голове пусто-пусто... Звонящая пустота в голове... Звонок междугородного телефона... Как автоматная очередь... Я не разрешу все это перечеркнуть. Я не могу топтать свои бессонные ночи, свои муки. Не могу забыть холодок по спине в пятидесятиградусную жару...

...Ехали на машинах и орали песни во всю глотку. Окликали, задирали девчонок, с грузовика они все красивые. Мы ехали весёлые. Попадались трусы:

— Я откажусь... Лучше тюрьма, чем война.

— На, получай! — их били. Над ними издевались. Они даже убегали из части.

Первый убитый. Его вытащили из люка. Он сказал: «Хочу жить...» — и умер. Как невыносимо после боя смотреть на красоту. На горы, на сиреневое ущелье. Хочется все растрелять! Или тихий-тихий становишься, ласковый. Другой парень умирал долго. Лежал и, как ребёнок, который только-только научился говорить, называл и повторял все, что встречал глазами: «Горы... Дерево... Птица... Небо...» Так до самого конца.

Молодой царандой, это у них милиционер:

— Я умру, Аллах заберёт меня на небо. А ты куда попадёшь?

Куда я попаду?!

Попал в госпиталь. Приехал ко мне в Ташкент отец:

— После ранения ты можешь остаться в Союзе.

— Как я останусь, если мои друзья там?

Он коммунист, но ходил в церковь, ставил свечку.

— Зачем ты это делаешь, отец?

— Мне надо вложить во что-то свою веру. Кого мне ещё просить,

чтобы ты вернулся?..

Рядом лежал парень. К нему приехала мать из Душанбе, привезла фрукты, коньяк:

— Хочу сына дома оставить. Кого просить?

— Давай, мать, лучше выпьем твой коньяк за наше здоровье.

— Хочу сына дома оставить...

Выпили мы её коньяк. Целый ящик. В последний день слышали: у одного из наших в палате обнаружили язву желудка, кладут в медсанбат. Шкура! Мы его лицо стёрли для себя из памяти.

Для меня — или чёрное, или белое... Серого нет... Никаких полутонов...

Нам не верилось, что где-то целый день дождь, «грибной» дождь. Наши архангельские комары над водой гудят. Выжженные шершавые горы... Поджаренный колючий песок... И на нем, как на большой простыне, наши окровавленные солдаты лежат... У них отрезано все мужское... Записка: ваши женщины никогда не родят от них сыновей...

А вы говорите — забыть?!

Возвращались: кто с японским магнитофоном, кто чиркал музыкальными зажигалками, а кто в стираном-перестираном «хэбэ» и с пустым дипломатом.

Почему нет книг? Нет стихов? Нет песен об Афгане, которые мы все пели? Мы воевали хорошо, храбро. Нас наградили орденами... Говорят, что нас, «афганцев», и без орденов узнают, по глазам.

— Парень, ты из Афгана?

А я иду в советском пальто, в советских ботинках...»

*Рядовой*

«Может, она жива, моя девочка, она где-то далеко... Я все равно рада, где бы она ни была, только бы жила. Так я думаю, так этого мне хочется, очень хочется! И вот мне приснился сон... Вот она пришла домой... Взяла стул и села посреди комнаты... Волосы длинные у неё, очень красивые, рассыпались по плечам... Она их так отбросила рукой и говорит: «Мама, ну что ты меня все зовёшь и зовёшь, ты ведь знаешь, что я прийти к тебе не могу. У меня муж, двое детей... У меня семья».

И я ещё во сне сразу вспомнила: когда её похоронили, прошёл, наверное, месяц, мне подумалось — она не убита, а её украли... Мы, бывало, идём с ней по улице, на неё оглядываются... Она высокая, и эти волосы льются... Но мне никто не верил... А тут я получила подтверждение, что догадка моя верная, она живёт...

Я — медик, я всю жизнь считала, что это — святая профессия. Очень её любила, поэтому и доченьку увлекла. А теперь проклинаю себя. Не будь у неё этой профессии, она осталась бы дома и жила. Теперь мы с мужем только вдвоём, у нас никого больше нет. Пусто, ужасно пусто. Вот вечером садимся, вот смотрим телевизор. Сидим, молчим, иногда слова за весь вечер не произнесём. Только когда начинают петь, я заплачу, а муж застонет — и пойдёт. Вы не представляете, что здесь, в груди... Утром надо идти на работу, а встать не можешь. Такая боль! Я другой раз думаю, что не встану и не пойду. Буду лежать, буду ждать, чтобы взяли меня к ней. Позвали...

У меня есть склонность к воображению, и я все время с ней, она никогда в моих мечтах не повторяется. Я даже вместе с ней читаю... Правда, теперь я читаю книги о растениях, о животных, о звёздах, о людях не люблю... Думала, что природа мне поможет, весна... Поехала за город... Фиалки цветут, на деревьях листочки детские... А я начала кричать... Так красота природы, радость живого на меня подействовали... Стала бояться течения времени, оно забирает её у меня, память о ней... Исчезают подробности... Что она говорила, как улыбалась... Собрала с костюма её волосы, сложила в коробочку. Муж спросил:

— Что ты делаешь?

— Пусть будет. Её уже нет.

Иногда сижу дома, думаю и вдруг слышу ясно: «Мама, не плачь». Оглянусь — нет никого. Продолжаю дальше вспоминать. Вот она лежит... Яма уже выкопана, уже земля готова принять... А я стою перед ней на коленях: «Доченька моя милая... Доченька моя дорогая... Как же это случилось? Где ты? Куда ты ушла?» Но она ещё со мной, хотя и в гробу лежит...

...Помню тот день. Она вернулась с работы и сказала:

— Меня вызвал сегодня главврач. — и замолчала.

— И что? — я ещё ничего не услышала в ответ на свой вопрос, но мне уже нехорошо стало.

— Пришла в нашу больницу разнарядка послать одного человека в Афганистан.

— И что?

— Нужна именно операционная сестра. — а она работала операционной сестрой в кардиологии.

— И что? — я забыла все другие слова, повторяла одно и то же.

— Я согласилась.

— И что?

— Кому-то все равно надо ехать. А я хочу побыть там, где трудно.

Уже все знали, и я тоже, что идёт война, льётся кровь и медсёстры нужны. Я заплакала, а сказать «нет» не смогла. Она бы строго посмотрела на меня:

— Мама, мы с тобой обе давали клятву Гиппократата...

Несколько месяцев она готовила документы. Принесла и показала характеристику. Там были слова: «Политику партии и правительства понимает правильно». А я ещё все не верила.

Рассказываю вам... И мне легче... Как будто она у меня есть... Я завтра её хоронить буду... В комнате гроб стоит... Она ещё со мной... А может, она где-то живёт? Я только бы хотела знать: какая она сейчас? Длинные ли у неё волосы? Даже какая кофточка на ней? Мне все интересно...

Если честной перед вами быть, то я людей не хочу видеть. Я люблю быть одна... Я с ней, со Светочкой своей, тогда разговариваю. Стоит кому-то зайти, все нарушается. Никого не хочу пускать в этот мир. Ко мне мама из деревни приезжает... Я даже с ней не хочу делиться... Один раз только пришла ко мне женщина... С моей работы... Вот её я не отпускала, мы с ней до ночи сидели... Боялись, что метро закроют, она не успеет... Уже муж её волновался... У неё вернулся из Афганистана сын... Вернулся совсем другой, чем тот, каким она его отправила туда... «Мама, я буду печь с тобой пироги... Мама, я пойду с тобой в прачечную...» Он боится мужчин, дружит с одними девочками. Она побежала к врачу. Врач сказал: «Терпите, пройдёт». Мне теперь такие люди ближе, понятнее. Я могла бы с ней дружить, с этой женщиной. Но она ко мне больше не пришла, она смотрела на портрет Светочки и все время плакала...

Но я что-то другое хотела вспомнить... Что же я хотела вам рассказать? А?! Как она приехала первый раз в отпуск... Нет, ещё о том, как мы её провожали, как она уезжала... Пришли на вокзал её школьные друзья, товарищи с её работы. И один старый хирург наклонился и поцеловал ей руки: «Больше я таких рук не встречу».

Приехала в отпуск. Худенькая, маленькая. Три дня спала. Встанет, поест и спит. Опять встанет, поест и спит.

— Светочка, как тебе там?

— Все хорошо, мама. Все хорошо.

Сидит, молчит и тихонько сама себе улыбается.

— Светочка, что у тебя с руками? — я не узнала её рук, они стали такими, как будто ей пятьдесят лет.

— Там, мама, много работы. Могу ли я думать о своих руках? Ты представляешь: готовимся к операции, мою руки муравьиной кислотой. А

врач подходит ко мне и говорит: «Вам что, своих почек не жалко?» Он о почках своих думает... А рядом люди умирают... Но ты не думай... Я довольна, я там нужна...

Уехала она на три дня раньше:

— Прости, мама, у нас в медсанбате остались только две медсёстры. Врачей достаточно, а медсестёр мало. Девочки задохнутся. Как я могу не ехать?!

Попросила бабушку, она её очень любила, той скоро девяносто лет: «Только не умирай. Дождись меня». К бабушке мы поехали на дачу. Она стояла возле большого куста роз, и Светочка просила её: «Только не умирай. Дождись меня». Бабушка взяла и срезала все розы, отдала ей...

Вставать надо было в пять часов утра. Я бужу её, а она: «Мама, я так и не выспалась. Мне кажется, что теперь мне никогда не хватит сна». В такси она открыла сумочку и ахнула: «Я забыла ключ от нашей квартиры. У меня нет ключей. Я вернусь, а вдруг вас не будет дома?» Потом я ключи нашла, в старой её юбочке... Хотела в посылке отослать, чтобы она не волновалась... Чтобы у неё были ключи от дома...

А вдруг она живая... Она где-то ходит, смеётся... Радуется цветам... Она любила розы... Приезжаю теперь к нашей бабушке, она ещё живёт. Света сказала: «Только не умирай. Дождись меня...»

Встаю ночью... На столе букет роз... Она их вечером срезала... Две чашки чая...

— Почему не спишь?

— Мы со Светланкой (она звала её всегда «Светланка») пьём чай.

А я во сне увижу её и во сне себе говорю: подойду, поцелую, если она тёплая, значит, она живая. Подойду, поцелую — тёплая. Значит, живая!

Вдруг она где-то живёт... В другом месте...

На кладбище сижу у её могилки... Идут двое военных... Один остановился:

— О! Света наша. Ты посмотри... — заметил меня:

— Вы — мама?

Я кинулась к нему:

— Вы знали Светочку?

А он к другу обращается:

— Ей оторвало обе ноги при обстреле. И она умерла.

Тут я сильно закричала. Он испугался:

— Вы ничего не знали? Простите меня. Простите. — и убежал.

Больше я его не видела. И не искала.

Сижу у могилки... Идёт мама с детьми... Слышу:

— Что это за мать? Как она могла отпустить в наше время на войну единственную дочку (а у меня на памятнике выбито: «Единственной доченьке»)? Девочку отдать?..

Как они смеют, как они могут!!! Она же клятву давала, она же медсестра, которой хирурги руки целовали. Она ехала спасать людей, их сыновей...

Люди, кричу я в душе, не отворачивайтесь от меня! Пойдите со мной у могилы. Не оставляйте меня одну...»

*Мать*

«Я думал: все хорошие станут... После крови... Думал, что после крови никто крови не захочет... А он берет газету, читает:

— Они вернулись из плена... — и матом.

— Ты чего?

— Да я бы их всех к стенке поставил... И сам лично расстрелял...

— Мало мы кровью умылись? Тебе не хватило?

— Предателей не жалко. Нам руки, ноги отрывало... А они Нью-Йорк разглядывали... Небоскрёбы...

А там он мне другом был... Раньше казалось, что нам разлучаться нельзя, я не смогу один. Сейчас хочу быть один... Моё спасение — одиночество. Мне нравится разговаривать с самим собой:

— Ненавижу этого человека. Ненавижу!

— Кого?

— Себя.

...Боюсь выйти на улицу из дому... Боюсь до женщины дотронуться... Пусть бы я лучше погиб... Повесили бы на моей школе мемориальную доску... Сделали бы из меня героя... Сколько у нас говорят о героях, о героизме, только о героизме. Все хотят быть героями. Я не хотел. Войска в Афганистан уже ввели, но я ещё ничего не знал. Мне было неинтересно. У меня была в это время первая любовь... А сейчас я боюсь до женщины дотронуться... Даже когда в переполненный троллейбус утром втискиваюсь... Никому не признавался... Но у меня ничего не получается с женщинами... От меня жена ушла... Это случилось... Так странно это произошло... Я сжёг чайник... Он горел, а я сидел и смотрел, как он чернел... Возвращается с работы жена:

— Что ты сжёг?

— Чайник.

— Это уже третий...

— Люблю запах огня.

Она закрыла дверь на ключ и ушла... Два года тому назад... И я стал бояться женщин... Им нельзя открыться... Им ничего не надо о себе рассказывать... Даже если они будут вас слушать, то потом все равно осудят...

— Какое утро! Ты опять кричал. Ты опять всю ночь кого-то убивал... — так говорила моя жена.

А я ещё ей не рассказал о восторге вертолётчиков, которые бомбят. О восторге людей возле смерти.

«Какое утро! Ты опять кричал...»

Она не знает, как погиб наш лейтенант. Увидели воду, остановили машины.

— Стой! Всем стоять! — крикнул лейтенант и показал на грязный свёрток, который лежал возле ручья. — Мина?!

Вперёд пошли сапёры: подняли «мину» — она захныкала. Это был ребёнок.

Что с ним делать? Оставить, взять с собой? Его никто не заставлял, лейтенант сам вызвался:

— Бросать нельзя! С голоду умрёт. Я отвезу его в кишлак. Рядом же.

Мы ждали их час, а езды туда и назад минут двадцать было.

Они лежали... Лейтенант и водитель... Посреди кишлака... На площади... Женщины убили их мотыгами...

«Какое утро! Ты опять кричал. Ты опять всю ночь кого-то убивал».

Иногда я не помню своей фамилии, адреса и всего, что делалось со мной. Приходишь в себя... И начинаешь как бы снова жить... Но неуверенно... Вышел из дома — и сразу мысль: закрыл дверь на ключ или не закрыл, выключил газ или не выключил. Ложусь спать, встаю: завёл на утро будильник или не завёл? Утром иду на работу, встречаю соседей: сказал я им «доброе утро» или не сказал?

Запад есть Запад, Восток есть Восток, и друг друга им не понять.

Лишь у Престола Божьего они сойдутся опять.

Но нет Востока и Запада нет, если двое сильных мужчин,

Рождённых в разных концах Земли, сойдутся один на один!

Когда она выходила за меня замуж, она говорила: «Ты вышел из ада... Из чистилища... Я тебя спасу...» А я вылез из помойной ямы... И я боюсь теперь до женщины дотронуться... Уезжал в Афганистан, они носили длинные платья, возвратился — в коротком все. Незнакомые мне. Просил

её надеть длинное... Она смеялась, потом обижалась... Затем стала ненавидеть меня...

Но нет Востока и Запада нет, если двое сильных мужчин,  
Рождённых в разных концах Земли, сойдутся один на один!

О чем я говорил? А? О длинных платьях моей жены... Они висят в шкафу, она их не забрала... А я ещё ей не рассказал...»

*Сержант, разведчик*

«Всю жизнь я был военный, иную жизнь знал лишь по рассказам. У настоящих военных другая психология: справедливая война или несправедливая — неважно. Куда нас послали — там справедливая, нужная. Когда посылали, и эта война была справедливая. Мы так считали, я сам стоял перед солдатами и говорил о защите южных рубежей, идейно подковывал. Два раза в неделю — политические занятия. Разве я мог сказать: «Я сомневаюсь»? Армия не терпит свободомыслия. Вас поставили в строй, и отныне вы действуете только по команде. С утра до вечера.

Команда:

— Встать! Подъем!

Встали.

Команда:

— На зарядку, стано-о-о-вись! Налево — бегом!

Сделали физзарядку.

Команда:

— Разойтись по лесу. Пять минут оправиться.

Разошлись.

Команда:

— Стано-о-овись!!!

Никогда не встречал, чтобы в казарме висел портрет... Ну, например, кого? Циолковского или Льва Толстого. Ни разу не видел. Висят портреты Николая Гастелло, Александра Матросова... Героев Великой Отечественной войны... Я однажды, ещё молоденьким лейтенантом был, повесил у себя в комнате портрет (из журнала какого-то вырезал) Ромена Роллана. Заходит командир части:

— Кто это?

— Ромен Роллан, французский писатель, товарищ полковник.

— Немедленно убрать этого француза! У нас своих, что ли, героев не



хватает?

— Товарищ полковник...

— Кругом - марш на склад и вернуться с Карлом Марксом.

— Так он же немец.

— Молчать!. Двое суток ареста!

При чем тут Карл Маркс! Я сам стоял перед солдатами и говорил: куда, мол, годится этот станок? Он же заграничный. Куда годится эта машина с иностранной маркой? Она развалится на наших дорогах. Лучшее в мире — это все наше: наши станки, наши машины, наши люди. И только сейчас сам задумался: почему лучший станок не может быть в Японии, лучшие капроновые чулки — во Франции, а лучшие девушки — на Тайване. А мне пятьдесят лет...

...Вижу сон, что я убил человека. Он встал на колени... На четвереньки... Голову не поднимал... Лица не видно, у них у всех одно лицо (сколько я их видел во сне)... Я спокойно в него выстрелил... Спокойно увидел его кровь... Закричал я тогда, когда проснулся и вспомнил этот сон...

Здесь уже писали о политической ошибке, называли эту войну «брежневской авантюрой», «преступлением». А нам надо было воевать и умирать. И убивать. Здесь писали, а там гибли. Не судите, да не судимы будете! Что мы защищали? Революцию? Нет, я уже так не думал, я уже внутренне разрывался. Но убеждал себя, что мы защищаем наши военные городки, наших людей.

Горят рисовые поля... Трассирующие пули зажгли... Трещит и быстро горит... Войне ещё жара помогает... Дехкане бегают, с земли подгоревшее собирают... Никогда не видел, чтобы афганские дети плакали... Дети лёгкие, маленькие, сколько лет — не угадать... Широкие штанишки, из-под них ножки торчат.

Все время было чувство, что кто-то хочет тебя убить... Свинец глупый... До сих пор не знаю: можно ли к этому привыкнуть? А арбузы, дыни там с табурет величиной. Ткнёшь штыком — разваливаются. Умирать так просто... Убивать труднее... О мёртвых не говорили... Такие были правила игры, если так можно сказать... Собираешься в рейд на дно — письмо жене. Прощальное. Я писал: «Засверлить мой пистолет и передать сыну».

Начался бой, а магнитофон кричит... Забыли выключить... Голос Владимира Высоцкого:

В жёлтой жаркой Африке —

В центральной её части —  
Как-то вдруг вне графика  
Случилось несчастье.

Слон сказал, не разобрав:  
— Видно, быть потопу!..  
В общем так: один Жираф  
Влюбился в Антилопу.

И душманы Высоцкого крутили... Ночью из засады мы слышали у них:

Мой друг уехал в Магадан,  
Снимите шляпу, снимите шляпу!  
Уехал сам, уехал сам,  
Не по этапу, не по этапу.

Они смотрели в горах наши фильмы... О Котовском, о Ковпаке... Стоит в палатке телевизор, магнитофон... Учились у нас воевать с нами...

Из карманов наших убитых пацанов я вытаскивал письма... Фотографии... Таня из Чернигова... Машенька из Пскова... Сделанные в провинциальном ателье... Все одинаковые... Наивные надписи на фото: «Жду ответа, как соловей лета», «Лети с приветом, вернись с ответом»... Лежали у меня на столе, как колода карт... Лица простых русских девочек...

Не могу вернуться в этот мир... Пробовал, ничего не получается... У меня тут поднялось давление... Недостаточная нагрузка... Бунтует адреналин в крови... Не хватает остроты ощущений, презрения к жизни... Врачи дали диагноз: сужение сосудов... Мне нужен ритм, тот ритм, чтобы броситься в драку... Хочу и сейчас туда, но не знаю, что бы я там чувствовал... Разбитая, сгоревшая техника на дорогах... Танки, бэтээры... Неужели это все, что от нас там осталось?

Пошёл на кладбище... Хотел обойти «афганские» могилы... Встретила меня чья-то мать...

— Уходи, командир. Ты с сединой... Ты — живой... А мой сынок лежит... Мой сынок ещё ни разу не побрился...

Недавно умер мой друг, воевал в Эфиопии. Посадил в той жаре почки.

Все, что он узнал, ушло с ним. А другой товарищ рассказывал, как попал во Вьетнам... Встречал и тех, кто в Анголе был, в Египте, в Венгрии в пятьдесят шестом, в Чехословакии в шестьдесят восьмом... Разговариваем между собой... Вместе на дачах редиску выращиваем... Рыбу удим... Я теперь пенсионер... В кабульском госпитале одно лёгкое удалили... А под Хмельницком есть госпиталь, там лежат те, от кого отказались родные... Кто сам не захотел вернуться домой... Мне пишет оттуда парень: «Лежу без рук, без ног... Проснусь утром и не знаю, кто я — человек или животное. Другой раз мяукать или лаять охота. Зажму зубы...»

Мне нужен ритм, тот ритм, чтобы драка была. Но я не знаю, с кем мне драться. Я уже не могу стать среди своих пацанов и агитировать: мы — самые лучшие, мы — самые справедливые. Но я утверждаю, что мы хотели такими быть. Но не получилось. Почему?..»

*Майор, командир батальона*

«Мы перед Родиной чисты. Я честно выполнил свой солдатский долг. Слышал, читал: сейчас эту войну называют «грязной». А как быть с такими чувствами, как чувство Родины, народа, долга? Родина для вас — пустой звук? Мы перед Родиной чисты...

Называют нас оккупантами. Что мы там захватили, что оттуда вывезли? «Груз двести» — гробы с нашими товарищами? Что приобрели? Болезни, от гепатита до холеры, ранения, инвалидности? Мне не в чем каяться. Я помогал братскому афганскому народу. Убеждён! Те, кто там со мной был, — тоже искренние, честные ребята. Они верили в то, что пришли на эту землю с добром, что они не «ошибочные фронтовики» с «ошибочной войны». А кому-то хочется увидеть в нас наивных «дурачков», пушечное мясо. Зачем? С какой целью? Ищут истину? Но не забудьте библейское. Помните, что Иисус на допросе у Пилата сказал:

— Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине.

Пилат переспросил:

— Что есть истина?

Вопрос остался без ответа...

У меня своя истина. Своя правда о том, что в нашей, может быть, наивной вере мы были девственно чисты. Нам казалось: новая власть даёт землю, и все должны с радостью брать её. И вдруг... крестьянин не берет землю! Нам казалось: мы построим МТС (машинно-тракторные станции), дадим им трактора, комбайны, косилки, и вся жизнь их повернётся. И вдруг... они уничтожают МТС! Нам казалось: в век космических полётов

смешно думать о Боге. Нелепо! Мы послали в космос афганского парня... Мол, смотрите, он там, где ваш Аллах. И вдруг... непоколебимая цивилизацией исламская религия... Да мало ли что нам казалось! Но так было, было... И это особая часть нашей жизни... Я берегу её в душе, не хочу разрушать. И не дам замарать одним чёрным цветом. Мы там закрывали в бою друг друга. Попробуйте станьте под чужую пулю! Это не забудешь. А это? Я хотел вернуться домой «сюрпризом», но страшно стало за маму. Позвонил:

— Мама, я — живой, я — в аэропорту, — и там, на другом конце провода, упала трубка.

Кто вам сказал, что мы проиграли эту войну? Мы проиграли её здесь, дома. В Союзе. А как красиво мы могли победить и здесь! Вернулись, опалённые войной... Но нам не дали... Нам не дали здесь прав, не дали здесь дела... Каждое утро на обелиске (памятника погибшим воинам-«афганцам» ещё в городе нет, ещё будет) кто-то вывешивает плакат: «Поставьте у своего Белорусского военного округа...» Мой двоюродный брат, которому восемнадцать лет, не хочет идти в армию: «Чьи-то глупые или преступные приказы выполнять?»

Что есть истина?

В нашей «пятиэтажке» живёт старуха врач. Ей восемьдесят лет. После всех сегодняшних статей, разоблачений, выступлений... После всей этой правды, которая на нас обрушилась, она помешалась... Открывает окно у себя на первом этаже и кричит: «Да здравствует Сталин!», «Да здравствует коммунизм — светлое будущее человечества!». Я вижу её каждое утро... Её не трогают, она никому не мешает... А мне иногда страшно становится...

Но мы перед Родиной чисты...»

*Рядовой, артиллерист*

«Звонок в дверь. Я выбегаю — никого. Ахнула: не сынок ли приходил?..

Через два дня стучат в дом военные.

— Что, сына нет?

— Да, теперь нет.

Тихо-тихо стало. Опустилась в прихожей на колени перед зеркалом:

— Боже, Боже! Боженька мой!

На столе письмо лежало, которое не дописала:

«Здравствуй, сынок!

Прочла твоё письмо и была рада. И в этом письме ни одной грамматической ошибки. Две синтаксические, как и в прошлый раз: «по-моему» — вводное слово, а союз «так как» — сложный. Это в предложении: «Я сделаю так, как сказал отец» — нужна запятая. И во втором предложении: «По-моему, вам за меня не будет стыдно» — тоже нужна запятая. Не обижайся на свою маму. ...В Афганистане жарко, сынок. Старайся не простудиться. Ты всегда простужаешься...»

На кладбище все молчали, было много людей, но все молчали. Я стояла с отвёрткой, у меня не могли её забрать.

— Дайте сына открыть... Дайте сына открыть...

Цинковый гроб хотела отвёрткой открыть.

Муж пытался руки на себя наложить: «Не буду жить. Прости, мать, а жить я больше не буду». Уговаривала его:

— Надо памятник поставить, плиткой обложить.

Он не мог спать. Говорил:

— Лягу спать, сын приходит. Целует, обнимает... По старинному обычаю, хранила булку хлеба все сорок дней... После похорон... Через три недели она рассыпалась на мелкие куски. Значит, семья пропадёт...

Развесила по дому все фотографии сына. Мне так легче, а мужу тяжело:

— Сними. Он на меня смотрит...

Поставили мы памятник. Хороший, из дорогого мрамора. Все деньги, что на свадьбу сыну собирали, на памятник пошли. Плиткой красной могилку обложили и цветы красные посадили. Георгины. Муж покрасил ограду:

— Все сделал. Сын обижаться не будет.

Утром повёл меня на работу. Попрощался. Прихожу со смены — он на полотенце на кухне висит, как раз напротив фотографии сына, моей любимой.

— Боже, Боже! Боженька мой!

...Вы мне скажите: герои они или нет? За что я такое горе терплю? Один раз подумаю: герои! Он не один там лежит... Рядами идут... на городском кладбище... А другой раз проклиная правительство, партию... И то, как сама учила: «Долг есть долг, сынок. Отдать его надо». Прокляну всех, а утром бегу на могилку, прощения прошу:

— Прости, сынок, что я так говорила... Прости...»

*Мать*

«Получила письмо: «Не волнуйся, если нет писем. Пиши по старому адресу». Два месяца молчания. Я не представляла, что он в Афганистане. Собирала чемодан, чтобы ехать к нему на новое место службы.

Он не писал, что на войне. Загорает, ловит рыбу. Прислал фотографию: сидит на ослике, колени на песке. Я не знала, что там убивают. Раньше он никогда не баловался с дочкой, у него не было отцовских чувств, может, потому, что она маленькая. Приехал — часами сидит и смотрит на ребёнка, а в глазах такая грусть, что мне страшно. Утром встанет, отведёт её в садик. Любил посадить на плечи и нести. Вечером заберёт. Ходили мы в театр, в кино, но больше всего ему хотелось быть дома.

В любви стал жадным, ухожу я на работу или на кухне готовлю — ему и этого времени жалко: «Побудь со мной. Сегодня можно и без котлет. Попроси отпуск, пока я здесь». Пришёл день улетать, он специально опоздал на самолёт, чтобы нам ещё два дня побыть вместе.

Последняя ночь. Было так хорошо, что я расплакалась... Я плачу, он молчит, только смотрит, смотрит. Потом говорит:

— Тамарка, если у тебя будет другой, не забывай это.

Я:

— Ты с ума сошёл! Тебя никогда не убьют! Я так тебя люблю, что тебя никогда не убьют.

Засмеялся.

Детей больше не хотел:

— Вернусь... Тогда родишь... Что ты с ними делать одна будешь?..

Я научилась ждать. Но если я видела похоронный автобус, мне становилось плохо, готова была кричать, плакать. Прибегу домой, висела бы икона, стала на колени и молилась бы: «Спасите мне его! Спасите!»

В тот день я пошла в кино. Смотрю на экран и ничего не вижу. Внутри непонятное беспокойство: где-то меня ждут, надо куда-то идти, еле досидела до конца сеанса. В это время, видно, шёл бой...

Неделю я ещё ничего не знала. Я даже получила два его письма. Обычно радовалась, целовала их, а тут разозлилась: сколько мне тебя ещё ждать?!

На девятый день в пять часов утра пришла телеграмма, мне сунули её просто под дверь. Телеграмма была от его родителей: «Приезжай. Погиб Петя». Я сразу закричала. Разбудила ребёнка. Что делать? Куда идти? Денег не было. Как раз в этот день должен был прийти его аттестат. Помню, завернула дочку в красное одеяло, вышла на дорогу — автобусы ещё не ходят. Остановила такси.

- В аэропорт, — говорю таксисту.
- Еду в парк. — и закрывает дверцу.
- У меня муж погиб в Афганистане...

Молча выходит из машины, помогает сесть. Заезжаем к подруге, я одалживаю деньги. В аэропорту нет билетов до Москвы, а мне страшно вынуть из сумочки телеграмму и показать. Вдруг это неправда? Ошибка. Если буду думать, что он жив, тогда он и будет жив. Я плакала, все на меня смотрели. Посадили до Москвы в «кукурузник». Ночью прилетела в Минск. Надо дальше, в Старые Дороги. Таксисты ехать не хотят, далеко — сто пятьдесят километров. Прошу. Умоляю. Один согласился: «Давай пятьдесят рублей, повезу».

В два часа подъезжаю к дому. Все плачут.

— Может, это неправда?

— Правда, Тамара. Правда.

Утром идём в военкомат. Ответ военный: «Когда привезут, тогда вам сообщим». Ждём ещё двое суток. Звоним в Минск: «Приезжайте, сами заберите». Приезжаем, в облвоенкомате говорят: «Его по ошибке увезли в Барановичи». Это ещё сто километров, у нас автобус не заправлен. В Барановичах в аэропорту никого нигде нет, рабочий день закончился. В будке сидит сторож.

— Мы приехали...

— Вон там, — показывает рукой, — какой-то ящик. Посмотрите. Если ваш — забирайте.

В поле стоял грязный ящик, на нем мелом было написано: «Старший лейтенант Довнар». Я оторвала доску в том месте, где в гробу окошечко: лицо целое, но небритый лежит, и не умыл никто, гроб маловат. Запах... Наклониться, поцеловать нельзя... Так мне вернули мужа...

Я стала на колени перед тем, что было когда-то самым дорогим.

Это был первый гроб в деревне Языль Стародорожского района Минской области. У людей, помню, одно — ужас в глазах. Никто не понимал, что происходит. Опустили его в могилу. Не успели рушники, на которых опускали, вытащить, как вдруг — страшный гром и град, помню, град, как белый гравий на цветущей сирени, хрустит под ногами. Сама природа была против. Я долго не могла уехать из его дома, потому что здесь была его душа. Отец, мать... Мы мало говорили. Мне казалось, что мать меня ненавидит: я живу, а его нет, я выйду замуж, а её сына не будет. Теперь она говорит: «Тамара, выходи замуж». А тогда я боялась встречаться с ней глазами. Отец чуть с ума не сошёл: «Такого парня угробили! Убили!» Мы с матерью его убеждали, что Петю орденом

наградили, что Афганистан нам нужен, защита южных рубежей... Он не слушал: «Сволочи!..»

Самое страшное было потом. Самое страшное... привыкнуть к мысли, что мне не надо ждать, мне некого ждать. Утром просыпалась мокрая от ужаса: «Петя приедет, а мы с Олеськой живём по другому адресу». Мне надо было понять, что теперь одна и буду одна. Я три раза в день заглядывала в почтовый ящик... Ко мне возвращались только мои письма, которые он не успел получить, со штампом: «Адресат выбыл». Я разлюбила праздники. Перестала ходить в гости. У меня остались только воспоминания. Вспоминалось лучшее.

Первый день мы с ним танцевали. Второй — гуляли в парке. На третий день нашего знакомства он предложил выйти за него замуж. У меня был жених. Заявление лежало в загсе. Я сказала ему об этом. Уехал и писал письма большими буквами на всю страницу: а-а-а-а!!! В январе обещал: приеду и поженимся. А я в январе замуж не хочу. Я хочу свадьбу весной! Во Дворце бракосочетания. С музыкой, цветами.

Была свадьба зимой, в моей деревне. Смешно и наспех. На Крещение, когда гадают, мне приснился сон. Маме утром рассказываю:

— Мама, я видела красивого парня. Он стоял на мосту и звал меня. На нем военная форма. Но когда я подошла к нему, он начал удаляться, удаляться и совсем исчез.

— Не выходи замуж за военного, одна останешься, — сказала мама.

Он приехал на два дня.

— Пойдём в загс, — с порога.

В сельсовете посмотрели на нас:

— Зачем вам два месяца ждать? Идите за коньяком.

Через час мы были мужем и женой. Метель на улице.

— На каком такси ты повезёшь молодую жену?

— Сейчас! — поднимает руку и останавливает трактор «Беларусь».

Годами я видела сны, как мы встречаемся. Едем на тракторе. Восемь лет как нет его... Снится часто. Во сне я все время умоляю: «Женись на мне ещё раз». Он меня отталкивает: «Нет! Нет!» Я его жалею не потому, что это был мой муж. А какой мужик! Большое сильное тело. Жалею, что не родила от него сына. В последний раз приехал в отпуск, а квартира закрыта. Телеграмму не дал. Я не знала. У подруги день рождения, я — там. Он открыл дверь: громкая музыка, смех... Сел на табуретку и заплакал. Каждый день встречал меня: «Иду к тебе на работу, коленки дрожат. Как на свидание». Вспоминаю, как купались. Сидели на берегу и жгли костёр:



— Ты знаешь, как не хочется погибать за чужую родину.

А ночью:

— Тамарка, не выходи больше замуж.

— Почему ты так говоришь?

— Потому что я тебя очень люблю. И не представляю, что ты будешь с кем-то...

Иногда мне кажется, что я живу долго-долго, хотя воспоминания одни и те же.

Дочка была маленькая, приходит из садика:

— Сегодня мы рассказывали про своих пап. Я сказала, что мой папа — военный.

— Почему?

— Они же не спросили: есть он или нет? Они спрашивали: кто он?

Подросла. Когда я за что-нибудь на неё злюсь, советует:

— Выходи-ка ты, мамка, замуж...

— Какого бы ты хотела папу?

— Я хотела бы своего папу...

— А не своего какого?

— Похожего...

Мне было двадцать четыре года, когда я осталась вдовой. В первые месяцы, подойди ко мне любой мужчина, тут же бы вышла замуж. С ума сходила! Не знала, как спастись. Вокруг прежняя жизнь: кто дачу строит, кто машину покупает, у кого-то квартира новая — нужен ковёр, красная плитка для кухни!.. Чужая нормальная жизнь доказывала, что у меня не такая. Мебель я только сейчас стала покупать. У меня не поднимались руки печь пироги. Разве в моем доме может быть праздник? В ту войну у всех было горе, у всей страны. Каждый кого-то потерял. Знал, за что потерял. Бабы хором голосили. В кулинарном училище, где я работаю, коллектив — сто человек. Я одна, у кого муж сегодня погиб на войне, о которой другие только в газетах читали. Когда в первый раз услышала по телевизору, что Афганистан — наш позор, хотела разбить экран. В тот день я второй раз мужа похоронила...»

*Жена*

«Привезли нас в Самарканд. Стоят две палатки, в одной — мы сбрасываем с себя все штатское, кто поумнее, успел по дороге куртку, свитер продать, купить вина напоследок, в другой — выдавали солдатское бэу (бывшее в употреблении) — гимнастёрки сорок пятого года, «кирзачи», портянки. Покажи эти «кирзачи» привыкшему к жаре негру — в обморок

упадёт. В слаборазвитых африканских странах у солдат лёгкие штиблеты, куртки, штаны, кепи, а мы строим, с песней, по жаре в сорок градусов — ноги варятся. Первую неделю на заводе холодильников разгружали стеклотару. На торговой базе таскали ящики с лимонадом. Посылали к офицерам домой, у одного я дом кирпичом обкладывал. Недели две крышу на свинарнике крыл: три листа шифера забьёшь, два сплaviшь за бутылку. Доски загоняли по цене: один метр — один рубль. Перед присягой два раза сводили на полигон, в первый раз дали девять патронов, в другой — мы бросили по гранате.

Построили на плацу и зачитали приказ: направляетесь в ДРА для исполнения интернационального долга. Кто не желает — два шага вперёд. Три человека вышли. Командир части вернул их в строй коленкой под зад, мол, проверяли ваше боевое настроение. Сухпак на двое суток, кожаный ремень — и в путь. Все ехали, все молчали. Показалось долго. Увидел в иллюминаторе горы: красивые! Раньше никогда гор не видел — мы псковские, у нас поляны и лесок. Высадились в Шинданде. Помню число, месяц — девятнадцатого декабря тысяча девятьсот восьмидесятого года...

Глянули на меня:

— Метр восемьдесят... В разведроту... Там такие нужны...

Из Шинданда — в Герат. И там — стройка. Строили полигон. Рыли землю, таскали камни под фундамент. Я крыл крышу шифером, плотничал. Некоторые даже не стреляли до первого боя. Есть хотелось все время. На кухне два пятидесятилитровых бачка: один для первого — капуста с водой, мяса не словишь, другой для второго — клейстер (сушёная картошка) или перловка без масла. На четверых ставили банку скумбрии с этикеткой: год изготовления — тысяча девятьсот пятьдесят шестой, срок хранения — один год и шесть месяцев. За полтора года я один раз перестал хотеть есть, когда меня ранили. А так все время ходишь и думаешь: где бы что достать, своровать, чтобы поесть. В сады к афганцам лазили, они стреляли. На мину можно напороться. Но так хотелось яблок, груш, каких-нибудь фруктов. Просили у родителей лимонную кислоту, они присылали в письмах. Растворяли её в воде и пили. Кисленькая. Жгли себе желудки.

...Перед первым боем включили Гимн Советского Союза. Говорил замполит. Я запомнил, что мы на один час опередили американцев и дома нас ждут как героев.

Как я буду убивать, я себе не представлял. До армии занимался велоспортом, мускулы себе накачал такие, что меня боялись, не трогал никто. Я даже драки не видел, чтобы с ножом, кровью. Тут мы ехали на бэтэрах. До этого из Шинданда в Герат нас везли автобусом, ещё один раз

выезжал из гарнизона на ЗИЛе. На броне, с оружием, рукава закатаны до локтя... Было новое чувство, незнакомое. Чувство власти, силы и собственной безопасности. Кишлаки сразу стали низкими, арыки мелкими, деревья редкими. Через полчаса так успокоился, что почувствовал себя туристом. Разглядывал чужую страну — экзотика! Какие деревья, какие птицы, какие цветы. Колючку первый раз увидел. И про войну забыл.

Проехали через арык, через глиняный мостик, который, к моему удивлению, выдержал несколько тонн металла. Вдруг взрыв — в передний бэтээр ударили в упор из гранатомёта. Вот уже несут на руках знакомых ребят... Без головы... Картонные мишени... Руки болтаются... Сознание не могло сразу включиться в эту новую и страшную жизнь... Приказ: развернуть миномёты, «васильки» мы их звали — сто двадцать выстрелов в минуту. Все мины — в кишлак, оттуда стреляли, в каждый двор — по несколько мин. Своих после боя по кускам складывали, соскребали с брони. Смертных медальонов не было, расстелили брезент — братская могила... Найди, где чья нога, чей кусок черепа... Медальона не выдавали... Вдруг в чужие руки попадут... Имя, фамилия, адрес... Как в песне: «Наш адрес не дом и не улица, наш адрес — Советский Союз...» А война необъявленная. Мы были на войне, которой не было...

Возвращались молча. Как из другого мира. Поели. Почистили оружие. Тогда стали говорить.

— Косячок забьёшь? — предлагали «деды».

— Не хочу.

Я не хотел курить, боялся, что не брошу. К наркотикам привыкаешь, нужна сильная воля, чтобы бросить. Потом все курили, иначе не выдержишь. Было бы наркомовских сто грамм, как в ту войну... Не полагалось... Сухой закон... Надо снять напряжение, чем-то компенсировать затраты... Забыться... В плов сыпали, в кашу... Глаза — по полтиннику... Ночью видишь, как кошка. Лёгкий, как летучая мышь.

Разведчики убивают не в бою, а вблизи. Не автоматом, а финкой, штыком, чтобы тихо, неслышно. Я быстро научился это делать, втянулся. Первый убитый? Кого близко убил? Помню... Подошли к кишлаку, в бинокли ночного видения заметили: возле дерева светит маленький фонарь, стоит винтовка, и он что-то откапывает. Я отдал товарищу автомат, сам приблизился на расстояние прыжка и прыгнул, сбил его с ног. Чтобы не кричал, затолкал в рот чалму. Нож с собой не взяли, тяжело нести. Был у меня перочинный ножик, которым консервные банки открывали. Обыкновенный перочинный ножик. Он уже лежал... Оттянул за бороду, волосы крепкие — и перерезал горло... Кожа натянулась... Легко. Крови

насмотрелся...

Был я на должности старшего разведчика. Выходили обычно ночью. С ножом сидишь за деревом... Они идут... Впереди — дозорный, дозорного надо снять. Снимали по очереди... Моя очередь... Дозорный поравнялся с тобой, чуть пропустишь и прыгаешь сзади. Главное — схватить левой рукой за голову и горло вверх, чтобы не крикнул. Правой рукой — нож в спину... Под печень... И проткнул насквозь... У меня потом был трофей... Японский нож, длина — тридцать один сантиметр. Этот легко в человека входит. Поёрзает и упадёт, не вскрикнет. Привыкаешь. Психологически не так было трудно, как технически. Чтобы попасть в верхнюю косточку позвоночника... В сердце... В печень... Каратэ учились. Скрутить, связать. Найти болевые точки — нос, уши, над веком, — точно ударить. Ткнуть ножом надо знать куда...

Один раз что-то внутри сдало, щёлкнуло. Стало жутко. Прочёсывали кишлак. Обычно открываешь дверь и раньше, чем войти, — бросаешь гранату, чтобы на автоматную очередь не наскочить. Зачем рисковать, с гранатой вернее. Бросил гранату и захожу: лежат женщины, двое мальчиков побольше и один ребёнок грудной. В какой-то коробочке... Вместо коляски...

Чтобы не сойти сейчас с ума, надо себя оправдывать. А если это правда, что души убитых смотрят на нас сверху?

Я вернулся домой, я хотел быть хорошим. Но иногда у меня появляется желание перегрызть горло. Я вернулся слепой. Пуля снесла сетчатку с обоих глаз. Вошла в левый висок, в правый вышла. Различаю только свет и тени. Но тех, кому надо перегрызть горло, я знаю... Кому жалко камня на могиле для наших ребят... Кому не хочется давать нам квартиры: «Я вас в Афганистан не посылал...» Кому нет до нас дела... Во мне все кипит, то, что было. Если бы у меня забрали прошлое? Нет, не отдам. Я только этим живу.

Научился ходить, не видя. Езжу по городу сам, сам в метро, сам на переходах. Сам готовлю, жена удивляется: готовлю вкуснее её. Я никогда не видел свою жену, но знаю, какая она. Какой у неё цвет волос, какой нос, какие губы... Я слышу руками, телом... Моё тело видит. Я знаю, какой у меня сын... Пеленал его маленького, обстирывал... Сейчас ношу на плечах... Иногда мне кажется, что глаза не нужны. Вы ведь закрываете глаза, когда самое главное происходит. Когда вам хорошо. Глаза нужны художнику, потому что это его профессия. А я научился жить без глаз. Я ощущаю мир... Я его слышу... Для меня слово значит больше, чем для вас, у кого есть глаза.

Для многих я человек, у которого все позади: мол, отвоевался, парень. Как Юрий Гагарин после полёта. Нет, самое главное у меня — впереди. Я это знаю. Телу не надо придавать большее значение, чем велосипеду, а я в прошлом — велосипедист, в гонках участвовал. Тело — это инструмент, станок, на котором мы работаем, не более. Я могу быть счастливым, свободным... Без глаз... Это я понял... Сколько зрячих не видят! С глазами я был больше слепой, чем сейчас. Хочется от всего очиститься. От всей этой грязи, в которую нас втянули. Только матери сейчас нас понимают и защищают. Вы не знаете, как страшно бывает ночью? Когда снова, в который раз, прыгаешь с ножом на человека... И только во сне я бываю ребёнком... Ребёнку кровь не страшна, он её не боится, потому что ему неизвестно, что это такое. Красная водичка... Дети — естествоиспытатели, им охота все разобрать, понять, как и что устроено. Я теперь и во сне крови боюсь...»

*Рядовой, разведчик*

«...На кладбище летишь, как на встречу. Будто сына увижу. Первые дни ночевала там. И не страшно. Я теперь полет птиц очень понимаю, и как трава колыхается. Весной жду, когда цветок ко мне из земли вырвется. Подснежники посадила... Чтобы скорее дождаться привет от сына... Они оттуда ко мне поднимаются... От него...

Сию у него до вечера. До ночи. Иногда как закричу и сама не услышу, пока птицы не поднимутся. Шквал вороний. Кружат, хлопают надо мной, я и опомнюсь... Перестану кричать... Все четыре года каждый день прихожу. Или утром, или вечером. Одиннадцать дней не была, когда с микроинфарктом лежала, не разрешали вставать. А встала, тихонько до туалета дошла... Значит, и до сына добегу, а упаду, так на могилку... В больничном халате убежала...

Перед этим сон видела. Появляется Валера:

— Мамочка, не приходи завтра на кладбище. Не надо.

Прибежала: тихо, ну вот так тихо, словно его там нет. Вот чувствую сердцем — его там нет. Вороны сидят на памятнике, на ограде и не улетают, не прячутся от меня, как обычно. Поднимаюсь со скамейки, а они мне наперёд залетают, успокаивают. Не пускают уйти. Что такое? О чем они хотят предупредить? Вдруг птицы успокоились, поднялись на деревья. И меня потянуло к могилке, и так спокойно на душе, тревога прошла. Это дух его вернулся. «Спасибо, мои птички, что подсказали, не дали уйти. Вот и дождалась сыночка...» Среди людей мне плохо, одиноко. Хожу неприкаянная. Что-то со мной говорят, тормозят, мешают. А там мне

хорошо. Мне хорошо только у сына. Меня или на работе, или там можно найти. Там не могилка... Там мой сын вроде как живёт... Я высчитала, где лежит его голова... Сажусь рядышком и все ему рассказываю... Какое у меня было утро, какой день... Вспоминаем с ним... Смотрю на портрет... Глубоко смотрю, долго... Он или немножко улыбается, или, чем-то недовольный, нахмурится. Вот так мы с ним и живём. Если я покупаю новое платье, то только чтобы к сыну прийти, чтобы он меня в нем увидел... Раньше он передо мной на колени становился, теперь я перед ним... Всегда открою калиточку и стану на колени:

— Доброе утро, сынок... Добрый вечер, сынок...

Всегда с ним. Хотела мальчика из детдома взять... Чтобы на Валеру похожий. Да сердце больное. Как в тёмный туннель, загоняю себя в работу. Если у меня будет время сесть на кухне и посмотреть в окно, я сойду с ума. Спасти меня могут лишь мучения. Я ни разу за эти четыре года не была в кино. Продала цветной телевизор, и деньги эти пошли на памятник. Я радио ни разу не включила. Как сыночек погиб, у меня все изменилось: лицо, глаза, даже руки.

Я по такой любви вышла замуж. Вскочила! Он — лётчик, высокий, красивый. В кожаной куртке, унтах. Медведь. Это он будет моим мужем? Девчонки ахнут. Зайду в магазин, ну почему наша промышленность не выпускает домашние тапочки на каблуках?! Я против него такая маленькая. Как я ждала, чтобы он заболел, чтобы закашлял, чтобы у него был насморк. Тогда на целый день останется дома, я буду ухаживать за ним. Безумно хотела сына. И сын, чтобы как он. Такие глаза, такие уши, такой нос. Как будто кто-то подслушал на небе — сын весь в него, капелька в капельку. Я не могла поверить, что эти двое замечательных мужчин — мои. Не могла поверить! Любила дом. Любила стирать, гладить. Так любила все, что на паучка не наступлю, муху, божью коровку словлю в доме, в окошко выпущу. Пусть все живёт, любит друг друга — я такая счастливая. Звоню в дверь, включаю в коридоре свет, чтобы сын меня увидел радостной.

— Лерунька (звала его в детстве Лерунька), это я. Соску-у-чилась!!! — из магазина или с работы бегу.

Я безумно любила сына, я и сейчас его люблю. Принесли фотографии с похорон... Не взяла... Ещё не верила... Я — верный пёс, я из тех собак, что умирают на могиле. И в дружбе всегда была верная. Молоко из груди бежит, а мы с подругой договорились встретиться, я должна ей отдать книгу. Полтора часа стою на морозе, жду, её нет. Человек не может просто так не прийти, раз обещал, что-то случилось. Бегу к ней домой, а она спит. Она не могла понять, почему я плачу. Я её тоже любила, я ей платье

подарила самое любимое — голубое. Такая я. В жизнь медленно входила, робко. Некоторые смелее. Не верила, что меня можно любить. Говорили: красивая — не верила. Я шла в жизни с отставанием. Но если я что-то запоминала, заучивала, то это на всю жизнь. И все с радостью. Полетел в космос Юрий Гагарин, мы с Лерунькой выскочили на улицу... Мне хотелось всех любить в эту минуту... Всех обнять... Мы кричали от радости...

Я безумно любила сына. Безумно. И он меня безумно любил. Могила меня так тянет, как будто он меня зовёт...

У него спрашивали:

— Девушка у тебя есть? Он отвечал:

— Есть. — И показывал мой студенческий билет, где у меня ещё косы, длинные-длинные.

Он любил танцевать вальс. Пригласил меня на первый свой вальс в школе на выпускном вечере.

А я не знала, что он умеет танцевать, научился. Мы с ним кружились.

Вяжу у окна вечером, жду его. Шаги... Нет, не он. Шаги... Мои шаги, сына моего... Ни разу не ошиблась. Садимся друг против друга и до четырех утра говорим. О чем говорим? Ну о чем говорят люди, если им хорошо? Обо всем. О серьезном и о пустяках. Хохочем. Он мне напоёт, сыграет на пианино.

Гляну на часы.

— Валера, спать.

— Давай, матушка, ещё посидим.

Он звал меня: матушка моя, матушка моя золотая.

— Ну, матушка моя золотая, твой сын поступил в Смоленское военное училище. Рада?!

Сел за пианино.

Господа офицеры — голубые князья!

Я, наверно, не первый,

И последний не я...

Мой отец — кадровый офицер, погиб, защищая Ленинград. Дед был офицером. Сына сама природа слепила военным человеком: рост, сила, манеры... Ему бы в гусары... Белые перчатки... Карты, преферанс... «Моя военная косточка», — веселилась я. Хотя бы на нас что-нибудь капнуло с небес Господних...

Ему все подражали. Я, мама, подражала ему. Садилась, как он, у пианино. Иногда начинала ходить, как он. После его смерти особенно. Я так хочу, чтобы он всегда присутствовал во мне...

— Ну, матушка моя золотая, твой сын уезжает.

— Куда?

Молчит.

Сажу в слезах.

— Сыночек, куда ты едешь, дорогой?

— Что куда? Уже известно куда. Матушка моя, за работу. Будем начинать с кухни... Друзья придут...

Мгновенно догадываюсь.

— В Афганистан?

— Туда... — и такое сделал лицо, не подступиться, железный занавес опустил.

Ворвался в дом Колька Романов, его друг. Как колокольчик, все рассказал: они ещё с третьего курса подавали рапорт с просьбой отправить их в Афганистан.

Первый тост: кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Весь вечер Валера пел мои любимые романсы и:

Господа офицеры — голубые князья!

Я, наверно, не первый,

И последний не я...

Четыре недели оставалось. Утром перед работой захожу в его комнату, сижу и слушаю, как он спит. Спал он тоже красиво.

Как природа нам стучала в дверь, как подсказывала. Вижу сон: я на чёрном кресте в чёрном длинном платье... И ангел меня на кресте носит... Я еле-еле вишу... Решила глянуть, куда же я упаду... В море или на сушу?.. Вижу — внизу котлован, залитый солнцем.

Ждала его в отпуск. Он долго не писал.

Звонок на работу.

— Матушка моя золотая, я прибыл. Не задерживайся. Суп готов.

Я закричала:

— Сыночек, сыночек! Ты не из Ташкента? Ты — дома! В холодильнике кастрюля твоего любимого борща!!

— Ох ты! Кастрюлю видел, но крышку не поднимал.

— А у тебя что за суп?



— Суп — мечта идиота. Выезжай. Иду встречать к автобусу.

Приехал весь седой. Не признался, что не в отпуске, а отпросился из госпиталя: «Матушку повидать на два дня». Дочка видела, как катался по коврику, рычал от боли. Гепатит, малярия — все вместе привязались к нему. Предупредил сестру:

— То, что сейчас было, — это не для мамы. Иди читай книгу...

Опять я заходила перед работой в его комнату, смотрела, как он спит. Открыл глаза:

— Что, матушка моя?

— Почему не спишь? Ещё рано.

— Сон я видел плохой.

— Сыночек, если плохой, надо перевернуться. Будет хороший. И не надо рассказывать плохих снов, тогда они не сбываются.

Провожали его до Москвы. Стояли солнечные майские дни. Калужница цвела...

— Как там, сынок?

— Афганистан, матушка моя, это то, что нам делать нельзя.

Только на меня смотрел, больше ни на кого. Протянул руки, лбом потёрся:

— Я не хочу ехать в эту яму! Не хочу! — пошёл. Оглянулся. — Вот и все, мама.

Никогда не говорил «мама», всегда «матушка моя». Солнечный прекрасный день. Калужница цвела... Дежурная в аэропорту смотрела на нас и плакала...

Седьмого июля просыпаюсь без слез... Стеклянными глазами уставилась в потолок... Он меня разбудил... Как бы пришёл попрощаться... Восемь часов... Надо собираться на работу... Мечусь с платьем из ванной в комнату, из одной комнаты в другую... Не могу надеть почему-то светлое платье... Меня кружило... Никого не видела... Все плыло... А к обеду успокоилась, к середине дня...

Седьмое июля... Семь сигарет в кармане и семь спичек... Семь снятых кадров в фотоаппарате... Семь писем ко мне... И семь писем невесте... На тумбочке книга, раскрытая на седьмой странице... Кобо Абэ «Контейнеры смерти»...

Секунды три-четыре у него было, чтобы спастись... Они летели с машиной в пропасть.

— Ребята, спасайтесь! А мне — концы. — он не мог прыгнуть первым. Он этого никогда не мог.

«...Пишет вам заместитель командира полка по политической части майор Синельников С. Р.

Я, выполняя свой солдатский долг, считаю необходимым сообщить вам, что старший лейтенант Волович Валерий Геннадьевич погиб сегодня в десять часов сорок пять минут...»

Уже весь город знает... В Доме офицеров чёрный креп висит и его фотография... Уже самолёт с гробом вот-вот приземлится... Мне ничего не говорят... Никто не решается... На работе моей все ходят заплаканные...

— Что случилось?

Отвлекают под разными предлогами. Заглянула в дверь приятельница. Потом наш врач в белом халате.

Я как просыпаюсь.

— Люди! Вы что, с ума сошли? Такие не гибнут. — стала стучать по столу. Подбежала к окну, стучала в стекло.

Сделали укол.

— Люди! Вы что, с ума сошли? Спятели?..

Ещё укол. Меня никак не брали уколы. Говорят, я кричала:

— Я хочу его видеть. Ведите меня к сыну.

— Ведите, иначе она не выдержит.

Длинный гроб необтёсанный... И жёлтой краской большими буквами «Волович». Я пыталась поднять гроб. Хотела с собой забрать. У меня лопнул мочевого пузырь...

Нужно место на кладбище... Место сухое... Сухонькое... Нужно пятьдесят рублей? Я дам, дам... Только хорошее место... Сухонькое... Я понимаю там, внутри, что это ужас, но сказать не могу... Место сухонькое... Первые ночи не уходила... Там оставалась... Меня домой отведут, я — назад. Скосили сено... В городе и на кладбище сеном пахло...

Утром встречаю солдата:

— Здравствуй, мама. Ваш сын был у меня командиром. Я готов вам все рассказать.

— Ой, сынок, подожди.

Пришли домой. Он сел в кресло сына. Начал и раздумал:

— Не могу, мама...

Когда захожу к нему — поклонюсь и когда уйду — поклонюсь. Дома я только тогда, когда гости. Мне у сына хорошо. И я в морозы там не замерзаю. Там письма пишу. Возвращаюсь ночью: горят фонари, едут машины с включёнными фарами. Возвращаюсь пешком. У меня внутри такая сила, что ничего не боюсь. Ни зверя, ни человека.

Стоят в ушах слова сына: «Я не хочу ехать в эту яму! Не хочу!!» Кто за это ответит? Должен за это кто-то отвечать?! Я хочу теперь долго жить, очень стараюсь для этого. Самое незащищенное у человека — это его могила. Его имя. Я всегда защищу своего сына... К нему приходят товарищи... Друг ползал перед ним на коленках: «Валера, я весь в крови... Вот этими руками я убивал... Из боев не вылезал... Я весь в крови... Валера, я теперь не знаю, что лучше было: погибнуть или жить? Я теперь не знаю...» Просыпаюсь, как от сна... Хочу понять: кто за это ответит? Почему молчат? Не называют их имена? Почему в суд не ведут?.. Как он пел:

Господа офицеры — голубые князья!  
Я, наверно, не первый,  
И последний не я...

Ходила в церковь, с батюшкой беседовала.

— У меня сын погиб. Необыкновенный, любимый. Как мне теперь себя вести с ним? Какие наши русские обычаи? Мы их забыли. Хочу их знать.

— Он крещённый?

— Батюшка, мне очень хочется сказать, что он крещённый, но нельзя. Я была женой молодого офицера. Мы жили на Камчатке. Под вечным снегом... В снежных землянках... Здесь у нас снег белый, а там голубой и зелёный, перламутровый. Он не блестит и не режет глаза. Чистое пространство... Звук идёт долго... Вы меня понимаете, батюшка?

— Матушка Виктория, плохо, что не крещённый. Наши молитвы к нему не дойдут.

У меня вырвалось:

— Так я окрещу его сейчас! Своей любовью, своими муками. Через муки я его окрещу...

Батюшка взял мою руку. Она дрожала.

— Нельзя так волноваться, матушка Виктория. Как часто ты ходишь к сыну?

— Каждый день хожу. А как же? Если бы он жил, мы каждый день с ним бы виделись...

— Матушка, нельзя его беспокоить после пяти вечера. Они уходят в покой.

— Я на службе до пяти, а после службы подрабатываю. Памятник

новый ему поставила... Две с половиной тысячи... Долги надо отдать.

— Слушай меня, матушка Виктория, в выходной день приходи обязательно и каждый день к обедне — к двенадцати часам. Тогда он тебя слышит...

Дайте мне муки, самые печальные, самые страшные, пусть только доходят до него мои молитвы, моя любовь. Я встречаю на его могилке каждый цветок, каждый корешок, стебелёк: «Ты оттуда? Ты от него?.. Ты от сына моего...»

*Мать*

## Из дневниковых записей после книги

*19 января 1990 года*

Я слышу мир через человеческие голоса. Они всегда гипнотизируют меня, оглушают и очаровывают. У меня большое доверие к самой жизни. Наверное, это моё видение мира. Вначале мне казалось, что опыт первых двух книг в этом жанре — «жанре голосов» (так зову его про себя) будет помехой в работе, всюду придётся наткнуться на самое себя. Напрасный страх. Совершенно другая война: другое оружие — более мощное и беспощадное, взять, к примеру, пулемёт и ракетную установку «Град», способную распылить скалу; другая человеческая психология — мальчишек вырывали из обыкновенной жизни: училище, школа, музыка, танцплощадка — и бросали в ад, в грязь. Восемнадцатилетних мальчиков, десятиклассников, которым можно было внушить все. Это потом к ним придёт: «Я ехал на Великую Отечественную войну, а попал на другую», «Хотел стать героем, а теперь не знаю, кого из меня сделали». Прозрение придёт, но придёт не скоро и не ко всем.

«Два условия требуется для того, чтобы страна увлеклась боем быков. Во-первых, быки должны быть выращены в этой стране, и, во-вторых, народ её должен интересоваться смертью...»

(Э. Хемингуэй. «Смерть после полудня»).

Сразу же после публикаций отрывков из книги в нескольких газетах и белорусских журналах на меня обрушился шквал мнений, оценок, убеждений и предубеждений, вопросов и даже окриков (без которых мы все ещё не мыслим духовную жизнь общества). Писали, звонили, приходили. Меня не покидало все время чувство, что книга ещё пишется...

*Из писем:*

«Невозможно читать... Хочется плакать, кричать... Может, только сейчас понял, что это была за война... Бедные мальчики, как мы перед ними виноваты! Что мы знали об этой войне? Каждого бы обнял, у каждого попросил прощения... Я не ездил на эту войну, но я был на этой войне.

Теперь вспоминаю, как это было со мной. С нами...

Читал у Ларисы Рейснер, что Афганистан — полудикие племена,

приплясывая, напевают: «Слава русским большевикам, которые помогли нам победить англичан».

Апрельская революция. Удовлетворение — ещё в одной стране победил социализм. А сосед в поезде шёпотом: «Новые нахлебники на нашу шею».

Смерть Тараки. На семинаре в горкоме на вопрос: почему позволили Амину убить Тараки — лектор из Москвы отрезал: «Слабые должны уступить место сильным». Впечатление было неприятным.

Наш десант в Кабуле. Объяснение: «Американцы собирались бросить свой десант, мы опередили их всего на один час». Одновременно слухи: нашим там плохо, нечего есть, нет тёплой одежды. Сразу вспомнились события на Даманском и жалобные крики наших солдат: «Нет патронов!!»

Потом появились афганские дублёнки. Выглядели они на наших улицах шикарно. Другие женщины завидовали тем женщинам, у которых мужья были в Афганистане. В газетах писали: «Наши солдаты сажают там деревья, ремонтируют мосты, дороги».

Ехал из Москвы. В купе молодая женщина и её муж. Заговорили об Афганистане. Я сказал что-то газетное, они усмехнулись. Они уже два года врачами в Кабуле. Сразу начали оправдывать военных, которые привозят оттуда товар... Там все дорого, а платят мало. В Смоленске помог им высадиться. Много больших картонных коробок с импортными наклейками...

У себя дома рассказ жены: в соседнем доме у одинокой женщины единственного сына отправляли на эту войну. Куда-то ездила, ползала на коленях, целовала сапоги. Вернулась довольная: «Выпросила!» И в то же время спокойно о том, что «начальство своих выкупает».

Вернулся из школы сын: «Выступали «Голубые береты». С восторгом: «Какие у них у всех японские часы!»

У одного «афганца» спросил, сколько стоят такие часы и сколько им платили. После заминки открылся: «Украли машину овощей, продали...» Признался, что все завидовали солдатам на топливозаправщиках: «Миллионеры!»

Из последних событий запомнилась травля академика Сахарова, с которым я согласен в одном: для нас всегда лучше мёртвые герои, чем живые люди, может, в чем-то оступившиеся. И ещё: недавно услышал, что в Загорске в духовном учебном заведении учатся «афганцы» — рядовые и два офицера. Что двигало ими — раскаяние, желание спрятаться от этой жестокой жизни или желание обрести хоть какую-то духовность? Не все ведь могут, получив ветеранские коричневые корочки, закормить душу

льготным мясом, переодеть её в импортное барахло и закопать на привилегированном садовом участке под яблонькой, чтобы ничего не видеть и молчать...»

(Н. Гончаров,  
г. Орша)

\* \* \*

«Я из тех, кто там был. Хотя мне с каждым годом все труднее отвечать на вопрос: «Ты — не солдат, зачем туда поехала?» Что женщине было там делать? Чем больше проклятий в адрес этой войны, тем хуже к нам, вернувшимся оттуда, относятся. Нас все больше не понимают.

Это была спрятанная война, как её сейчас называли. Люди вокруг удивлялись: «Едешь в Афганистан? Зачем? Там убивают». А мы — жертвы слепой веры. Нам говорили об идеалах Апрельской революции. Мы поверили, потому что мы все привыкли верить, со школьной скамьи. Я убеждаю вас, что это было именно так. Со всеми!

Потом все перевернулось. Вернулись мы другими. Было желание пойти и рассказать кому-то правду. Я ждала, что кто-то первый начнёт, что это все равно когда-то произойдёт...

Если бы передо мной снова встал этот выбор, сейчас бы я в Афганистан не поехала. «Убери! Сотри из памяти, чтобы никто не знал, что ты там была», — пишет мне подруга. Нет, стирать не буду, а разобраться хочу. Время, которое там осталось... Эти годы... Они могли пройти по-другому, в другом месте... Нет, если быть глубоко честной, то я не жалею. Осталось чувство, что ты разделила эту тяжесть, что там удалось испытать большие порывы. Там мы поняли, что нас обманули. Там задумались: почему мы так легко обманулись? Почему нас так просто обманывать? Помню, как у меня расширились глаза, когда я увидела, как много женщин едет на эту войну. Не представляла ничего подобного. Ехала и думала, что я одна такая идиотка, в душе все-таки считала себя ненормальной. А таких, оказалось, тысячи. Конечно, у каждой присутствовал и практический интерес — хотелось заработать, может, и личную судьбу устроить, но наверху, в душе — все-таки жила вера. Мы ехали, чтобы стать нужными, чтобы помочь. Я считала, что женщина должна быть на любой войне. Может, я не могла представить себе другую войну, не такую, как Великая Отечественная. Разве может военный госпиталь обойтись без женщин? Лежат обнажённые... Лежат истерзанные... Даже просто руку положить,

передать какой-то заряд. Это же милосердие! Это же для женского сердца работа. Встречала там мальчиков, которые сами напрашивались в опасные операции. Они проявляли героизм, не задумываясь. Они погибали.

Простите, что так сбивчиво высказываю свои мысли... Очень волнуюсь... О многом хочется сказать... Миф о фронтовом братстве родился здесь. Там его не было. Там все можно было купить и продать, в том числе и женщину. На одну ночь... За одну кофточку или косметический набор... Да! Да! Но все равно не это, наверное, главное. Несмотря ни на что, мы оставались романтиками. Верили! Самое страшное произошло потом: уезжали мы из государства, которому эта война была нужна, вернулись в государство, которому эта война не нужна. Обидно не за то, что там что-то не дали, недодали, нет. Нас вычеркнули. Ещё неравно это называлось «интернациональным долгом», сейчас — глупостью. Когда эту грязь перешагнули? Самый большой вопрос. Ищу сравнение... Альпинист поднялся в горы, очень высоко был... И упал, сломал ногу... Его все время тянет в горы... Его всю жизнь будет тянуть в горы... В нас живёт ностальгия... Особенно у мужчин. Они рисковали жизнью, они убивали. И они считают, что они какие-то особенные, раз они убивали. Их коснулось что-то, что не коснулось других. Может, это болезнь какая-то в нас сидит... Или мы ещё не вернулись?..»

*(Г. Халиулина,  
служащая)*

\* \* \*

«Когда началась война в Афганистане, мой сын только закончил школу и поступил в военное училище. Все эти десять лет, пока другие сыновья находились в чужой стране с оружием в руках, сердце моё было не на месте. И мой мальчик мог оказаться там. И неправда, что народ ничего не знал. Привозили в дома цинковые гробы, возвращались к ошеломлённым родителям искалеченные дети — это же видели все. Конечно, по радио и телевизору об этом не говорили, вы в своей газете об этом не писали (недавно осмелели!), но ведь это на глазах у всех происходило. У всех! А что же тогда делало наше «гуманное» общество и мы с вами в том числе? А наше общество вручало «великим» старцам очередные Звезды, выполняло и перевыполняло очередные пятилетки (правда, в наших магазинах как было, так и оставалось пусто), строило дачи, развлекалось. А восемнадцатилетние - двадцатилетние мальчики в это время шли под пули,



падали лицом в чужой песок и погибали. Кто же мы такие? По какому праву мы можем спросить у наших детей за то, что они там творили? Разве мы, которые оставались здесь, чище их? Их хотя бы страдания и муки очистили от грязи, а вот нам уже никогда не очиститься. Расстрелянные и стёртые с лица земли кишлаки, разорённая чужая земля не на их совести, а на нашей с вами. Убивали мы, а не наши мальчишки. Это мы — убийцы и своих детей, и чужих.

А мальчишки эти — герои! И не за «ошибку» они там воевали. Они воевали, потому что они нам верили. Нам всем надо стоять на коленях перед ними. От одного сравнения, что делали мы тут, с тем, что выпало им, можно сойти с ума...»

(А. Голубничая,  
инженер-строитель,  
г. Киев)

\* \* \*

«Конечно, сегодня Афганистан — тема выгодная и даже модная. И вы, т. Алексиевич, можете уже сейчас радоваться, вашу книгу будут читать захлёб. Нынче у нас в стране развелось немало людей, которых интересует все, чем можно измазать стены собственного отечества. Будут среди них и некоторые «афганцы». Ибо они (не все, не все!) получают в руки так нужное им оружие защиты: посмотрите, что с нами сделали! Подлые люди всегда нуждаются в чьей-то защите. Порядочным это не нужно только потому, что в любой ситуации они остаются порядочными. Среди «афганцев» таких вполне достаточно, но вы, кажется, искали не их.

Я не был в Афганистане, но прошёл всю Великую Отечественную войну. И отлично знаю, что грязь была и там. Но я не хочу о ней вспоминать и никому другому не позволю. Дело не только в том, что та война была иная. Глупость! Всем известно, человек для того, чтобы жить, обязан питаться, а употребление пищи требует, извините, и отхожих мест. Но мы же об этом вслух не говорим. Почему же об этом стали забывать пишущие об афганской да и об Отечественной войне? Если сами «афганцы» протестуют против подобных «откровений», надо прислушаться, изучить этот феномен. Мне, например, понятно, отчего они так яростно восстают. Существует нормальное человеческое чувство — стыд. Им стыдно. А вы заметили их стыд, но почему-то решили, что этого мало. И решили вынести его на всеобщее судилище. Там они

расстреливали верблюдов, там погибали от их пуль мирные жители... Вы хотите доказать ненужность и ущербность этой войны, не понимая, что тем самым оскорбляете её участников, ни в чем не повинных мальчишек...»

(Н. Дружинин,  
г. Тула)

*Из звонков:*

— Ладно, мы не герои, а сейчас получается, что мы — убийцы. Убивали женщин, детей, домашних животных. Может, через тридцать лет я сам скажу сыну: «Сын, не все было так героически, как написано в книгах, была и грязь...» Я сам скажу, но через тридцать лет... А сейчас это ещё живая рана, только-только начала заживать, затягиваться плёночкой. Не сдирайте! Больно... Очень больно...

\* \* \*

— Как вы могли! Как смели облить грязью могилы наших мальчиков... Они до конца выполнили свой долг перед Родиной... Вы хотите, чтобы их забыли... По всей стране созданы сотни школьных музеев, уголков... Я тоже отнесла в школу шинель сына, его ученические тетрадки... Они служат примером... Зачем нам ваша страшная правда? Я не хочу её знать!!! Мечтаете славу нажить на крови наших сыновей... Они — герои! Герои!!! О них красивые книги надо писать, а не делать из них пушечное мясо...

\* \* \*

— На могильной плите сына выбила: «Помните, люди: он погиб ради жизни живых». Теперь я знаю, что это неправда, не ради жизни живых он погиб. Сначала обманули меня, потом я помогла обмануть его. Мы все так умели верить! Я твердила ему: «Люби Родину, сынок, она тебя никогда не предаст, не разлюбит». Теперь я хочу другие слова написать на его могиле: «За что?!»

\* \* \*

— Мне принесли газету соседи: «Прочти. Это та война, о которой ты нам рассказывала». Я не верила. Я не верила, что это можно написать, напечатать. Мы ведь давно привыкли жить в двух измерениях: в газетах и книгах — одно, а в жизни — совсем другое. И если газеты похожи на жизнь, мы скорее испытываем внутренний дискомфорт, чем удовлетворение. Все было так, как вы пишете, даже было ещё страшнее и безвыходнее. Хочу вас видеть, хочу рассказать...

\* \* \*

— Я каждое утро вижу затылок сына, но до сих пор не верю, что он дома. Когда он был там, я себе говорила, если привезут гроб, то у меня два пути: на улицу на митинг или в церковь. Приглашали в школу, где он учился: «Расскажите о сыне, у него два ордена Красной Звезды». Нет, я не пошла в школу. Мне сорок пять лет. Своё поколение я называю «поколением исполнителей». Афганская война — пик нашей трагедии. Вы попали в самый нерв, потому что спросили нас и наших детей: кто мы? Почему с нами можно делать все?..

\* \* \*

— На работе у себя услышала: «Ах, какие они страшные!» Об «афганцах». Да мы все сейчас такие. Они такими отсюда уехали, а не вернулись оттуда такими. Я иногда даже думаю, что война была для них более чистым временем, чем наша действительность. Вот почему они тоскуют...

\* \* \*

— Сколько можно нас превращать в душевнобольных, насильников, наркоманов? Нам там кричали другое: прорабы перестройки, встряхните дома стоячее болото! Мы вернулись, чтобы навести порядок... А нас не пускают... Нам твердят: «Учитесь, ребята... Семьи заводите...» Для меня это было потрясением: кругом спекуляция, мафия, равнодушие — а нас к серьёзному делу не подпускают... Я был в растерянности, пока мне один умный человек не объяснил: «А что вы умеете? Только стрелять... А что вы

знаете? Что Родину только с пистолетом защищают? Что справедливость только автоматом восстанавливают?» Только тогда я задумался... Сказал себе: будь проклят мой автомат... Он действительно все ещё висит у меня за спиной...

\* \* \*

— Читала и плакала... Но перечитывать вашу книгу не буду... Из-за элементарного чувства самосохранения... Не уверена, надо ли нам узнавать о себе такое? Слишком страшно... Остаётся в душе пустота... Не веришь человеку... Боишься человека...

\* \* \*

— Послушайте, как все надоели! Почему, если и пишете о девчонках, которые были в Афгане, то обязательно выставив их в роли проституток? Я не отрицаю, было и такое, но не со всеми. Прямо душа рвётся на крик. Зачем нас всех под одну гребёнку? Загляните в наши души, что там творится.

Первые полгода после возвращения я не могла уснуть ночью. А когда засыпала, неизменно снились трупы, обстрелы. В ужасе вскакивала. Закрою глаза, все повторяется снова. Не выдержала, пошла к невропатологу. Не просила больничный лист, хотя бы таблетки, совет, а услышала: «Вы что, так много трупов видели?» Ох, как мне хотелось заехать по его молодой роже. Конечно, ни к какому врачу я больше не пошла. С каждым днём я все больше и больше не хочу жить. Никого не хочу видеть и слышать. А спрятаться негде — проклятый жилищный вопрос! Я ничего ни у кого не прошу, мне уже не надо. Но помогите тем, кто ещё ждёт от вас помощи. С теми, с кем я переписываюсь, творится то же самое, значит, и с остальными тоже. Хотите убедить всех, что мы — жестокие. А догадываетесь ли, какие жестокие вы?

Имени своего не называю. Считайте, что у меня уже нет...

\* \* \*

— Вы хотите меня убедить, что вернулось больное поколение, а я

утверждаю, что вернулось найденное поколение. Мы хотя бы посмотрели, какие наши парни — в настоящей жизни! Да, гибли мальчики. А сколько их гибнет в пьяной драке, в поножовщине? Где-то читал (но жаль, не запомнил цифру), что в автомобильных катастрофах за один год гибнет людей больше, чем мы потеряли за все десять лет этой войны. Наша армия давно не воевала. Тут мы проверяли себя, проверяли современное оружие... Эти мальчики все — герои! А из-за таких, как вы, мы сегодня сдаём свои позиции во всем мире... Польшу потеряли... Германию потеряли. Чехословакию... Скажите мне, где наша великая держава? А я за неё до Берлина в сорок пятом дошёл...

\* \* \*

— Мы требуем к себе справедливости... И только сейчас я спросил себя: но сами мы пришли с войны, где не было справедливости?.. Откуда у нас такое обнажённое чувство справедливости? Право на неё... Прошу мою фамилию не называть... Не хочу косых взглядов...

\* \* \*

— Зачем об ошибках?.. Думаете, эти разоблачительные публикации в газетах... Думаете, они помогают? Мы лишаем молодёжь нашей героической истории. Люди там гибли, а вы об ошибках пишете... Получается, что герои не те, кого в инвалидных колясках матери возят, у кого под джинсами протезы, а те, кто ноги себе на мотоциклах ломал, чтобы в армию не попасть, кто в плен сдавался?

\* \* \*

— На юге у моря увидела, как несколько молодых парней ползли на руках по песку к морю... Ног у них было меньше, чем их самих, вместе взятых... И я не пошла больше на пляж, я не могла там загорать, я могла там только плакать. Они ещё смеялись, хотели ухаживать за девочками, а все от них бежали, как я... Я хочу, чтобы у этих ребят все было хорошо. Чтобы они знали: они нужны нам такие, какие они есть. Им надо жить! Я люблю их за то, что они живы.

\* \* \*

— У меня там погиб единственный сын. Я утешался тем, что воспитал героя, а если верить вам — не героя, а убийцу и захватчика. Что же получается? Мужество и отвага наших сыновей, когда они, смертельно раненные, взрывали гранату у себя на груди, чтобы не уронить чести советского солдата, или ложились на гранату, чтобы спасти от гибели своих боевых товарищей, — обман?!

Зачем? С какой целью вы поднимаете тёмное, а не светлое, высокое в человеке? Забыли Горького: «Человек — это звучит гордо!»?

\* \* \*

— Как я понимаю, ваш идеал «Рембо из Тамбова»? А нас воспитывали на Павке Корчагине...

\* \* \*

— Да, были там преступники, наркоманы, мародёры. А что, в нашей мирной жизни таких нет? Воевавшие в Афгане — жертвы, на такой оценке я настаиваю. И все они нуждаются в психологической реабилитации.

Я где-то читал исповедь американского солдата, ветерана войны во Вьетнаме, он говорил страшную вещь: «У нас в Америке спустя восемь лет после окончания войны количество самоубийц — бывших солдат и офицеров — сравнялось с количеством боевых потерь». Нам надо думать о душах наших «афганцев»...

\* \* \*

— Миллион (или пусть даже сотни тысяч) жизней, погубленных на «той стороне», — это люди, которые боролись за свои интересы и свою свободу. И посягательства на их человеческие права не есть героизм, под каким бы «соусом» оно нам сегодня ни подавалось. Хотя там и погибнуть можно было, и проявить прочую удачу. Главный критерий: во имя чего все это? Довольно героизмовать «афганцам»! Мы вам сочувствуем.

Парадокс!.. Да, угнетённые, безнравственные люди могли быть вынуждены участвовать в войне. Но они, и сами погибая, несли разрушения и смерть другому народу. И это уже не подвиг, а преступление, если хотите. Покаяние должно принести вам облегчение, участники бесславной эпопеи.

Опубликуйте моё мнение. Я хочу знать, какую грязь выльют на меня «герои нашего времени».

\* \* \*

— Я не знаю: что мой сын делал в Афганистане и почему он там был? Ещё шла война, я об этом говорил. Меня чуть из партии не исключили. Исключили бы, если бы как раз в это время сына не привезли в цинковом гробу... Я не смог его даже похоронить по русскому обычаю... Как в старину говорили: «под образами и на полотенцах...».

\* \* \*

— Мне до сих пор мучительно вспоминать... Мы ехали в поезде... И в купе одна женщина сказала, что она — мать офицера, погибшего в Афганистане... Я понимаю... Она — мать. Она плачет. Но я сказала: «Ваш сын погиб на неправой войне... Душман защищал свою родину...»

\* \* \*

— Забрали детей... Уничтожили... За что? Они что — Родину защищали? Южные границы... А ты сиди сейчас одна в двух комнатах, плачь... Три года уже... Каждый день на кладбище... Там мы свадьбу играем, внуков своих бабуляем...

Звонят из военкомата по телефону: «Приходите, мамаша, орден за сына получить». Дали орден Красной Звезды... «Скажите, мамаша, слово». — «Посмотрите, — показываю орден, — это кровь моего дитенка». Вот моё слово...

\* \* \*

— Нас ещё позовут, нам ещё дадут в руки оружие, чтобы мы навели в стране порядок. Думается, что очень скоро кое-кому придётся ответить за все! Только печатайте больше фамилий и не скрывайтесь за псевдонимами.

\* \* \*

— Обыватель сейчас во всем винит этих восемнадцатилетних мальчиков... Вот что вы сделали... Эту войну надо от них отделить... Война была преступная, её уже осудили, а мальчиков надо защищать.

\* \* \*

— Я — учитель русской литературы. Много лет повторял своим ученикам слова Карла Маркса: «Смерть героев подобна закату солнца, а не смерть лягушки, лопнувшей от натуги». Чему учит ваша книга?

\* \* \*

— Из потерянных людей нас хотят превратить в надёжных защитников системы (мы уже проверены на верность ей). И сегодня снова посылают в Чернобыль, в Тбилиси, в Баку, на разорвавшийся газопровод...

\* \* \*

— Я не хочу рожать детей... Боюсь... Что они скажут, когда вырастут? Обо мне... Я была там... Об этой войне... Война была грязная, так надо и называть её грязной... Мы промолчим... Дети скажут.

\* \* \*

— Стыдно признаться... Вернулся оттуда, жалел, что у меня нет ордена... Даже медальки нет... А теперь рад, что никого не убил...



\* \* \*

— У нас человек многое загоняет в подполье... Мы ничего не знаем о себе... Что, например, нам известно о жестокости подростков? Какая у нас литература, наука об этом? А зачем она нам была до недавнего времени: советские подростки — самые лучшие в мире. У нас нет наркомании, нет насилия, грабежей. Оказалось, что все есть, в полном наборе. А там этим подросткам ещё дали в руки оружие... И внушили — вот он, враг: душманская банда, душманская братия, душманское отребье, бандформирования душманов, бандитские группировки... Они возвращаются и рассказывают, как стреляли, как забрасывали дувал гранатами... Как убитые лежали... И для них это норма... Прости им, Господи, ибо не ведали, что творили...

\* \* \*

У кого спросить вслед за Артуром Кестлером: «Почему, когда мы говорим правду, она неизменно звучит как ложь?.. Почему, провозглашая новую жизнь, мы усеиваем землю трупами? Почему разговоры о светлом будущем мы всегда перемежаем угрозами?»

Расстреливая притихшие кишлаки, бомбя дороги в горах, мы расстреливали и бомбили свои идеалы. Эту жестокую правду надо признать. Пережить. Даже наши дети научились играть в «духов» и в «ограниченный контингент». Теперь давайте все-таки наберёмся мужества узнать о себе правду. Невыносимо. Нестерпимо. Знаю. На себе проверила. До сих пор стоит в ушах крик двадцатилетнего мальчишки: «Не хочу слышать о политической ошибке! Не хочу!!! Если это ошибка, верните мне мои ноги... Две мои ноги...» Тот, что на соседней койке, говорил спокойно, тихо: «Назвали четыре имени... Четырех мёртвых... И больше нет виноватых... Нас будете судить!!! Да, убивали! Да, стрелял... Вы оружие нам вручили в «Зарницу» играть с братьями по классу?.. Вы думали, ангелы возвратятся?!»

Два пути: познание истины или спасение от истины. Опять спрячемся?  
У Ремарка в «Чёрном обелиске»:

«Странная перемена, начавшаяся вскоре после перемирия,  
продолжается. Война, которую почти все солдаты в 1918 году

ненавидели, для тех, кто благополучно уцелел, постепенно превратилась в величайшее событие их жизни. Они вернулись к повседневному существованию, которое казалось им, когда они ещё лежали в окопах и проклинали войну, каким-то раем. Теперь опять наступали будни с их заботами и неприятностями, а война вспоминается как что-то смутное, далёкое, отжитое, и поэтому, помимо их воли и почти без их участия, она выглядит совсем иначе, она подкрашена и подменена. Массовое убийство представало как приключение, из которого удалось выйти невредимым. Бедствия забыты, горе просветлело, и смерть, которая тебя пощадила, стала такой, какой она почти всегда бывает в жизни, — чем-то отвлечённым, уже нереальным. Она — реальность, только когда поражает кого-то рядом или тянется к нам самим. Союз ветеранов был в 1918 году пацифистским, сейчас у него уже резко выраженная националистическая окраска. Воспоминания о войне и чувство боевого товарищества, жившее почти в каждом из его членов, Волкенштейн ловко подменил гордостью за войну. Тот, кто лишён национального чувства, чернит память павших героев, этих бедных обманутых павших героев, которые охотно бы ещё пожили на свете».

Когда вижу, как надевают «афганскую» форму, прикалывают медаль «От благодарного афганского народа» и идут к ребятам в школу — не понимаю! Когда заставляют мать десять - двадцать раз рассказывать о погибшем сыне и она после всего еле добирается до дома — не понимаю.

У нас было много богов, одни теперь на свалке, другие — в музее. Сделаем же богом Истину. И будем отвечать перед ней каждый за своё, а не как нас учили — всем классом, всем курсом, всем коллективом... Всем народом... Будем милосердны к тем, кто заплатил за прозрение больше нас. Помните: «Я своего друга... Я свою правду в целлофановом мешке с боевых нёс... Отдельно голова... Отдельно руки, ноги... Сдёрнутая кожа...»

Лев Толстой окончил «Войну и мир» на границах Отечества. Русский солдат пошёл дальше, а великий писатель за ним не пошёл...

Всю жизнь теперь на нашей земле эти могильные красные камни с памятью о душах, которых уже нет, с памятью о нашей наивной доверчивой вере:

**ТАТАРЧЕНКО ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ (1961–1981)**

Выполняя боевое задание, верный воинской присяге,  
проявив стойкость и мужество, погиб в Афганистане.

Любимый Игорек, ты ушёл из жизни, не познав её  
Мама, папа

**ЛАДУТЬКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ (1964–1984)**

Погиб при исполнении интернационального долга.

Ты честно выполнил свой воинский долг.  
Себя уберечь, мой сыночек, не смог.  
На афганской земле ты погиб, как герой,  
чтоб мирное небо было над страной.

*Дорогому сыночку от мамы*

**БАРТАШЕВИЧ ЮРИЙ ФРАНЦЕВИЧ (1967–1986)**

Геройски погиб при исполнении интернационального долга.  
Помним, любим, скорбим  
Память родных

**БОБКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ (1964–1984)**

Погиб при исполнении интернационального долга.  
Зашла луна, погасло солнышко,  
дорогой сыночек, без тебя.  
Мама, папа

**ЗИЛФИГАРОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ (1964–1984)**

Погиб, верный воинской присяге.  
Не сбылись желанья, не сбылись мечты,  
рано закрылись глазки твои.  
Олежек, сыночек, братишка родной,  
не высказать боль расставанья с тобой.  
Мама, папа, братики и сестрички

***КОЗЛОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (1961–1982)***

Погиб в Афганистане.  
Единственному сыночку.  
*Мама*

***БОГУШ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ (1960–1980)***

Погиб при защите Родины.  
Опустела без тебя земля...

## Ещё один рассказ вместо эпилога, он же пролог

Кто-то из поэтов сказал: «Душа ведь женщина». «У души голос женщины», — подумала я, когда ко мне пришла ещё одна мать и я услышала ещё один рассказ. Он стал эпилогом к уже написанной книге, а может, прологом к другой книге, которая ещё будет. Рассказ о невозвращенце с этой последней войны...

«...Он убил человека моим кухонным топориком, я им мясо разделяваю... Принёс и положил утром топорик назад, в шкафчик, где у меня посуда хранится. По-моему, в этот же день я ему отбивные приготовила... Через какое-то время по телевидению объявили и в вечерней газете написали, что рыбаки выловили в городском озере труп... По кускам... Звонит мне подруга:

— Читала? Профессиональное убийство... Афганский почерк...

Валик был дома, лежал на диване, книжку читал. Я ещё ничего не знала, ни о чем не догадывалась, но почему-то после этих слов посмотрела на него... С ужасом!..

Вы не слышите собачий лай? Нет? А я слышу, как только начинают об этом говорить, слышу собачий лай. Там, в тюрьме, где он сейчас сидит, большие чёрные овчарки... И люди все в чёрном, только в чёрном... Вернусь в Минск, иду по улице, из хлебного магазина иду, несу батон и молоко и слышу этот собачий лай... Оглушающий лай... Я от него слепну... Один раз чуть под машину не попала...

Я готова ходить к могильному холмику своего сына... Готова рядом там с ним лежать... Иногда завидую матерям, которые сидят у могил... Но я не знаю, как вот с этим жить... Мне иногда на кухню страшно заходить, видеть тот шкафчик, где топорик лежал... Вы не слышите лай собак? Нет?!

Сейчас я не знаю, какой он, мой сын. Какого я его получу через пятнадцать лет? Ему пятнадцать лет дали... Каким я его воспитала? Он увлекался бальными танцами... Мы с ним в Ленинград в Эрмитаж ездили... Это Афганистан отнял у меня сына...

...Получили из Ташкента телеграмму: встречайте, самолёт такой-то... Я выскочила на балкон, хотела изо всех сил кричать: «Живой! Мой сын живой вернулся из Афганистана! Эта ужасная война для меня кончилась!»

— и потеряла сознание. В аэропорт мы, конечно, опоздали, наш рейс давно прибыл, сына нашли в сквере. Он лежал на земле и за траву держался, удивлялся, что она такая зелёная. Он не верил, что вернулся... Но радости у него на лице не было...

Вечером к нам пришли соседи, у них маленькая девочка, ей завязали яркий синий бантик. Он посадил её к себе на колени, прижимает и плачет, слезы текут и текут. Потому что они там убивали детей. Это я потом поняла...

На границе таможенники срезали у него плавки американские, так что он приехал без белья. Вёз для меня халат, мне в тот год исполнялось сорок лет, халат у него забрали. Вёз бабушке платок — тоже забрали. Он приехал только с цветами, с гладиолусами... Но радости у него на лице не было...

Утром встаёт ещё нормальный: «Мамка! Мамка!» К вечеру лицо темнеет, глаза тяжёлые... Не объяснить... Если бы он пил, а то ни капли... Сидит и в стенку смотрит... Сорвётся с дивана, за куртку...

Стану в дверях:

— Ты куда, Валюшка?

Он на меня глянет как в пространство... Пошёл...

Возвращаюсь поздно с работы, завод далеко, вторая смена, звоню в дверь, а он не открывает. Он не узнает мой голос. Это так странно, ну голос друзей не узнает, но мой, тем более «Валюшка», только я его так звала. Он как будто все время ждал кого-то, боялся. Купила ему новую рубашку, стали примерять, смотрю: у него руки в порезах.

— Что это?

— Мелочь, мамка.

Потом уже узнала... После суда... Он вскрывал себе вены... В «учебке» на показательном учении он, как радист, не успел вовремя забросить рацию на дерево, не уложился в положенное время, и сержант заставил его выгрести из туалета пятьдесят вёдер и пронести перед строем. Он стал носить и потерял сознание... В госпитале поставили диагноз: лёгкое нервное потрясение... Тогда же ночью он пытался вскрыть себе вены... Второй раз в Афганистане... Перед тем как идти в рейд, пропали дефицитные детали... Кто-то вытащил... Рация не работала... Командир обвинил его в трусости, что это он детали спрятал... А они там все друг у друга воровали, машины на запчасти разбирали и несли в дуканы, продавали. Покупали наркотики...

По телевизору шла передача об Эдит Пиаф, мы вместе с ним смотрели...

— Мамка, — спрашивает он меня, — а ты знаешь, что такое

наркотики?

— Нет, — сказала я ему неправду, а сама уже следила за ним: не принимает ли он наркотики?

Нет, никаких следов не было. Но там они наркотики употребляли — это я знаю.

— Расскажи мне про Афганистан, — попросила однажды.

— Молчи, мамка!

Когда его не было дома, я перечитывала его афганские письма, хотела докопаться, понять, что с ним. Ничего особенного в них не находила, писал, что скучает по зеленой траве, просил бабушку сфотографироваться на снегу и прислать ему снимок. Но я же видела, чувствовала, что с ним что-то происходит... Мне вернули другого человека... Это был не мой сын... А я сама отправила его в армию, у него была отсрочка... Я хотела, чтобы он стал мужественным. Уверяла, что армия сделает его лучше, сильнее. Я отправила его в Афганистан с гитарой... Сделала на прощание сладкий стол... Он друзей своих позвал, девочек... Помню, десять тортов купила...

Один только раз он заговорил об Афганистане... Под вечер... Заходит на кухню, я кролика готовлю... Миска в крови... Он пальцами эту кровь промокнул и смотрит на неё... И сам себе говорит:

— Привозят друга с перебитым животом... Он просит, чтобы я его пристрелил... И я его пристрелил...

Пальцы в крови... От кроличьего мяса... Оно свежее... Он этими пальцами хватает сигарету и уходит на балкон... Больше со мной в этот вечер ни слова...

Пошла я к врачам. Верните мне сына! Спасите!! Все рассказала... Проверяли они его, смотрели... Кроме радикулита, у него ничего не нашли...

Прихожу раз домой: за столом — четверо незнакомых ребят.

— Мамка, они из Афгана. Я на вокзале их нашёл. Им ночевать негде.

— Я вам сладкий пирог сейчас испеку, — почему-то обрадовалась я.

Они жили у нас неделю. Не считала, но думаю, ящика три водки выпили. Каждый вечер встречала дома уже пять незнакомых людей... Пятым был мой сын... Я не хотела слушать их разговоры, пугалась... Но в одном доме... Нечаянно подслушала... Они говорили, что, когда сидели в засаде по две недели, им давали стимуляторы, чтобы были смелее... Но это все в тайне хранится... Как убивали ножом... Каким оружием лучше убивать... С какого расстояния... Об убийстве животных и людей говорилось с одинаковым чувством... Потом я это вспомнила... Когда

случилось... Я стала думать, лихорадочно вспоминать... А до того был только страх. «Ой, — говорила я себе, — они все какие-то сумасшедшие, все ненормальные».

Ночью... Перед тем днём, когда случилось, когда он убил... Мне был сон, что я жду сына, его нет и нет... И вот его мне приводят... Приводят те четыре «афганца»... И бросают на грязный цементный пол... Вы понимаете, в доме цементный пол... У нас на кухне... Мы остаёмся вдвоём...

Перед тем, как он их нашёл на вокзале, привёл в дом, он уже поступил на подготовительный факультет в радиотехнический институт. Хорошее сочинение написал. Счастливый был, что у него все хорошо. Я даже начала думать, что он успокаивается... Пойдёт учиться... Женится... Когда они уехали, к нему опять все вернулось... Сядет и весь вечер в стенку смотрит. Заснёт в кресле... Мне хочется броситься, закрыть его собой и никуда не отпускать... А теперь мне снятся сны: он маленький и просит кушать... Он все время голодный... Руки тянет... Всегда во сне вижу его маленьким и униженным... А в жизни?! Раз в два месяца свидание... Четыре часа разговора через стекло... В год два свидания, когда я могу его хотя бы покормить... Обнять... И этот лай собак... Мне снится лай собак... Он гонит меня отовсюду...

За мной стал ухаживать один мужчина... Цветы принёс... Когда он принёс мне цветы, я их увидела. «Отойдите от меня, — стала кричать, — я — мать убийцы». Первое время я боялась даже в дом войти, в ванной закрыться, ждала, что стены на меня рухнут. Мне казалось, что на улице все меня узнают, показывают друг другу, шепчут: «Помните тот жуткий случай... Это её сын убил... Четвертовал человека... Афганский почерк...»

Шло следствие... Оно шло несколько месяцев... Он молчал... Я поехала в Москву... в военный госпиталь Бурденко... Нашла там ребят, которые служили в спецназе, как и он... Открылась им...

— Ребята, за что мой сын мог убить человека?

— Значит, было за что.

Я должна была сама убедиться, что он мог это сделать. Убить! Долго их выпрашивала и поняла: мог. Разговор о смерти, об убийстве не вызывал у них особенных чувств, таких чувств, какие она обычно вызывает у нормального человека, не видевшего кровь. Они говорили об Афганистане как о работе, где надо убивать. Потом я встречала парней, которые тоже были в Афганистане и, когда случилось землетрясение в Армении, поехали туда со спасательными отрядами. Меня интересовало, я уже на этом застолбилась: было ли им страшно? Что они испытывали при виде смерти?



Нет, им ничего не было страшно, у них даже чувство жалости притуплено. Оторванные. Расплющенные... Черепа, кости... Похороненные под землёй целые школы... Классы... Как дети сидели на уроке, так и ушли под землю... А они вспоминали и рассказывали о другом... Какие богатые винные склады откапывали, какой коньяк, какое вино пили... Шутили: пусть бы ещё где-нибудь тряхануло... Но чтобы в теплом месте, где виноград растёт... Они что — здоровые? У них нормальная психика? «Я его мёртвого ненавижу». Это он мне недавно написал. Уже пять лет прошло... Что там произошло? Молчит. Знаю только, что тот парень, звали его Юра, хвастался, что заработал в Афганистане много чеков. А после выяснилось, что служил он в Эфиопии, прапорщик. Про Афганистан врал... На суде только адвокат сказала, что мы судим больного. На скамье подсудимых — не преступник, а больной... Его надо лечить... Но тогда, это семь лет назад, тогда правды об Афганистане ещё не было... Их всех называли героями... Воинами-интернационалистами... А мой сын был убийца... Потому что он сделал здесь то, что они делали там... Почему же его одного судили?..

Он убил человека моим кухонным топориком... А утром принёс и положил его в шкафчик... Как обыкновенную ложку или вилку...

Вы слышите лай собак? Почему его никто не слышит? Одна я слышу...

Я завидую матери, у которой сын вернулся без обеих ног... Пусть он ненавидит всех... Пусть бросается на неё как зверь... Пусть она покупает ему проституток, чтобы он успокоился... Пусть он хочет её убить за то, что она его родила... Пусть...»

\* \* \*

Война не кончается тогда, когда перестают стрелять. Она перемещается в человеческую душу, где нельзя бывшее сделать не бывшим. И там у неё другие сроки...

1984–1985

# Суд над «Цинковыми мальчиками» (История в документах)

## Хроника суда

Недавно группа матерей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, подала в суд на писательницу Светлану Алексиевич. Их исковое заявление будет рассматриваться в народном суде Центрального района Минска.

Поводом для обращения в суд стал спектакль «Цинковые мальчики», поставленный на сцене Белорусского театра имени Янки Купалы. Затем он был записан республиканским телевидением и продемонстрирован жителям Беларуси. Матерей, несущих в себе все эти годы своё неизбывное горе, оскорбило, что их мальчики показаны исключительно как бездушные роботы-убийцы, мародёры, наркоманы и насильники, не ведающие пощады ни старому, ни малому.

(Л. Григорьев,  
«Вечерний Минск», 12 июня 1992 г.)

\* \* \*

«За «Цинковых мальчиков» — в суд» — так называлась заметка, напечатанная 22 июня в газете «На страже Октября» и в некоторых других изданиях. «Писательнице Светлане Алексиевич, — говорилось в заметке, — после выхода её книги объявили настоящую войну — автора обвиняют в искажении и фальсификации рассказов «афганцев» и их матерей. И вот очередное наступление после появления на сцене Белорусского театра имени Я. Купалы и на экранах телевидения одноимённого спектакля. Судьям Центрального района надо будет рассмотреть исковое заявление группы матерей погибших воинов-интернационалистов. Дата суда ещё не назначена. Спектакль снят со сцены...»

Мы позвонили в суд Центрального района столицы с просьбой прокомментировать это сообщение, но там оно вызвало удивление.

Секретарь С. Кульган сказала нам, что такое исковое заявление в суд не поступало...

Как пояснил нам автор заметки в газете «На страже Октября» В. Стрельский, информация была взята им из московской газеты «Красная звезда»...

*(«Чырвоная змена», 14 июля 1992 г.)*

\* \* \*

В народном суде Центрального района Минска сегодня начнётся судебный процесс по делу известной белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Судебный иск подали несколько матерей погибших воинов-интернационалистов. Алексиевич перед написанием своей нашумевшей книги «Цинковые мальчики» брала интервью у матерей погибших «афганцев», после чего, по их мнению, сильно исказила в своём произведении сообщённые ей факты.

*(«Вечерний Минск», 19 января 1993 г.)*

\* \* \*

20 января газета «Советская Белоруссия» сообщила: «В народном суде Центрального района Минска начался судебный процесс по делу писательницы Светланы Алексиевич...»

А за день до этого, 19 января, газета «Вечерний Минск» опубликовала заметку на эту же тему под заголовком «Суд над литераторами». Я специально указываю конкретные даты публикаций. Дело в следующем...

Посетив суд Центрального района столицы Беларуси, я узнал, что дело ведёт судья Городничева.

Включить диктофон она не разрешила. От каких-либо пояснений категорически отказалась, сославшись на то, что «не нужно нагнетать атмосферу». Но Городничева таки продемонстрировала папку по делу Алексиевич, которая была заведена... 20 января. То есть очевидно: материалы для печати о том, что суд идёт (!), были готовы ещё до того, как сама судья завела дело...

*(Леонид Свиридов,  
«Собеседник», № 6, 1993 г.)*

\* \* \*

В народный суд Центрального района Минска поступило два исковых заявления. Бывший «афганец», ныне инвалид, утверждает, что С. Алексиевич написала о той войне и о нем лично неправду, оклеветала. Посему должна публично извиниться, а поруганную солдатскую честь компенсировать суммой в 50 тысяч рублей. Мать погибшего офицера разошлась с писательницей в оценках советского патриотизма и его роли в воспитании молодого поколения.

С обоими истцами Светлана Алексиевич встречалась несколько лет назад в процессе работы над известной книгой «Цинковые мальчики». Оба ныне заявляют, что говорили тогда «не так», а если и говорили «так», как зафиксировано в книге, то сейчас передумали.

Небезынтересные нюансы. Солдат-истец, обвиняя писательницу в искажении фактов, в оскорблении его достоинства, ссылается на газетную публикацию 1989 года. Хотя в ней фигурирует не его, а совсем иная солдатская фамилия. Мать-истица уводит суд в лабиринты политики и психологии, откуда не вызволит и рота научных экспертов. Тем не менее оба иска приняты на судье к производству. Судебные заседания ещё не начались, но вовсю идёт досудебный допрос писательницы...

*(Анатолий Козлович,*

*«Литературная газета», 10 февраля 1993 г.)*

\* \* \*

Под судом известная белорусская писательница Светлана Алексиевич, напомнившая в своё время о том, что «У войны не женское лицо». Оказалось, что пепел Афганистана ещё стучит в сердца некоторых возмущённых читателей, не простивших С. Алексиевич «Цинковых мальчиков», документальную повесть о неизвестной афганской войне. Писательницу обвиняют в передержках, выборочном использовании представленных ей участниками войны, вдовами и матерями погибших солдат материалов. И вообще в клевете, антипатриотизме и очернительстве. Пока не ясно, будет ли дан делу «законный ход» или все-таки авторы искового заявления, потребовав некоей моральной компенсации, до суда (открытого суда) не доведут. Но сигнал характерный. Прямо встала тень майора Червонописного, поучавшего на съезде союзных депутатов

академика Андрея Сахарова, как тому следует оценивать афганскую войну.  
(Федор Михайлов,  
«Куранты», 3 февраля 1993 г.)

**Из судебного иска Ляшенко Олега Сергеевича, бывшего рядового, гранатомётчика**

6 октября 1989 года в статье «Мы возвращаемся оттуда...», опубликованной в газете «Літаратура і мастацтва», были напечатаны отрывки из документальной книги Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики». Один из монологов подписан моим именем (фамилия указана неправильно).

В монологе отражён мой рассказ об афганской войне и моем пребывании в Афганистане, отношениях между людьми на войне, после войны и т. д.

Алексиевич полностью исказила мой рассказ, дописала то, что я не говорил, а если говорил, то понимал это по-другому, сделала самостоятельные выводы, которые я не делал.

Часть высказываний, которые написала С. Алексиевич от моего имени, унижают и оскорбляют мою честь и достоинство.

Это следующие фразы:

1. «В Витебской «учебке» не было секретом, что нас готовят в Афганистан. Один признался, что боится, мол, нас там всех перестреляют. Я стал его презирать. Перед самым отъездом ещё один отказался ехать...

Я считал его ненормальным.

Мы ехали делать революцию».

2. «Через две-три недели от тебя ничего прежнего не остаётся, только твоё имя. Ты — это уже не ты, а другой человек. И этот человек при виде убитого уже не пугается, а спокойно или с досадой думает о том, как будут его стаскивать со скалы или тянуть по жаре несколько километров.

...Ему знакомо собственное и чужое возбуждение при виде убитого: не меня! Вот такое превращение... Почти со всеми».

3. «Я был приучен стрелять, куда мне прикажут. Стрелял, не жалея никого. Мог убить ребёнка... Каждый хотел вернуться домой. Каждый старался выжить. Думать было некогда... К чужой смерти я привык, а собственной боялся».

4. «Не пишите только о нашем афганском братстве. Его нет. Я в него не верю. На войне нас объединял страх. Нас одинаково обманули... Здесь нас объединяет то, что у нас ничего нет. У нас одни проблемы: пенсии, квартиры, лекарства... мебельные гарнитуры. Решим их, и наши клубы

распадутся.

Вот я достану, пропихну, выгрызу себе квартиру, мебель, холодильник, стиральную машину, японский «видик» — и все! Молодёжь к нам не потянулась. Мы непонятны ей. Вроде приравнены к участникам Великой Отечественной войны, но те Родину защищали, а мы? Мы, что ли, в роли немцев — так мне один парень сказал.

А мы на них злы. Кто там со мной не был, не видел, не пережил, не испытал — тот мне никто».

Все эти высказывания глубоко оскорбляют моё человеческое достоинство, так как такое не говорил, так не думаю и считаю, что эти сведения порочат мою честь как мужчины, человека, солдата...

*(Без личной подписи, 20 января 1993 г.)*

### **Из стенограммы досудебного собеседования**

Присутствовали: судья Т. Городничева, адвокаты Т. Власова, В. Лушкинов, истец О. Ляшенко, ответчица С. Алексиевич.

**Судья Т. Городничева:** Истец, вы утверждаете, что писательница исказила сообщённые вами факты?

**О. Ляшенко:** Да.

**Судья Т. Городничева:** Ответчица, прошу пояснить по существу данного вопроса.

**С. Алексиевич:** Олег, я хотела бы тебе напомнить, как ты рассказывал и плакал, когда мы встретились, и не верил, что твою правду можно будет когда-нибудь напечатать. Ты просил, чтобы я это сделала... Я написала. И что теперь? Тебя опять обманывают и используют... Во второй раз... Но ты же тогда говорил, что уже никогда не дашь себя обмануть?

**О. Ляшенко:** Побывали бы вы на моем месте: нищая пенсия, работы у меня нет, двое маленьких детей... Жену недавно тоже сократили. Как жить? На что жить? А у вас гонорары... Печатаетесь за границей... А мы, получается, убийцы, насильники...

**Адвокат Т. Власова:** Я протестую. На моего подзащитного оказывается психологическое давление. У меня отец был лётчик, генерал, он тоже погиб в Афганистане... Там все было святое... Это — святые смерти... Они выполняли присягу... Родину защищали...

**Судья Т. Городничева:** На чем настаивает истец?

**О. Ляшенко:** Чтобы писательница передо мной публично извинилась и мне был возмещён моральный ущерб...

**Судья Т. Городничева:** Вы настаиваете только на опровержении опубликованных фактов?

**О. Ляшенко:** За мою поруганную солдатскую честь я требую, чтобы С. Алексиевич заплатила мне 50 тысяч рублей.

**С. Алексиевич:** Олег, я не верю, что это твои слова. Это ты говоришь с чужих слов... Я помню тебя другого... И ты слишком дёшево оценил своё обожжённое лицо, потерянный глаз, сломанную руку. Только не меня надо звать в суд. Ты перепутал меня с Министерством обороны и Политбюро КПСС...

**Адвокат Т. Власова:** Я протестую! Это — психологическое давление...

**С. Алексиевич:** Когда мы с тобой встречались, Олег, пять лет назад, ты был честен, я боялась за тебя. Я боялась, что у тебя могут быть неприятности с КГБ, ведь вас всех заставляли подписывать бумагу о неразглашении военной тайны.

И я изменила твою фамилию. Я изменила её, чтобы защитить тебя, а теперь должна этим же от тебя сама защищаться. Поскольку там не твоя фамилия, то — это собирательный образ... И твои претензии безосновательны...

**О. Ляшенко:** Нет, это мои слова. Это я говорил... Там и то, как меня ранило... И... Там все моё...

### **Из судебного иска Екатерины Никитичны Платициной, матери погибшего майора Александра Платицина**

6 октября 1989 года в статье «Мы возвращаемся оттуда...» в газете «Літаратура і мастацтва» были опубликованы отрывки из документальной книги Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики». Один из монологов, как матери погибшего в Афганистане майора А. Платицина, подписан моим именем.

Полностью этот монолог включён в книгу С. Алексиевич «Цинковые мальчики».

В монологе, напечатанном в газете и книге, искажён мой рассказ о сыне. С. Алексиевич, несмотря на то, что книга документальная, некоторые факты добавила от себя, многое из моих рассказов опустила, сделала самостоятельные выводы и подписала монолог моим именем.

Статья оскорбляет и унижает мою честь и достоинство...

*(Без личной подписи, без даты)*

### **Из стенограммы досудебного собеседования**

Присутствовали: судья Т. Городничева, адвокаты Т. Власова, В. Лушкинов, истица Е. Платицина, ответчица С. Алексиевич.

**Судья Т. Городничева:** Мы слушаем вас, Екатерина Никитична...

**Е. Платицина:** Образ сына, запечатлённый в моем сознании, полностью не соответствует образу, выведенному в книге.

**Судья Т. Городничева:** Вы могли бы пояснить свою мысль: где, в каком месте и как искажены факты?

**Е. Платицина** *(берет в руки книгу)*: Там все не так, как я говорила. Мой сын был не такой. Он любил свою Родину. *(Плачет.)*

**Судья Т. Городничева:** Я прошу вас успокоиться и назвать нам факты.

**Е. Платицина** *(зачитывает из книги)*: «После Афганистана (это когда он приехал в отпуск) ещё нежнее стал. Все ему дома нравилось. Но были минуты, когда сядет и молчит, никого не видит — по ночам вскакивал, ходил по комнате. Один раз просыпаюсь от крика: «Вспышки! Вспышки!..» Другой раз слышу ночью: кто-то плачет. Кто может у нас плакать? Маленьких детей нет. Открываю его комнату: он обхватил голову двумя руками и плачет...»

Он был офицер. Боевой офицер. А тут он показан как плакса. Разве об этом надо было писать?

**Судья Т. Городничева:** Я сама готова заплакать. И не раз плакала, когда читала эту книгу, ваш рассказ. Но что здесь оскорбляет вашу честь и достоинство?

**Е. Платицина:** Понимаете, он был боевой офицер. Он не мог заплакать. Или вот ещё: «Через два дня был Новый год. Под ёлку спрятал нам подарки. Мне платок большой. Чёрный. «Зачем ты, сыночек, чёрный выбрал?» — «Мамочка, там были разные. Но пока моя очередь подошла, только чёрные остались. Посмотри, он тебе идёт...»

Получается, что мой сын стоял в очередях, он терпеть не мог магазины и очереди. А тут он на войне стоит в очереди... Мне, за платком... Зачем было об этом писать? Он был боевой офицер. Он погиб.

Светлана Александровна, зачем вы такое понаписали?

**С. Алексиевич:** Когда я писала ваш рассказ, я тоже плакала. И ненавидела тех, кто послал вашего сына зря погибнуть в чужой стране. И мы были тогда с вами вместе, заодно.

**Е. Платицина:** Вы говорите, что я должна ненавидеть государство, партию... А я горжусь своим сыном! Он погиб как боевой офицер. Его все товарищи любили. Я люблю то государство, в котором мы жили, СССР, потому что за него погиб мой сын. А вас ненавижу! Мне не нужна ваша страшная правда. Она нам не нужна!! Слышите?!

**С. Алексиевич:** Я, наверное, могла бы вас понять. Мы могли бы поговорить. Но почему мы должны говорить об этом в суде? Вот это я не



могу понять.

\* \* \*

...По кондовому советскому сценарию, Светлана Алексиевич организованно проклиняется как агент ЦРУ, прислужница мирового империализма, клеветущая на свою великую Родину и её героических сыновей якобы за два «мерседеса» и долларовые подачки...

Первый суд так ничем и не закончился, так как истцы — бывший рядовой О. Ляшенко и мать погибшего офицера Е. Н. Платина — не явились на судебное разбирательство. Но через полгода было подано два новых иска: от И. С. Головнёвой, матери погибшего старшего лейтенанта Ю. Головнева, председателя Белорусского клуба матерей погибших воинов-интернационалистов, и Тараса Кецмура, бывшего рядового, ныне председателя Минского клуба воинов-интернационалистов...

*(Газета «Права человека», № 3, 1993 г.)*

\* \* \*

14 сентября в Минске состоялся суд, где ответчиком выступала писательница Светлана Алексиевич.

И тут началось самое интересное.

«Исковое заявление от матери погибшего «афганца» И. С. Головнёвой поступило в суд без даты, — сказал адвокат Алексиевич Василий Лушкинов. — Нам же его копию представили вообще без подписи и, естественно, без даты. Однако это не помешало судье Татьяне Городничевой возбудить дело по 7-й статье Гражданского кодекса. Вызывает удивление и то, что само дело было процессуально не оформлено к моменту суда, то есть в книге регистрации номер его уже существовал, хотя ещё не было вынесено определение о возбуждении гражданского дела».

Однако суд состоялся... на нем председательствовал человек, дело увидевший, собственно, на самом суде. О том, что судья Т. Городничева заменена на судью И. Ждановича, Светлана Алексиевич и её адвокат узнали только за десять минут до начала заседания.

«Это скорее вопрос морали, нежели юридический вопрос», — отреагировал Василий Лушкинов.

Может быть, и так. Но за столом истцов внезапно появился ещё один герой книги Светланы Алексиевич — Тарас Кецмур, а перед судьёй И. Ждановичем легло его исковое заявление без подписи и, разумеется, без возбуждённого по этому поводу дела.

Адвокат ответчицы обратил внимание суда на этот нонсенс и заявил протест. Судебное заседание было перенесено...

(Олег Блоцкий,

«Литературная газета», 6 октября 1993 г.)

### **Из стенограммы судебного заседания 29 ноября 1993 г.**

Состав суда: судья И. Н. Жданович, народные заседатели Т. В. Борисевич, Т. С. Сороко. Истцы: И. С. Головнева, Т. М. Кецмур. Ответчица: С. А. Алексиевич.

### **Из судебного иска Инны Сергеевны Головнёвой, матери погибшего старшего лейтенанта Ю. Головнева**

В газете «Комсомольская правда» от 15.02.90 г. опубликованы отрывки из документальной повести С. Алексиевич «Цинковые мальчики» — «Монологи тех, кто прошёл Афганистан».

В опубликованном за моей фамилией монологе имеются неточности и искажения фактов, сообщаемых мною С. Алексиевич, а также явная ложь, вымыслы, т. е. изложение с моих якобы слов обстоятельств, о которых я не сообщала и не могла сообщить. Вольная интерпретация моих высказываний, а также явные домыслы, изложенные от моего имени, порочат мою честь и достоинство, тем более что повесть документальная. Как я полагаю, автор-документалист обязан в точности излагать полученную информацию, иметь записи бесед, согласовывать тексты с интервьюируемым.

Так, Алексиевич указывает в статье: «Нехорошо матери в этом признаваться... но я любила его больше всех. Больше, чем мужа, больше, чем второго сына...» (Речь идёт о моем погибшем сыне Юре.) Приведённая цитата выдуманная (не соответствует изложенному). Указание о различной якобы степени любви к членам семьи повлекло конфликты в семье и, полагаю, порочат моё достоинство.

Далее: «В первом классе он знал, читал наизусть не сказки, не детские стихи, а целые страницы из книги «Как закалялась сталь» Н. Островского.» Из приведённой фразы следует, что сын воспитывался в семье каких-то фанатиков. Я же Алексиевич рассказывала, что Юра уже в 7–8 лет читал серьёзные книги, в том числе «Как закалялась сталь».

Алексиевич искажила и мой якобы рассказ об обстоятельствах отправки сына в Афганистан. Она указывает на его якобы слова: «Я поеду в Афганистан, чтобы доказать им, что в жизни есть высокое, что не каждому нужен для счастья только забитый мясом холодильник». Ничего подобного не было. Утверждения Алексиевич порочат меня и моего сына, ничего и никому он не доказывал. Как нормальный человек, патриот, романтик, он добровольно попросился в Афганистан.

Не говорила я Алексиевич и таких фраз, когда заподозрила о намерении сына попроситься в Афганистан: ««Тебя убьют там не за Родину... Тебя убьют неизвестно за что... Разве может Родина посылать на гибель...» Я сама отправила его туда. Сама!..»

Данная цитата порочит мои честь и достоинство, представляя меня двуличным человеком с двойной моралью.

Неверно описан спор между сыновьями. У Алексиевич написано так: «Ты, Гена, мало читаешь. Никогда не увидишь книгу у тебя на коленях. Всегда гитара...»

Спор между сыновьями был лишь в одном: в выборе профессии младшего сына. Гитары у них не было.

Эта фраза Алексиевич оскорбляет меня тем, что она подчёркивает мою нелюбовь к младшему сыну. Я ей такие слова не говорила.

Считаю, что Алексиевич, решив представить события, связанные с войной в Афганистане, не только как политическую ошибку, а и как вину всего народа, тенденциозна, а зачастую и просто домысливала обстоятельства, якобы имевшие место в интервью. Цель её — преподнести наш народ — солдат, побывавших в Афганистане, их родственников — как людей беспринципных, жестоких, безразличных к чужим страданиям.

Для облегчения работы Алексиевич я предоставила ей дневник сына, однако это не помогло ей изложить обстоятельства действительно документально.

Прошу извинения Алексиевич за искажения подлинного моего материала и за опорочивание моих чести и достоинства в газете «Комсомольская правда».

*(Без личной подписи, без даты)*

### **Из судебного иска Тараса Кецмура, бывшего рядового**

В изложенном тексте моего первого искового заявления о защите чести и достоинства не указаны конкретные претензии к С. Алексиевич за её публикацию в «Комсомольской правде» (15.02.90 г.). Настоящим дополняю и подтверждаю его: все, что изложено С. Алексиевич в газетной статье и в

книге «Цинковые мальчики», — вымысел и не имело места в действительности, так как я с ней не встречался и ничего ей не говорил.

С выходом статьи 15 февраля 1990 г. в «Комсомольской правде» я прочёл следующее:

«Уехал в Афганистан со своей собакой Чарой, крикнешь «Умри!», и она падает. Если не по себе, сильно расстроен, она садилась рядом и плакала. Первые дни я немел от восторга, что там...»

«Вы, пожалуйста, никогда не трогайте этого, много сейчас умников здесь, почему же никто не положил партбилет, никто пулю себе в лоб не пустил, когда мы были там...»

«Я там видел, как выкапывают на полях железо и человеческие кости... я видел оранжевую, ледовую корку на застывшем лице убитого, да, почему-то оранжевую...»

«В моей комнате те же книги, фото, магнитофон, гитара, а я другой. Через парк не могу пройти, оглядываюсь. В кафе официант станет за спиной: «Заказывайте», — а я готов вскочить и убежать. Не могу, чтобы у меня кто-то за спиной стоял. Увидишь гада, одна мысль — расстрелять его надо».

«На войне приходилось делать прямо противоположное тому, чему нас учили в мирной жизни, а в мирной жизни надо было забыть все навыки, приобретённые на войне».

«Я стреляю отлично, прицельно метая гранаты, зачем мне это. Ходил в военкомат, просился назад, не взяли. Война скоро кончится, вернутся такие же, как и я. Нас будет больше».

Практически этот же текст я прочитал и в книге «Цинковые мальчики» с небольшими литературными поправками, где фигурирует та же собака, те же мысли вслух.

Ещё раз подтверждаю, что это чистый вымысел, приписанный к моему имени...

В связи с вышеизложенным прошу высокий суд защитить опороченную честь солдата и гражданина.

*(Без личной подписи, без даты)*

### **Из выступления И. С. Головнёвой**

Мы долго жили за границей, муж там служил. Мы вернулись на Родину осенью восемьдесят шестого. Я была счастлива, что мы наконец дома. Но вместе с радостью в дом пришло горе — погиб сын.

Месяц я лежала пластом. Не хотела никого слышать. Все было выключено в моем доме. Я никому не открывала дверей. Алексиевич была

первая, кто вошёл в мой дом. Она сказала, что хочет написать правду о войне в Афганистане. Я ей поверила. Сегодня она пришла, а завтра меня должны были положить в больницу, и я не знала: вернусь я оттуда или нет? Я не хотела жить, без сына я не хотела жить. Когда Алексиевич пришла, она сказала, что пишет документальную книгу. Что такое — документальная книга? Это должны быть дневники, письма тех, кто там был. Она мне так сказала. Я ей отдала дневник своего сына, который он там вёл. «Вы хотите написать правду, — сказала я, — вот она, в дневнике моего сына».

Потом мы с ней говорили. Я ей рассказала свою жизнь, потому что мне было тяжело, я ползала на коленках в четырех стенах. Я не хотела жить. У неё был с собой диктофон, она все записывала. Но она не говорила, что будет это печатать. Я ей рассказывала просто так, а напечатать она должна была дневник моего сына. Повесть же документальная. Я отдала ей дневник, муж специально для неё перепечатал.

Она ещё сказала, что собирается в Афганистан. Она там была в командировке, а мой сын там погиб. Что она знает о войне?

Но я ей верила, я ждала книгу. Я ждала правду: за что убили моего сына. Я писала письмо Горбачёву: ответьте мне, за что погиб мой сын в чужой стране. Все молчали...

Вот что Юра писал в дневнике:

«1 января 1986 года. Уже отсчитана половина пути, а впереди осталось так мало. И снова пламя, и снова забвение, и новый долгий путь — и так вечно, прежде чем свершится воля предназначенного. И память, бьющая плетью пережитого, кошмарными снами врывающаяся в жизнь, и призраки иного мира, иных времён и столетий, влекущие своей похожестью, но иные, не знающие истёкших дней. И не остановиться, не передохнуть, не изменить однажды предрешённого — пустота и мрак разверзнется перед отступившимся, ибо, присев отдохнуть, уже не подняться с земли. И устав, в отчаянии и боли вопиешь к пустым небесам: что там, когда сомкнут круг и путь окончен, и новый мир воссиял в своём величии? Почему мы в ответе за них? Им не дано подняться до блистательных высот, и, как бы ни был долог путь, все же дни их уже сочтены. А мы ломаем свои жизни, не зная покоя и счастья, бредём усталые и разбитые, всемогущие и бесправные, демоны и ангелы этого мира...»

Алексиевич это не напечатала, правду моего сына. Другой правды быть не может, правда у тех, кто там был. Она зачем-то описала мою жизнь. Простым, детским языком. Какая это литература? Гадкая маленькая книжонка...

Товарищи, я растила своих детей честно и справедливо. Она пишет, что мой сын любил книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Тогда эту книгу в школе проходили, как и «Молодую гвардию» Фадеева. Все эти книги читали, они были в школьных программах. А она подчёркивает, что он их читал, знал отрывки наизусть. Для чего ей нужно об этом писать? Она хочет показать его ненормальным. Фанатичным. Или она пишет: «Он жалел, что стал военным». Сын мой вырос на полигонах, он пошёл по стопам отца. У нас деды, все братья отца, двоюродные братья — все в армии. Военная династия. И в Афганистан он поехал, потому что он был честный человек. Он дал военную присягу. Раз нужно, он поехал. Я воспитала прекрасных сыновей. Ему приказали, он поехал, он был офицер. А Алексиевич хочет доказать, что я мать-убийца. И мой сын там убивал. Что выходит? Я его туда послала? И дала ему в руки оружие? Мы, матери, виноваты, что там была война? Что там убивали, грабили, курили наркотики?

И эта книга опубликована за границей. В Германии, во Франции. По какому праву Алексиевич торгует нашими погибшими сыновьями? Добывает себе славу и доллары? Кто она такая? Если это моё, я рассказала, пережила, при чем здесь Алексиевич. Поговорила, записала наши рассказы, мы ей проплакали своё горе...

Имя моё она написала неправильно: я Инна, а у неё Нина Головнева. У моего сына звание старший лейтенант, а она написала — младший. Это документальная литература, я дала ей дневник, она должна его опубликовать, и все. Я понимаю, что документальная литература — это письма, дневники. Пусть признает, что это вымысел, клевета... Написанная простым, грубым языком. Кто так пишет книги? Мы детей потеряли, а у неё слава... Пусть бы она родила сына и отправила на эту войну...

### **Из ответов на вопросы**

**Адвокат С. Алексиевич — В. Лушкинов:** Скажите, Инна Сергеевна, Алексиевич записывала ваш рассказ на диктофон?

**И. Головнева:** Она попросила разрешения включить диктофон. Я ей разрешила.

**В. Лушкинов:** А вы просили её показать потом то, что она снимет с плёнки и использует в книге?

**И. Головнева:** Я думала, что она напечатает дневник моего сына. Я уже говорила, что я понимаю, что документальная литература — это дневники и письма. А если мой рассказ, то слово в слово, как я говорила.

**В. Лушкинов:** Почему вы не подали в суд на Алексиевич сразу, когда вышла «Комсомольская правда» с отрывком из книги? А решились на это через три с половиной года?

**И. Головнева:** Я не знала, что она эту книгу будет печатать за границей. Распространять клевету... Я честно воспитала своих детей для Родины. Мы жили всю жизнь в палатках и бараках, у меня было два сына и два чемодана. Я в политику не вмешивалась... А она пишет, что наши дети — убийцы... Я поехала в Министерство обороны, я отдала им орден сына... Я не хочу быть матерью убийцы... Я отдала его орден государству...

**Общественный защитник С. Алексиевич — Е. Новиков, председатель Белорусской Лиги прав человека:** Я хочу заявить протест. Прошу внести в протокол. Из зала постоянно оскорбляют Светлану Алексиевич. Грозят убить... Даже обещают резать по кусочкам... *(Поворачивается к матерям, сидящим в зале с большими портретами своих сыновей, на которых наколоты их ордена и медали.)* Поверьте, я уважаю ваше горе...

**Судья И. Жданович:** Я ничего не слышал. Никаких оскорблений.

**Е. Новиков:** Все слышали, кроме суда...

### **Голоса из зала**

— Мы — матери. Мы хотим сказать. Мы все будем говорить. Погубили наших детей... Потом деньги себе на этом зарабатывают... А наши дети в могилках. Мы отомстим за наших детей, чтобы они могли спокойно в земле лежать...

— Будь ты проклят! Пусть тебя белая горячка возьмёт. Сделали из наших детей убийц.

— А сам ты служил в армии? Не служил... На институтской скамейке отсиживался, пока наши дети гибли.

— Не надо у матерей спрашивать: убивал её сын или не убивал? Она помнит об одном — её сына убили...

— Будь ты проклят! Будьте прокляты вы все!

**Судья И. Жданович:** Прекратите шум! Прекратите базар! Это — суд, а не базар... *(Зал неистовствует).* Объявляется перерыв на пятнадцать минут...

После перерыва в зале суда дежурит милиция.

### **Из выступления Т. М. Кецмура**

Я не готовился выступать, я буду говорить не по бумажке, нормальным языком. Как я познакомился со знаменитейшей писательницей мирового уровня? Нас познакомила фронтовичка Валентина Чудаева. Она мне сказала, что эта писательница написала книгу «У войны не женское лицо», которую читают во всем мире. Потом я на одной из встреч с фронтовиками разговаривал с другими женщинами-ветеранами, они мне сказали, что Алексиевич сумела из их жизни сколотить себе состояние и славу, теперь взялась за «афганцев». Я волнуюсь... Прошу прощения...

Она пришла к нам в клуб «Память» с диктофоном. Хотела написать о многих ребятах, не только обо мне. Почему она после войны написала свою книгу? Почему эта писательница с громким именем, мировым, молчала десять лет? Ни разу не крикнула?

Меня туда никто не посылал. Я сам просился в Афганистан, писал рапорты. Придумал, что у меня там погиб близкий родственник. Я немножко поясню ситуацию... Я сам могу написать книгу... Когда мы встретились, я с ней отказался разговаривать, я так ей и сказал, что мы сами, кто там был, напишем книгу. Напишем лучше её, потому что она там не была. Что она может написать? Только причинит нам боль.

Алексиевич теперь пишет книгу о Чернобыле. Это будет не меньшая грязь, чем та, что вылита на нас. Она лишила моральной жизни все наше «афганское» поколение. Получается, что я — робот... Компьютер... Наёмный убийца... И мне место в Новинках под Минском, в сумасшедшем доме...

Мои друзья звонят и обещают набить морду, что я такой герой... Я взволнован... Прошу прощения... Она написала, что я служил в Афганистане с собакой... Собака по дороге умерла...

Я сам в Афганистан просился... Понимаете, сам! Я не робот... Не компьютер... Я взволнован... Прошу прощения...

### **Из ответов на вопросы**

**С. Алексиевич:** В исковом заявлении, Тарас, ты написал, что никогда со мной не встречался. А сейчас говоришь, что встречался, но отказался разговаривать. Значит, ты не сам писал своё исковое заявление?

**Т. Кецмур:** Я сам написал... Мы встречались... Но я вам ничего не рассказывал...

**С. Алексиевич:** Если ты мне ничего не рассказывал, откуда я могла знать, что ты родился на Украине, болел в детстве... Поехал в Афганистан с



собакой (хотя, как ты сейчас говоришь, она по дороге умерла), и звали её Чарой...

*(Молчание.)*

**Е. Новиков:** Вы говорили, что сами попросились в Афганистан, добровольцем. Я не понял, как вы сегодня к этому относитесь? Ненавидите эту войну или гордитесь, что там были?

**Т. Кецмур:** Я не дам вам сбить меня... Почему я должен ненавидеть эту войну? Я исполнил свой долг...

### **Из разговоров в зале суда**

— Дайте нам сказать... Матерям...

— Я больше знаю, чем все вы... Мне сына в цинковом гробу привезли...

— Мы защищаем честь своих погибших детей. Верните им честь! Верните им Родину! Развалили страну. Самую сильную в мире!

— Это вы сделали наших детей убийцами. Это вы написали эту жуткую книгу... Теперь не хотят делать в школах музеи памяти наших детей, сняли их фотографии. А они там такие молодые, такие красивые. Разве у убийц бывают такие лица? Мы учили своих детей любить Родину... Зачем она написала, что они там убивали? За доллары написала... А мы — нищие... Цветов на могилу сыновьям не на что купить... На лекарства не хватает...

— Оставьте нас в покое. И почему вы бросаетесь из одной крайности в другую — сначала изображали всех героями, а сейчас все сразу стали убийцами? У нас ничего не было, кроме Афгана. Только там мы чувствовали себя настоящими мужчинами. Никто из нас не жалеет, что там был...

— Это такая страшная правда, что она звучит как неправда. Остужает. Её не хочется знать. От неё хочется защищаться.

— Для большинства эта война — нужное дело, и только для меньшинства — ужас. До сих пор. Было бы по-другому, не было бы этого суда.

— Ссылаются на приказ: мне, мол, приказали — я исполнял. На это ответили международные трибуналы: выполнять преступный приказ — преступление. И срока давности нет.

— В девяносто первом году такого суда не могло быть. Коммунисты отступили, ушли в тень. А сейчас почувствовали силу... Опять заговорили о «великих идеалах», о «социалистических ценностях»... А кто против, на тех — в суд! Как бы скоро к стенке не начали ставить... И не собрали нас в

одну ночь на стадионе за проволокой...

— Человек, выросший на войне, — это совсем другой человек.

— Я присягал... Я был военный человек...

— С войны мальчиками не возвращаются...

— Мы их воспитали в любви к Родине...

— Вы без конца клянётесь в любви к Родине, потому что хотели бы, чтобы она за все ответила, Родина, чтобы ответила, а сами вы отвечать не хотите...

### **Из почты суда**

Узнав подробности судебного дела, затеянного в Минске против Светланы Алексиевич, расцениваем его как преследование писательницы за демократические убеждения и покушение на свободу творчества. Светлана Алексиевич завоевала своими подлинно гуманистическими произведениями, своим талантом, своим мужеством широкую популярность, уважение в России и других странах мира.

Не хотим пятна на добром имени близкой нам Беларуси!

Пусть восторжествует справедливость!

*(Содружество Союзов писателей,*

*Союз российских писателей,*

*Союз писателей Москвы)*

\* \* \*

Можно ли посягать на право писателя говорить правду, какой бы трагической и жестокой она ни была? Можно ли ставить ему в вину неопровержимые свидетельства о преступлениях прошлого и, в частности, о преступлениях, связанных с позорной афганской авантюрой, которая стоила стольких жертв, исковеркала столько судеб?

Казалось бы, в наше время, когда печатное слово стало наконец свободным, когда нет больше идеологического пресса, руководящих указаний, косных установок на «единственно возможное изображение жизни в духе коммунистических идеалов», задавать такие вопросы нет никакого резона.

Увы, он есть. И красноречивое свидетельство тому — готовящийся в эти дни суд над писательницей Светланой Алексиевич, той самой, которая написала замечательную книгу «У войны не женское лицо» (о судьбе женщин — участниц Великой Отечественной), книгу «Последние

свидетели» — о детях той же Великой Отечественной, — над Светланой Алексиевич, которая вопреки стараниям официальной пропаганды и противодействию литераторов типа небезызвестного А. Проханова, заслужившего в годы афганской войны титул «неутомимого соловья генерального штаба», создала книгу «Цинковые мальчики», сумев и посмев сказать в ней страшную, переворачивающую душу правду о войне в Афганистане.

Уважая личное мужество солдат и офицеров, посланных брежневским руководством КПСС сражаться в чужую, до этого дружественную, страну, искренне разделяя скорбь матерей, чьи сыновья погибли в афганских горах, писательница вместе с тем бескомпромиссно разоблачает в этой книге все попытки героизировать позорную афганскую войну, попытки романтизировать её, развенчивает лживую патетику и трескучий пафос.

Видимо, это пришлось не по душе тем, кто и поныне убеждён, что афганская и другие авантюры канувшего в прошлое режима, оплаченные кровью наших солдат, были исполнением «священного интернационального долга», кто хотел бы обелить чёрные дела политиков и честолубцев-военачальников, кто хотел бы поставить знак равенства между участием в Великой Отечественной войне и в несправедливой, по сути, колониальной, афганской.

Эти люди не вступают в полемику с писательницей. Не оспаривают приводимых ею потрясающих фактов. И вообще не показывают своего лица. Руками других, все ещё заблуждающихся или введенных в заблуждение, они возбуждают (спустя годы после газетных публикаций и выхода в свет книги «Цинковые мальчики»!) судебное дело об «оскорблении чести и достоинства» воинов-«афганцев», тех мальчиков, о которых с таким пониманием, состраданием и сочувствием, с такой сердечной болью написала Светлана Алексиевич.

Да, она не изображала их романтическими героями. Но лишь потому, что твёрдо следовала толстовскому завету: «Герой... которого я люблю всеми силами души... был, есть и будет — правда».

Так можно ли оскорбляться за правду? Можно ли её судить?

*(Писатели — участники Великой Отечественной войны:*

*Микола Аврамчик,*

*Янка Брыль,*

*Василь Быков,*

*Александр Дракохруст,*

*Наум Кислик,*

*Валентин Тарас)*

\* \* \*

Мы, белорусские писатели Польши, решительно протестуем против судебного преследования в Беларуси писательницы Светланы Алексиевич.

Судебный процесс над писательницей — это позор для всей цивилизованной Европы!

*(Ян Чиквин,  
Сократ Янович,  
Виктор Швед,  
Надежда Артымович)*

\* \* \*

...В нашем театре уже два года идёт спектакль по повести Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики». Я хочу сказать, что зрительный зал всегда заполнен, а после окончания спектакля люди встанут и молчат. И долго не расходятся. Поэтому, когда мы узнали, что против Светланы Алексиевич затеяли судебный процесс, все были поражены: сколько же зла и лжи посеяно в человеческих душах за советские годы! Думали: чем мы можем помочь? В нашем театре — это любимый спектакль, потому что он не столько о войне, сколько о том, кто мы, какие.

Решили отослать в суд выписку из книги отзывов на спектакль. Просим зачитать на процессе эти слова, эти чувства:

Спасибо за правду, которую мы не знали. Пусть нас простят погибшие мальчики.

*(Цыганова)*

Дай Бог, мальчикам никогда не быть на войне, никогда никого не убивать...

*(Ученицы 11 «А» класса СШ № 73)*

У меня на той войне погиб друг Виктор Киян, и я очень благодарна за спектакль в память о наших женихах...

*(Е. Шаламова)*

Я это видел там, своими глазами. Спасибо за правду. И за то, что благодаря вам её услышали и увидели здесь...

*(А. Левадин)*

Отзывов десятки. Мы выбрали только несколько, но, если нужно защитить Светлану Алексиевич и её книгу, пришлём целую тетрадку...

*(К. Добрунов, главный режиссёр народного театра «Юность»,  
г. Горловка Донецкой области)*

\* \* \*

...И мой муж два года (с 1985 по 1987) был в Афганистане, в провинции Кунар, это возле самой границы с Пакистаном. Он стыдится называться «воином-интернационалистом». Мы с ним часто обсуждаем эту болезненную тему: надо ли было нам, советским, быть там, в Афганистане? И кто мы были там — оккупанты или друзья, «воины-интернационалисты»? Ответы приходят одни и те же: никто нас туда не звал и не нужна была наша «помощь» афганскому народу. И как ни тяжело в том признаться — мы там были оккупанты. И, на мою мысль, нам сейчас не о памятниках «афганцам» надо спорить (где их поставили, а где ещё нет), а о покаянии думать. Нам всем надо покаяться за мальчиков, что обманутыми погибли в этой бессмысленной войне, покаяться за их матерей, тоже обманутых властью, покаяться за тех, кто вернулся с покалеченными душами и телами. Покаяться надо перед народом Афганистана, его детьми, матерями, стариками — за то, что столько горя принесли их земле...

*(А. Масюта, мать двоих сыновей,  
жена бывшего воина-интернационалиста,  
дочь ветерана Великой Отечественной войны)*

\* \* \*

Правда об агрессии СССР в Афганистане, подтверждённая собранными в книге Алексиевич документальными свидетельствами её участников и жертв, является не «поруганием чести и достоинства», а позорным фактом недавней истории советского коммунистического тоталитаризма, однозначно и громогласно осуждённым мировым сообществом.

Практика судебного преследования писателя за его творчество также является не менее хорошо известным и не менее позорным способом функционирования того же режима.

Происходящее сегодня в Беларуси — массированная организованная

кампания против Светланы Алексиевич, травля писательницы и постоянная угроза в её адрес, судебный процесс, попытки запретить её книгу — свидетельствует о том, что отрывки тоталитаризма являются не прошлым, а настоящим Беларуси.

Такая реальность не позволяет воспринимать Республику Беларусь посткоммунистическим, свободным и независимым государством.

Преследования Светланы Алексиевич, чьи книги широко известны во Франции, Великобритании, Германии и других странах мира, не принесут Республике Беларусь ничего иного, кроме приобретения репутации коммунистического заповедника в посткоммунистическом мире, и не придадут ей никакой другой роли, кроме как незавидной роли европейской Кампучии.

Требуем немедленного прекращения всякого рода преследования Светланы Алексиевич и судебного процесса над ней и её книгой.

*(Владимир Буковский,  
Игорь Геращенко,  
Ирина Ратушинская,  
Инна Рогачий,  
Михаил Рогачий)*

\* \* \*

...Уже долгое время продолжают попытки дискредитировать, в том числе судебными исками, писательницу Светлану Алексиевич, всеми своими книгами восставшую против безумия насилия и войны. В своих книгах Светлана Алексиевич доказывает, что человек — главная ценность в этой жизни, но его преступно превращают в винтик политической машины и преступно используют как пушечное мясо в войнах, развязываемых амбициозными государственными лидерами. Ничем нельзя оправдать гибель наших парней на чужой земле Афганистана.

Каждая страница «Цинковых мальчиков» вызывает: люди, не допустите этого кровавого кошмара ещё раз!

*(Совет Объединённой демократической партии Беларуси)*

\* \* \*

Из Минска к нам поступают сведения о судебном преследовании

белорусской писательницы, члена Международного ПЕНа Светланы Алексиевич, «виновной» лишь в том, что она выполнила основную и непреложную обязанность литератора: искренне поделилась с читателем тем, что её тревожит. Книга «Цинковые мальчики», посвящённая афганской трагедии, обошла весь мир и заслужила всеобщее признание. Имя Светланы Алексиевич, её мужественный и честный талант вызывают наше уважение. Нет никакого сомнения, что, манипулируя так называемым «общественным мнением», реваншистские силы пытаются лишить писателей их важнейшего права, закреплённого Хартией народного ПЕНа: права на свободное самовыражение...

Русский ПЕН-центр заявляет о полной солидарности со Светланой Алексиевич, с Белорусским ПЕН-центром, со всеми демократическими силами независимой страны и призывает органы правосудия оставаться верными международным законам, под которыми стоит и подпись Беларуси, прежде всего — Всеобщей Декларации прав человека, гарантирующей свободу слова и свободу печати.

*(Русский ПЕН-центр)*

\* \* \*

Белорусская Лига прав человека считает, что непрекращающиеся попытки расправиться с писателем Светланой Алексиевич путём судебных процессов являются политическим актом, направленным властями на подавление инакомыслия, свободы творчества и свободы слова.

Мы располагаем данными, что в 1992–1993 годах различными судебными инстанциями Республики Беларусь рассмотрено около десятка политических дел, искусственно переведённых в область гражданского права, но по сути направленных против демократически настроенных депутатов, писателей, журналистов, печатных изданий, активистов общественно-политических организаций.

Мы требуем прекратить травлю писателя Светланы Алексиевич и призываем пересмотреть подобные этому судебные дела, решения по которым стали политической расправой...

*(Белорусская Лига прав человека)*

\* \* \*

...Мы десятилетиями вгоняли новые и новые миллионы и миллиарды в свою оборону, находя для неё все новые рубежи в странах Азии и Африки, да и заодно новых вождей, пожелавших строить у себя «светлое будущее». Мой бывший однокашник по учёбе в академии Фрунзе, майор, а потом маршал Вася Петров, лично гнал в атаку сомалийцев, за что получил Золотую Звезду... А сколько было ещё таких!

Но вот начал трещать по швам стянутый оковами Варшавского Договора и державшийся на штыках Групп советских войск так называемый «социалистический лагерь». Для оказания «братской помощи в борьбе с контрреволюцией» в эти страны стали посылать наших сыновей — в Будапешт, потом в Прагу, потом...

В сорок четвёртом я шёл с нашими войсками по территории освобождаемых от фашизма стран — Венгрии и Чехословакии. То была уже чужая земля, но казалось, что мы дома: те же приветствия, те же радостные лица, то же скромное угощение, но от души...

Четверть века спустя наших сыновей на той же земле встретили уже не хлебом-солью, а плакатами: «Отцы — освободители, сыновья — оккупанты!» Сыновья носили ту же военную форму и звание наследников, а мы — молча свой позор перед всем миром.

Дальше — больше. В декабре 1979-го сыновья ветеранов Отечественной и ученики (мой, в частности, Боря Громов, впоследствии главнокомандующий 40-й армии, которого я учил тактике в военном училище) вторглись в Афганистан. На протяжении ряда лет более чем сто стран - членов ООН осуждали это преступление, начав которое мы, подобно Саддаму Хусейну сегодня, противопоставили себя тогда мировому сообществу. Теперь мы знаем, что в той грязной войне ни за что наши солдаты погубили более миллиона афганцев и потеряли свыше пятнадцати тысяч своих...

С целью умышленного сокрытия смысла и истинных масштабов постыдной агрессии её зачинщики официально ввели в употребление термин «ограниченный контингент» — классический пример фарисейства и словоблудия. С не меньшим лицемерием зазвучало и «воины-интернационалисты», как бы новое название воинской специальности, эвфемизм, призванный исказить смысл происходящего в Афганистане, сыграть на созвучии с интербригадами, сражавшимися с фашистами в Испании.

Инициаторы вторжения в Афганистан, верховоды из Политбюро, не только проявили свою разбойничью сущность, но и сделали своих подручных соучастниками преступления, всех, у кого не хватило мужества



воспротивиться приказу убивать. Убийство не может быть оправданным никаким «интернациональным долгом». Какой, мать вашу, долг!!

Безмерно жалко их матерей, осиротевших детей... Сами же они получили не награды за кровь безвинных афганцев — цинковые гробы...

Писательница в своей книге отделяет их от пославших убивать, она испытывает к ним жалость, в отличие от меня. Не понимаю, за что хотят её судить? За правду?

*(Григорий Браиловский,  
инвалид Великой Отечественной,  
г. Санкт-Петербург)*

\* \* \*

...Кровь афганской войны на многое открыла глаза ныне живущим. Дорогой ценой. Прозреть бы раньше. Но кого обвинишь? Разве винят слепого в том, что он незрячий? Кровью отмыты глаза наши...

Я попал в Афганистан в 1980 году (Джелалабад, Баграм). Военным положено выполнять приказ.

Тогда, в 83-м, в Кабуле, я впервые услышал: «Надо поднять в воздух всю нашу стратегическую авиацию и стереть эти горы с лица земли. Сколько уже наших похоронили — и все без толку!» Это говорил один из моих друзей. У него, как и у всех, — мать, жена, дети. Значит, мы, пусть мысленно, но все же лишаем права тех матерей, детей и мужей жить на собственной земле, потому что «взгляды» не те.

А знает ли мать погибшего «афганца», что такое «объёмная» бомба? Командный пункт нашей армии в Кабуле имел прямую правительственную связь с Москвой. Оттуда получали «добро» на применение этого оружия. В момент срабатывания взрывателя первый заряд разрывал газонаполненную оболочку. Вытекал газ, заполняющий все щели. Это «облако» взрывалось через временной интервал. Ничего живого не оставалось на этой площади. У человека лопались внутренности, выскакивали глаза. В 1980 году впервые нашей авиацией были применены реактивные снаряды, начинённые миллионами мелких иголок. Так называемые «игольчатые Р. С.». От таких иголок не укроешься нигде — человек превращается в мелкое сито...

Мне хочется спросить у наших матерей: хоть одна из них поставила себя рядом с матерью-афганкой? Или она ту мать считает существом более низшего порядка?

Ужасает только одно: сколько же ещё людей передвигается у нас на ощупь, впотьмах, уповая на свои чувства, не пытаясь думать и сопоставлять!

Проснувшиеся ли мы до конца люди, да и люди ли мы с вами, если до сих пор учимся пинать разум, открывающий нам глаза?

(А. Соколов,  
майор,  
военный лётчик)

\* \* \*

...А некоторые из высокопоставленных лжецов не теряют надежды использовать ту же ложь для возврата прежних милых для них времён. Так, в газете «День» генерал В. Филатов в своём обращении к воинам-«афганцам» изрекает: «Афганцы! В час Маузера сработаем как в Афганистане... Там вы сражались за Родину на южном направлении... Теперь за Родину надо сражаться, как в 1941 году: на своей территории».

Этот час Маузера дал о себе знать 3–4 октября в Москве у стен Белого дома. Но кто знает, не будет ли попытки реванша? Да, справедливость требует Суда. Суда чести над инициаторами и вдохновителями афганского преступления — над мёртвыми и живыми. Он нужен не для разжигания страстей, а как урок на будущее для всех, кто придумает новые авантюры от имени народа. Как моральное осуждение совершенных злодеяний. Он нужен, чтобы развеять лживую версию о виновности за афганские преступления только верхней пятёрки: Брежнева, Громыко, Пономарёва, Устинова, Андропова. Потому что были заседания Политбюро, секретариатов, пленум ЦК КПСС, закрытые письма для всех членов КПСС. Но не было среди этих участников и слушателей ни одного возражающего...

Суд нужен, чтобы пробудить наконец совесть у тех, кто получал награды, офицерские и генеральские чины и звания, гонорары и почёт за кровь невинных миллионов людей, за ложь, к которой так или иначе мы все оказались причастны...

(А. Соломонов,  
доктор технических наук,  
профессор,  
г. Минск)

Говоря словами Солженицына, мир — это не просто отсутствие войны, но прежде всего отсутствие насилия над человеком. Не случайно, что именно сейчас, когда наше посттоталитарное общество захвачено безумием политического, религиозного, национального, в том числе вооружённого, насилия, писателю предъявлен счёт за правду о войне в Афганистане.

Думается, что скандал, разжигаемый вокруг «Цинковых мальчиков», — это попытка восстановить в сознании людей коммунистические «мифы о самих себе». За спинами истцов видятся другие фигуры: те, кто на Первом съезде народных депутатов СССР не давал А. Д. Сахарову говорить о бесчеловечности этой войны, те, кто все ещё рассчитывает вернуть ускользающую из рук власть и держать её силой...

Эта книга ставит вопрос о праве жертвовать человеческими жизнями, прикрываясь речами о суверенности и великодержавности. За какие идеи гибнут простые люди в Азербайджане, Армении, Таджикистане, Осетии?

Между тем по мере роста лжепатриотических идей, основанных на насилии, мы становимся свидетелями нового возрождения духа милитаризма, возбуждения инстинктов агрессии, преступной торговли оружием под сладкие речи о демократической реформе в армии, о военном долге, о национальном достоинстве. Трескучие фразы ряда политиков в защиту революционного и военного насилия, близкие идеям итальянского фашизма, немецкого национал-социализма и советского коммунизма, порождают идейную сумятицу в умах, готовят почву для роста нетерпимости и враждебности в обществе.

Ушедшие с политической арены духовные отцы таких политиков умели манипулировать человеческими страстями и вовлекали своих сограждан в братоубийственные распри. Конечно, их последователям очень хочется устроить процесс над идеями ненасилия и сострадания. Следует вспомнить, что в своё время Лев Толстой, проповедовавший отказ от службы в армии, не был привлечён к суду за антивоенную деятельность. Нас же опять хотят вернуть в эпоху, когда губили все самое честное.

В судебном процессе над С. Алексиевич можно усмотреть спланированное наступление антидемократических сил, которые под видом отстаивания чести армии борются за сохранение отталкивающей идеологии, привычной лжи... Идея ненасильственной альтернативы, которую защищают книги Светланы Алексиевич, живёт в сознании людей,

хотя официально эта идея не признана, а понятие «непротивление злу насилием» до сих пор осмеивается. Но, повторяем: нравственные перемены в жизни общества связаны прежде всего с формированием самосознания, основанного на принципе «мир без насилия». Те, кто хочет суда над Светланой Алексиевич, толкают общество во враждебность, в хаос самоистребления.

*(Члены Российского общества мира:*

*Р. Илюхина, доктор исторических наук, зав. группой «Идеи мира в истории» Института всеобщей истории Российской академии наук;*

*А. Мухин, председатель Инициативной группы содействия альтернативной службе;*

*О. Постникова, литератор, член Движения «Апрель»;*

*Н. Шелудякова, председатель организации «Движение против насилия»)*

\* \* \*

Литератору нельзя быть судьёй и палачом — таковых на Руси и без того было в достатке... Это выражение Чехова невольно вспомнилось в связи с окололитературным скандалом вокруг книги Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» и одновременно развёрнутой против «афганцев», их родителей кампании в республиканской и московской прессе и даже забугорных радиостанциях...

Да, война есть война. Она всегда жестока и несправедлива в отношении человеческой жизни. В Афганистане подавляющая часть солдат и командиров, верных присяге, исполняла свой долг. Потому что приказ был отдан законным правительством от имени народа. К сожалению, к стыду нашему, были отдельные командиры и солдаты, которые совершали преступления, были и те, кто убивал и грабил афганцев, кто (таких единицы — но были) убивал своих товарищей и с оружием уходил на сторону душманов, воевал в их рядах.

Могу привести целый ряд других преступлений, совершенных нашими людьми, но когда некоторые писатели и журналисты сравнивают «афганцев» с фашистами, тут же возникает целый ряд вопросов. Может, эти господа могут продемонстрировать миру приказы правительства о строительстве нашей армией в Афганистане концлагерей, об уничтожении целого народа, сожжении в газовых печах миллионов людей, как это делали немцы? Или у вас, господа, есть документы, свидетельствующие, что за

одного убитого советского солдата уничтожались сотни мирных людей, как это делали гитлеровцы в Белоруссии? Или можете доказать, что наши врачи забирали у афганских детей всю кровь для своих раненых, как это делалось немецкими оккупантами?

Кстати, у меня есть списки тех советских солдат и офицеров, которые были осуждены за преступления, совершенные против афганских граждан. Может, вы, господа, предъявите такие списки на немцев или назовёте хотя бы одного - двух, кто был осуждён во время оккупации нашей страны за то, что совершил преступление в отношении мирного населения?

Слов нет, решение тогдашнего советского правительства о вводе войск в Афганистан было преступным в первую очередь в отношении своего народа. Но, говоря о наших военнослужащих, которых при молчаливом согласии народа и вашем тоже, господа, направили в пекло выполнять воинский долг, надо быть корректным. Клеймить стоит тех, кто принимал решения, кто, имея вес в обществе, молчал...

Унижая матерей погибших солдат, защитники Алексиевич кивают на Америку — страну великой демократии! Там, дескать, нашлись силы выступить против войны во Вьетнаме.

Но ведь любой читающий газеты человек знает, как поступила Америка. Ни американский конгресс, ни американский сенат не принимали резолюций, осуждающих войну во Вьетнаме. Никто в Америке не позволил и не позволит бросить бранное слово в адрес президентов Кеннеди, Джонсона, Форда, Рейгана, посылавших американских солдат на бойню.

Через Вьетнам прошло около трех миллионов американцев... Вьетнамские ветераны входят в высшие круги политической и военной элиты страны... Любой американский школьник может купить знаки отличия воинских частей, воевавших во Вьетнаме...

Интересно, что произошло бы с радио «Свобода», которое защищает Алексиевич, если бы его сотрудники не белорусских граждан, а своих — президентов, участников войны во Вьетнаме — называли преступниками и убийцами? Чужих, естественно, можно, тем более когда есть доброты, которые за доллары и марки готовы и отца родного...

*(Н. Чергинец,  
генерал-майор милиции,  
бывший военный советник в Афганистане,  
председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане,  
«Советская Белоруссия», 16 мая 1993 г.)*

\* \* \*

...То, что знаем мы, бывшие там, не знает никто, разве только наши начальники, чьи приказы мы выполняли. Теперь они молчат. Молчат о том, как нас учили убивать и «шмонать» убитых. Молчат о том, как уже перехваченный караван делился между вертолётчиками и начальством. Как каждый труп душмана (так мы тогда их называли) минируется, чтобы тот, кто придёт хоронить (старик, женщина, ребёнок), тоже нашёл свою смерть рядом с близким, на своей родной земле. И о многом другом они молчат.

Мне довелось служить в воздушно-десантном батальоне специального назначения. У нас была узкая специальность — караваны, караваны и ещё раз караваны. В большинстве своём караваны шли не с оружием, а с товарами и наркотиками, чаще всего ночью. Наша группа — двадцать четыре человека, а их иногда за сотню переваливает. Где уж думать, кто там мирный караванщик, торговец, закупивший в Пакистане товар и мечтающий его выгодно продать, кто переодетый душман. Я каждый бой помню, каждого «своего» убитого помню — и старика, и взрослого мужчину, и мальчишку, корчащегося в предсмертной агонии... и того в белой чалме, с исступлённым воплем «Аллах акбар» спрыгнувшего с пятиметровой скалы, перед этим смертельно ранившего моего друга... На моей тельняшке остались его кишки, а на прикладе моего АКМСа его мозги... По полгруппы нашей оставляли мы на скалах... Не всех имели возможность вытащить из расщелин... Их находили только дикие звери... А мы сочиняли их родителям якобы совершенные ими «подвиги». Это восемьдесят четвёртый год...

Да, нас нужно судить за содеянное, но вместе с пославшими нас туда, заставившими с именем Родины и согласно присяге выполнять работу, за которую в сорок пятом судили всем миром фашизм...

*(Без подписи)*

\* \* \*

...Но вот проходят годы, и вдруг выясняется, что людям, всему человеческому сообществу мало того, что им оставляет история. Та история, к которой мы привыкли, где именно есть имена, даты, события, где есть факты и их оценка, но где не остаётся места для человека. Для того самого конкретного человека, который был не просто участником этих

событий, некой статистической единицей, а представлял из себя определённую личность, был наполнен эмоциями и впечатлениями, историей, как правило, не фиксируемыми...

Я не помню, когда вышла книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» — лет пятнадцать прошло уже, наверное, но я и сейчас зримо представляю потрясший меня эпизод. На марше женский батальон, жара, пыль, а в пыли то здесь, то там пятна крови — для женского организма нет перерывов даже на войне.

Какой историк оставит нам такой факт? И сколько рассказчиков должен пропустить через себя писатель, чтобы выудить его из несметного числа фактов, впечатлений?

Или ещё. После маршевого броска женский батальон оказывается на берегу реки. Возможность обмыться — одно из счастливых мгновений для женщин на войне. Весь батальон бросается в воду, но тут неожиданно появляются немецкие самолёты... Никто из женщин не вылез из воды, не бросился прятаться за деревьями... То, что было бы абсолютно нормальным для мужчин. После бомбёжки — десятки раненых и убитых девушек. Для них быть чистой, красивой, чувство стыда из-за неудобств мужского быта войны оказались сильнее страха смерти.

И мне этот факт рассказывает больше о психологии женщин на войне, чем целый исторический военный том.

...И как бы близко от нас ни были события — афганской войны, черныбыльской трагедии, московских путчей, таджикских погромов, — но вдруг выясняется, что все они уже стали достоянием истории, и уже новые катаклизмы приходят им на смену, и к ним, новым, уже приковано внимание общества. И уходят свидетельства, потому что человеческая память, оберегая нас, старается затушевать те эмоции и воспоминания, которые мешают человеку жить, лишают его сна и покоя. А потом уходят и сами свидетели...

Ах, как не хочется многим «удельным князьям» канувшего в Лету режима признать, что и над ними есть суд — и суд людей, и суд истории! Ах, как не хочется им верить, что наступили времена, когда любой «щелкопёр и бумагомаратель» может позволить себе поднять руку на «светлое прошлое», «очернить и унижить» его, подвергнуть сомнению «великие идеалы»! Ах, как мешают им книги, наполненные показаниями последних свидетелей!

Можно дезавуировать генерала КГБ Олега Калугина: генералами КГБ просто так не становятся. Но невозможно дезавуировать показания сотен простых смертных — «афганцев», черныбыльцев, жертв межэтнических

конфликтов, беженцев из «горячих точек»... Зато можно «прижучить», «поставить на место», «заткнуть рот» журналисту, писателю, психологу, собравшему эти свидетельские показания...

Нам, конечно, не привыкать. Судили уже Синявского с Даниэлем, подвергали анафеме Бориса Пастернака, смешивали с грязью Солженицына и Дудинцева...

Ну, замолчит и Светлана Алексиевич. Ну, перестанут появляться свидетельства жертв нашего преступного века. А что же останется нашим потомкам? Слащавое сюсюканье любителей победных реляций? Барабанный бой вперемежку с бравурными маршами? Так ведь это уже все было. Через это мы уже прошли...

*(Я. Басин, врач.*

*Газета «Добрый вечер»,*

*1 декабря 1993 г.)*

\* \* \*

С этими словами я хотел выступить в суде. Я причислял себя к тем, кто не принял книгу Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики». На суде я должен был стать защитником Тараса Кецмура...

Исповедь бывшего врага — так можно теперь это назвать...

Я внимательно слушал все, что два дня говорилось в зале суда, в кулуарах, и подумал, что мы совершаем святотатство. За что мы терзаем друг друга? Во имя Бога? Нет! Мы разрываем его сердце. Во имя страны? Она там не воевала...

В сконцентрированном виде Светлана Алексиевич описала афганскую «чернуху», и любой матери невозможно поверить, что на подобное был способен её сын. Но я скажу больше: описанное в книге лишь цветочки по сравнению с тем, что бывает на войне, и каждый, кто действительно воевал в Афганистане, положив руку на сердце сможет подтвердить это. Сейчас мы находимся перед жестокой реальностью: ведь мёртвые сраму не имут, и, если этот срам был на самом деле, его должны принять на себя живые. Но живые — это мы! И тогда оказывается, что мы были крайними на войне, то есть кто выполнял приказы, оказываются крайними теперь, когда приходится отвечать за все последствия войны! Поэтому было бы справедливее, если бы книга такой силы и таланта появилась не о мальчиках, а о маршалах и кабинетных начальниках, посылавших ребят на войну.



Я спрашиваю себя: должна ли была Светлана Алексиевич написать об ужасах войны?! Да! А должна ли мать вступить за своего сына? Да! И должны ли «афганцы» вступить за своих товарищей? И опять — да!

Конечно, солдат всегда грешен, на любой войне. Но на Страшном суде Господь первым простит солдата...

Правовой выход из этого конфликта найдёт суд. Но должен быть и человеческий выход, который заключается в том, что: матери всегда правы в любви к сыновьям; писатели правы, когда говорят правду; солдаты правы, когда живые защищают мёртвых.

Вот что столкнулось на самом деле на этом гражданском процессе.

Режиссёров и дирижёров, политиков и маршалов, организовавших эту войну, в зале суда нет. Здесь одни пострадавшие стороны; любовь, которая не приемлет горькую правду о войне; правда, которая должна быть высказана, несмотря ни на какую любовь; честь, не приемлющая ни любви, ни правды, потому что помните: «Жизнь я могу отдать Родине, но честь — никому». (Кодекс русских офицеров)

Божье сердце вмещает все: и любовь, и правду, и честь, но мы не боги, и этот гражданский процесс хорош только тем, что способен людям возратить полноту жизни.

Единственное, в чем я могу упрекнуть Светлану Алексиевич, — это не в том, что она исказила правду, а в том, что в книге практически нет любви к юности, брошенной на заклятие дураками, организовавшими афганскую войну. И удивительно для меня самого, как «афганцы», смотревшие в глаза смерти, сами боятся своей правды об афганской войне. Должен же найтись хоть один «афганец», который скажет, что мы давно не серая, однородная масса, и слова Тараса Кецмура, когда он говорил, что не осуждает войну, — это не наши слова, он не говорит это за всех нас...

Я не осуждаю Светлану за то, что книга помогла обывателю узнать афганскую «чернуху». Я не осуждаю её даже за то, что после прочитанного к нам относятся гораздо хуже. Мы должны пройти через переосмысление нашей роли в войне как орудия убийства, и если есть в чем каяться, то покаяние должно прийти к каждому человеку.

Суд, вероятно, будет продолжаться долго и мучительно. Но в моей душе он завершён.

*(Павел Шетько,  
бывший «афганец»)*

**Хроника суда. Из стенограммы заключительного судебного заседания**

**8 декабря 1993 г.**

Состав суда: судья И. Н. Жданович, народные заседатели Т. В. Борисевич, Т. С. Сороко.

Истцы: И. С. Головнева, Т. М. Кецмур.

Ответчица: С. А. Алексиевич.

**Из выступления С. Алексиевич, автора «Цинковых мальчиков»  
(Из того, что было сказано и что не дали сказать)**

Я до конца не верила, что этот суд состоится, как не верила до последнего мгновения, что у Белого дома начнут стрелять...

Уже физически не могу видеть ожесточённые яростные лица. И я б не пришла в этот суд, если бы здесь не сидели матери, хотя я знаю, что не они со мной судятся, а судится со мной бывший режим. Сознание — не партбилет, его не сдашь в архив. Поменялись наши улицы, вывески на магазинах и названия газет, а мы — те же. Из соцлагеря. С прежним лагерным мышлением...

Но я пришла поговорить с матерями. У меня все тот же вопрос, что и в моей книге: кто же мы? Почему с нами можно делать все, что угодно? Вернуть матери цинковый гроб, а потом убедить её подать в суд на писателя, который написал, как не могла она своего сына даже поцеловать в последний раз и обмывала в травах, гладила цинковый гроб... Кто же мы?

Нам внушили, с детства заложили в генах любовь к человеку с ружьём. Мы выросли словно бы на войне, даже те, кто родился через несколько десятилетий после неё. И наше зрение устроено так, что до сих пор, даже после преступлений революционных чрезвычайок, сталинских заградотрядов и лагерей, после недавнего Вильнюса, Баку, Тбилиси, после Кабула и Кандагара, человека с ружьём мы представляем солдатом 45-го, солдатом Победы. Так много написано книг о войне, так много изготовлено человеческими же руками и умом оружия, что мысль об убийстве стала нормальной. Лучшие умы с детской настойчивостью задумываются над тем, имеет ли право человек убивать животных, а мы, мало сомневаясь или наскоро соорудив политический идеал, способны оправдать войну. Включите вечером телевизор, и вы увидите, с каким тайным восторгом несём мы героев на кладбище. В Грузии, Абхазии, в Таджикистане... И снова ставим на их могилах памятники, а не часовни...

Невозможно у мужчин безнаказанно забрать эту самую любимую... самую дорогую игрушку — войну. Этот миф... Этот древний инстинкт...

Но я ненавижу войну и саму мысль о том, что один человек имеет право на жизнь другого человека.

Недавно мне один священник рассказал, как бывший фронтовик, уже старый человек, принёс в церковь свои награды. «Да, — сказал он, — я убивал фашистов. Защищал Родину. Но перед смертью я все равно хочу покаяться за то, что убивал». И оставил свои награды в церкви, а не в музее. Мы же воспитаны в военных музеях...

Война — тяжёлая работа и убийство, но по прошествии лет вспоминается тяжёлая работа, а мысль об убийстве отодвигается. Разве можно это придумать: эти подробности, чувства. Их страшное разнообразие в моей книге.

Все чаще думаю: после Чернобыля, Афгана, после событий у Белого дома... — что мы не равны тому, что с нами происходит. Может быть, поэтому оно с нами и происходит?

Когда-то, несколько лет назад, а точнее, четыре года назад, мы думали одинаково: я, многие матери, присутствующие сейчас в этом зале, солдаты, вернувшиеся с чужой афганской земли. В моей книге «Цинковые мальчики» материнские рассказы-молитвы — самые печальные страницы. Матери молятся о своих погибших сыновьях...

Почему же сейчас мы сидим в суде друг против друга? Что же произошло за это время?

За это время исчезла с карты мира, из истории страна, коммунистическая империя, которая их туда послала убивать и умирать. Её нет. Войну сначала робко называли политической ошибкой, а затем преступлением. Все хотят забыть Афганистан. Забыть этих матерей, забыть калек... Забвение — это тоже форма лжи. Матери остались один на один с могилами своих мальчиков. У них даже нет утешения, что смерть их детей не бессмысленна. Какие бы оскорбления и ругательства я сегодня ни слышала, я говорила и говорю, что преклоняюсь перед матерями. Преклоняюсь и за то, что, когда Родина бросила в бесчестье имена их сыновей, они стали их защитниками. Сегодня только матери защищают погибших мальчиков... Другой вопрос — от кого они их защищают?

И их горе превысит любую правду. Говорят, что молитва матери и со дна моря достаёт. В моей книге она достаёт их из небытия. Они — жертвы на алтаре нашего тяжёлого прозрения. Они — не герои, они мученики. Никто не смеет бросить в них камень. О том, что были мы все повинны, мы все причастны к той лжи, — об этом тоже моя книга. Чем опасен любой тоталитаризм? Он всех делает соучастниками своих преступлений. Добрых и злых, наивных и прагматичных... Молиться надо за этих мальчиков, а не за идею, жертвами которой они стали. Я хочу матерям сказать: не мальчиков своих вы здесь защищаете. Вы защищаете страшную идею.

Идею-убийцу. Это я хочу сказать и бывшим солдатам-«афганцам», которые пришли сегодня в суд.

За спинами матерей я вижу генеральские погоны. Генералы возвращались с войны со Звёздами Героев и с большими чемоданами. Одна из матерей, сидящая здесь в зале, рассказывала мне, как ей вернули цинковый гроб и маленький чёрный саквояж, где лежала зубная щётка и плавки сына. Все, что ей осталось. Все, что он привёз с войны. Так от кого вы должны были бы защищать своих сыновей? От правды? Правда в том, как умирали ваши мальчишки от ран, потому что не было спирта и лекарств, их продавали в дуканы, как кормили мальчишек ржавыми консервами пятидесятых годов, как даже хоронили их в старом, времён Отечественной, обмундировании. Даже на этом экономили. Я не хотела бы это вам говорить у могил... Но приходится...

Вы слышите: везде стреляют, снова кровь. Какое же оправдание крови вы ищете? Или помогаете искать?

Тогда, пять лет назад, когда ещё правила компартия, КГБ, — я, чтобы уберечь героев своей книги от расправы, иногда меняла имена, фамилии. Я защищала их от режима. А сегодня должна защищаться от тех, кого недавно защищала.

Что я должна отстаивать? Своё писательское право видеть мир таким, как я его вижу. И то, что я ненавижу войну. Или я должна доказывать, что есть правда и правдоподобие, что документ в искусстве — это не справка из военкомата и не трамвайный билет. Те книги, которые я пишу, — это своего рода проза. Это — документ и в то же время мой образ времени. Я собираю подробности, чувства не только из отдельной человеческой жизни, но и из всего воздуха времени, его пространства, его голосов. Я не выдумываю, не домысливаю, а организовываю материал в самой действительности. Документ — это и те, кто мне рассказывает, документ — это и я как человек со своим мировоззрением, ощущением.

Я пишу, записываю современную, текущую историю. Живые голоса, живые судьбы. Прежде чем стать историей, они ещё чья-то боль, чей-то крик, чья-то жертва или преступление. Бессчётное количество раз я задаю себе вопрос: как пройти среди зла, не увеличивая в мире зла, особенно сейчас, когда зло принимает какие-то космические размеры? Перед каждой новой книгой я спрашиваю себя об этом. Это уж — моя ноша. И моя судьба.

Писательство — судьба и профессия, в нашей несчастной стране это даже больше судьба, чем профессия. Почему суд два раза отклоняет ходатайство о литературной экспертизе? Потому что сразу бы стало ясно —

тут нет предмета суда. Судят книгу, судят литературу, предполагая, что раз это документальная литература, то её можно каждый раз переписать заново, ублажая сиюминутные потребности. Не дай Бог, если бы документальные книги правили пристрастные современники. Нам бы остались лишь отзвуки политических борений и предрассудков вместо живой истории. Вне законов литературы, вне законов жанра творится примитивная политическая расправа, низведённая уже на бытовую, я бы даже сказала, коммунальный уровень. И, слушая этот зал, я часто ловила себя на мысли: кто же решается нынче звать толпу на улицу, толпу, которая не верит уже никому — ни священникам, ни писателям, ни политикам? Она хочет только расправы и крови... И подвластна лишь человеку с ружьём... Человек с пером, вернее, с авторучкой, а не с автоматом Калашникова, её раздражает. Меня учили здесь, как надо писать книги. Толпа у нас всесильна...

Те, кто позвал меня в суд, отказываются от того, что говорили несколько лет назад: те же слова, те же знаки, но поменялся в их сознании шифровой ключ, и они уже читают прежний текст иначе или вообще его не узнают. Почему? Да потому, что им не нужна свобода... Они не знают, что с ней делать...

Я очень жалею, что стёрла кассеты, обычно храню их только два - три года, это же двести - триста кассет. Там была та реальность. И те люди...

А это уже другие люди: не те, какими они были пять - шесть лет назад. Я хорошо помню, какой была Инна Сергеевна Головнева, я просто полюбила её. А сейчас — это уже политик, официальное лицо, председатель клуба матерей погибших солдат. Это уже другой человек, от прежнего — у него только собственное имя и имя погибшего сына, которого она второй раз принесла в жертву. Обрядовое жертвоприношение. Мы — не просто рабы, мы — романтики рабства.

У нас свои представления о героях и мучениках. Если бы здесь речь шла о чести и достоинстве, то мы встали бы и молчали перед памятью почти двух миллионов погибших афганцев... Погибших там, на своей земле...

Сколько можно задавать этот вечный наш вопрос, почти уже дьявольский: кто виноват? Мы виноваты — ты, я, они. Проблема в другом — в выборе, который есть у каждого из нас: стрелять или не стрелять, молчать или не молчать, идти или не идти... Спрашивать надо у себя... Каждый пусть спросит у себя... Но нет этого опыта войти в себя, вовнутрь себя. Привычнее бежать на улицу под знакомые красные знамёна... Просто жить, нормально жить не умеем... Без ненависти и борьбы...

Я хочу попросить прощения у матерей за то, что вольно или невольно мы всегда причиняем друг другу боль... Все люди... Слишком несовершенен тот мир, который мы создали...

Но лучше бы нам встретиться не в суде... Мы спросили бы себя: чем жить сейчас — памятью или верой? Я бы задала себе вопрос, который сейчас неотступен: есть ли пределы, до которых можно идти в правде? Нет ли там где-то роковой черты...

Тарас Кецмур, не тот, что сидит сейчас в зале, а тот, каким он вернулся с войны, так об этом сказал... Сказал тогда... Я зачитаю вам из книги:

«Как будто я сплю и вижу большое море людей. Все возле нашего дома. Я оглядываюсь, мне тесно, но почему-то не могу встать. Тут до меня доходит, что я лежу в гробу, гроб деревянный. Помню это хорошо. Но я живой, помню, что я живой, но я лежу в гробу. Открываются ворота, все выходят на дорогу, и меня выносят на дорогу. Толпы народа, у всех на лицах горе и ещё какой-то восторг тайный, мне непонятный. Что случилось? Почему я в гробу? Вдруг процессия остановилась, я услышал, как кто-то сказал: «Дайте молоток». Тут меня пробила мысль — я вижу сон. Опять кто-то повторяет: «Дайте молоток». Оно как наяву и как во сне. И третий раз кто-то сказал: «Подайте молоток». Я услышал, как хлопнула крышка, застучал молоток, один гвоздь попал мне в палец. Я начал бить головой в крышку, ногами. Раз — и крышка сорвалась, упала. Люди смотрят — я поднимаюсь, поднялся до пояса. Мне хочется закричать: больно, зачем вы меня заколачиваете гвоздями, мне там нечем дышать. Они плачут, но мне ничего не говорят. Все как немые. И я не знаю, как мне говорить с ними так, чтобы они услышали. Мне кажется, что я кричу, а губы мои сжаты, не могу их раскрыть. Тогда я лёг назад в гроб. Лежу и думаю: они хотят, чтобы я умер, может, я действительно умер и надо молчать. Кто-то опять говорит: «Дайте мне молоток»».

И это он не опроверг... И это защитит его честь и достоинство на главном Суде... И меня тоже...

### **Из разговоров в зале суда**

— Вы говорите, что это коммунисты. Да они, эти люди, — никто, обозлённые, нищие. Обманутые и желающие обманываться. Кто-то

виноват, а не они. Психологи жертвы. А жертве всегда нужен тот, кого бы она могла обвинять. У нас ещё не стреляют, но у всех раздуваются ноздри, как от запаха крови. И не коммунизм, не «святая идея» стучит в их сердца, а «жажда равенства»: если нищие, то чтобы все, если несчастные, то тоже все.

— У неё миллионы, два «мерседеса», по заграницам разъезжает...

— Писатель пишет книгу два - три года, а получает за неё сегодня столько, сколько мальчишка, водитель троллейбуса, за два месяца. Откуда вы взяли эти «мерседесы»?

— По заграницам ездит...

— А где твой личный грех... Ты мог стрелять и мог не стрелять. Что? Молчишь...

— Народ унижен, нищ. А совсем недавно мы были великой державой. Может, мы такими и не были, но сами считали себя великой державой по количеству ракет и танков, атомных бомб. И верили, что живём в самой лучшей, самой справедливой стране. А вы нам говорите, что мы жили в другой стране — страшной и кровавой. Кто вам это простит? Вы наступили на самое больное... На самое глубинное...

— Мы все были к этой лжи причастны... Все...

— Вы делали то же, что и фашисты! А хотите героями зваться... Да в придачу холодильник и мебельный гарнитур без очереди получить... По льготной цене...

— Они — муравьи, они не знают, что есть пчелы и птицы. И они хотят всех сделать муравьями. Разный уровень сознания...

— А что вы хотите после всего?

— После чего?

— После крови... Я имею в виду нашу историю. После крови люди могут ценить только хлеб... Все остальное для них не имеет цены... Сознание разрушено...

— Молиться надо. Молиться за палачей своих... За мучителей...

— Ей доллары заплатили... И она льёт на нас грязь... На наших детей...

### **Из решения суда**

#### **РЕШЕНИЕ**

#### **ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Народный суд Центрального района г. Минска в составе председательствующего Ждановича И. Н., народных заседателей Борисевич Т. В., Сорока Т. С., при секретаре Лобынич И. Б. рассмотрел в

открытом заседании 8 декабря 1993 года дело по иску Кецмура Тараса Михайловича и Головнёвой Инны Сергеевны к Алексиевич Светлане Александровне и редакции газеты «Комсомольская правда» о защите чести и достоинства.

...Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые заявления подлежат удовлетворению частично.

Согласно ст. 7 ГК Республики Беларусь, гражданин или организация вправе требовать опровержения порочащих их честь и достоинство сведений, если распространявший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Судом установлено, что в газете «Комсомольская правда» от 15 февраля 1990 г. № 39 были опубликованы отрывки из документальной книги С. Алексиевич «Цинковые мальчики» — «Монологи тех, кто прошёл Афганистан». В публикации имеется монолог, подписанный фамилией истицы Головнёвой И. С.

В связи с тем, что ответчики по настоящему делу — Алексиевич С. А. и редакция газеты «Комсомольская правда» — не представили доказательств соответствия действительности сведений, изложенных в указанной публикации, суд считает их не соответствующими действительности.

Однако суд считает, что изложенные сведения не являются позорящими, так как не умаляют честь и достоинство Головнёвой И. С. и её погибшего сына в общественном мнении и мнении граждан с точки зрения соблюдения законов и моральных принципов общества, в них не содержится сведений о недостойном поведении её сына в обществе...

Поскольку ответчиками не представлено доказательств соответствия действительности рассказа Кецмура Т. М., суд считает не соответствующими действительности сведения, изложенные в монологе, подписанном фамилией и именем Кецмура Т. М.

По указанным выше обстоятельствам суд считает не соответствующими действительности и позорящими честь и достоинство истца Кецмура Т. М. следующие сведения, изложенные в фразах: «Я там видел, как выкапывают в рисовых полях железо и человеческие кости, я видел оранжевую ледовую корку на застывшем лице убитого, да, почему-то оранжевую» и «В моей комнате те же книги, фото, магнитофон, гитара, а я — другой. Через парк пройти не могу, оглядываюсь. В кафе официант станет за спиной: «Заказывайте», — а я готов вскочить и убежать. Не могу, чтобы у меня кто-то за спиной стоял. Увидишь гада, одна мысль: расстрелять его надо». Эти сведения суд считает позорящими, так как они



дают основания читателям сомневаться в его психической полноценности, адекватности восприятия окружающего, рисуют его человеком озлобленным, ставят под сомнения его моральные качества, создают о нем впечатление как о человеке, который может правдивую и действительную информацию передать как ложную и не соответствующую действительности...

В остальной части иска Кецмуру Т. М. отказать...

Ответчица Алексиевич С. А. иск не признала. Она показала, что в 1987 г. встречалась с Головнёвой И. С. — матерью погибшего в Афганистане офицера — и беседу с ней записала на магнитофонную ленту. Это было почти сразу после похорон её сына. Истица рассказала ей все то, что указано в монологе, подписанном её фамилией в газете «Комсомольская правда». Для того чтобы Головневу не преследовали органы КГБ, она в одностороннем порядке изменила её имя на «Нина» и воинское звание её сына со старшего на младшего лейтенанта, хотя речь шла именно о ней.

С Кецмуром Т. М. они встречались именно шесть лет назад. Наедине она записала его рассказ на магнитофонную ленту. В опубликованном монологе сказанное им изложено в соответствии с этой записью, поэтому соответствует действительности и является правдивым...

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 ГК Республики Беларусь, суд решил:

Обязать редакцию газеты «Комсомольская правда» в двухмесячный срок опубликовать опровержение указанных сведений.

Головнёвой Инне Сергеевне в иске о защите чести и достоинства к Алексиевич Светлане Александровне и редакции газеты «Комсомольская правда» отказать.

Взыскать с Алексиевич Светланы Александровны в пользу Кецмура Тараса Михайловича расходы по госпошлине в размере 1320 (одна тысяча триста двадцать) рублей и госпошлину в доход государства в размере 2680 (две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

Взыскать с Головнёвой Инны Сергеевны в доход государства 3100 (три тысячи сто) рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Мингорсуде через нарсуд Центрального района г. Минска в течение 10 дней со дня его оглашения.

**Из ходатайства о независимой литературной экспертизе**

Директору Института литературы имени Янки Купалы  
Академии наук Республики Беларусь

Коваленко В. А.

Уважаемый Виктор Антонович!

Как вам известно, судебный процесс против писательницы Светланы Алексиевич в связи с публикацией отрывка из её документальной повести «Цинковые мальчики» в «Комсомольской правде» от 15.02.90 г. завершён в первой инстанции. Фактически С. Алексиевич обвинили в том, что она будто бы оскорбила честь и достоинство одного из истцов (одного из героев её книги), не передав его слова буквально. Дважды суд отклонил ходатайство о проведении литературной экспертизы.

Белорусский ПЕН-центр просит Вас сделать независимую литературную экспертизу, которая бы дала ответ на следующие вопросы:

1. Как научно обозначается жанр документальной повести с учётом того, что «документальная» понимается как «на основе фактов (свидетельств)», а «повесть» — как «художественное произведение»?

2. Чем отличается документальная повесть от газетно-журнальной публикации, в частности от интервью, текст которого обычно визируется автором у интервьюируемого?

3. Имеет ли право автор документальной повести на художественность, концепцию произведения, отбор материала, литературную обработку устных свидетельств, на собственное мировоззрение, на обобщение фактов во имя художественной правды?

4. Кто владеет авторскими правами: автор или герои описываемых ею событий, чьи исповеди-свидетельства она записывала во время сбора материалов?

5. Как определить границы, в которых автор свободен от буквальности, механичности передачи записанных текстов?

6. Соответствует ли книга С. Алексиевич «Цинковые мальчики» жанру документальной повести (в связи с первым вопросом)?

7. Имеет ли право автор документальной повести на изменение имён и фамилий своих героев?

8. И, как следствие всех этих вопросов, самый главный из них: можно ли судить писателя за отрывок из художественного произведения, даже тогда, когда этот отрывок не нравится тем, кто давал устный материал для книги? С. Алексиевич опубликовала не интервью с истцами, а именно отрывок из книги в жанре документальной повести.

Независимая литературная экспертиза нужна Белорусскому ПЕН-центру для защиты писательницы Светланы Алексиевич.

С уважением

Вице-президент Белорусского ПЕН-центра

*Карлос Шерман*  
28 декабря 1993 г.

Вице-президенту Белорусского ПЕН-клуба  
*Шерману К. Г.*

Уважаемый Карлос Григорьевич! Выполняем Вашу просьбу — сделать независимую литературную экспертизу документальной повести Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» и даём ответ на Ваши вопросы по пунктам:

1. По тому определению понятия «документальная литература», которое даёт «Литературный энциклопедический словарь» (М., «Советская энциклопедия», 1987, с. 98–99) и которое считается среди учёных-специалистов наиболее выверенным и точным, вытекает, что документальная литература, в том числе и документальная повесть, по своим содержанию, методам и способам исследования, форме изложения относится к жанру художественной прозы и в связи с этим активно использует художественный отбор и эстетическую оценку документального материала. «Документальная литература, — отмечает автор соответствующей статьи, — художественная проза, исследующая исторические события и явления общественной жизни путём анализа документальных материалов, воспроизводимых целиком, частично или в изложении».

2. В той же энциклопедической статье утверждается, что «качество отбора и эстетическая оценка изображаемых фактов, взятых в исторической перспективе, расширяют информационный характер документальной литературы и выводят её как из разряда газетно-журнальной документалистики (очерк, записки, хроника, репортаж) и публицистики, так и из исторической прозы». Таким образом, отрывок из «Цинковых мальчиков» С. Алексиевич, опубликованный в «Комсомольской правде» (от 15.02.90 г.), нельзя отнести к жанру интервью, репортажа, очерка или любой другой разновидности журналистской деятельности, он является своеобразной рекламой книги, которая вскоре должна была появиться в печати.

3. Что касается права автора документального произведения на художественность как специфическое средство обобщения фактов, на собственную концепцию исторического события, на сознательный отбор материала, на литературную обработку устных рассказов свидетелей этого события, на собственные выводы сопоставления фактов, то в уже названном выше энциклопедическом словаре сказано буквально

следующее: «Сводя к минимуму творческий вымысел, документальная литература своеобразно использует художественный синтез, отбирая реальные факты, которые сами по себе обладают значительными социально-типическими свойствами». Несомненно, что документальная литература строго ориентирована на достоверность и правдивость. Но, однако, возможен ли полный реализм, абсолютная правда вообще? По словам писателя, лауреата Нобелевской премии Альбера Камю, полная правда была бы возможна только тогда, когда бы перед человеком поставили киноаппарат и он бы записал всю его жизнь от рождения до смерти. Но нашёлся бы в таком случае человек, согласившийся бы пожертвовать своей жизнью ради бесконечного просмотра этой удивительной киноленты? И сумел бы он за внешними событиями увидеть внутренние причины поведения «героя»? Легко представить ситуацию, что было бы, если бы автор «Цинковых мальчиков» сознательно отказалась от творческого отношения к собранным фактам и примирилась с ролью пассивного собирателя. Ей пришлось бы в таком случае записать на бумаге буквально все, что наговорили в своих многочасовых рассказах-исповедях герои-«афганцы», и в итоге получился бы (найдишь издатель) пухлый том сырого, необработанного, не доведённого до существующего уровня эстетических требований материала, который просто бы не имел читателя. Больше того, если бы таким путём пошли предшественники С. Алексиевич в этом документальном жанре, то мировая литература не имела бы сегодня таких шедевров, как «Брестская крепость» С. Смирнова, «Нюрнбергский процесс» А. Полторака, «Обыкновенное убийство» Т. Капоте, «Я — из огненной деревни» А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колёсника, «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина.

4. Авторское право — это сумма правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием и изданием литературных произведений, и они начинаются с момента создания книги и состоят из конкретных, определённых законодательством правомочий (лично имущественных и неимущественных). Среди них в первую очередь выделяются права на авторство, на публикацию, переиздание и распространение произведения, на неприкосновенность текста (только автор имеет право вносить в своё произведение какие-либо изменения или даёт разрешение сделать это другим). Процесс сбора материала в соответствии с жанром документальной литературы требует активной роли автора, определяющего проблемно-тематическую суть произведения. Нарушение авторского права наказывается в судебном порядке.

5. Буквально точь-в-точь воспроизведение рассказов героев, как мы

уже доказывали в ответе на третий вопрос, в документальном произведении невозможно. Но тут, конечно, появляется проблема воли автора, с которым герои в момент откровения поделились воспоминаниями и как бы передали ему часть своих прав на это свидетельство, надеясь на точную передачу их слов в первоначальном виде, на профессиональное мастерство автора, его умение выделить главное и опустить мелочи, которые не углубляют мысль, сопоставить факты и увидеть их в едином целом. В конце концов все решает художественный талант автора и его моральная позиция, его способность соединять документальность с художественным изображением. Мере правдивости, глубину проникновения в событие в этом случае может почувствовать и определить только сам читатель и литературная критика, которая владеет инструментарием эстетического анализа. Эту меру правдивости по-своему оценивают и герои произведения, они самые пристрастные и внимательные его читатели: соприкасаясь с феноменом превращения устного слова в письменное, а тем более напечатанное, они подчас становятся жертвами неадекватной реакции на собственный рассказ. Так человек, впервые услышавший свой собственный голос на магнитофонной ленте, не узнает самого себя и считает, что произошла грубая подмена. Внезапный эффект возникает ещё и в результате того, что рассказ одного свидетеля сопоставляется, стыкуется в книге с другими подобными рассказами, перекликается или отличается от них, или даже спорит, конфликтует с рассказами других героев-свидетелей: тогда заметно меняется отношение и к собственным словам.

6. Книга С. Алексиевич «Цинковые мальчики» целиком отвечает уже названному выше жанру документальной литературы. Достоверность и художественность присутствуют в ней в пропорциях, позволяющих отнести названное произведение к художественной прозе, а не к журналистике. И, к слову сказать, предшествующие книги этого автора («У войны не женское лицо», «Последние свидетели») исследователи относят к документальной литературе.

7. В литературе, современной автору, очерчены определённые границы этики, если достоверная передача рассказа героя, его правдивое свидетельство о событиях, оценка которых ещё не получила надлежащего признания в обществе, могут обернуться нежелательными результатами не только для автора, но и для героя. В таком случае автор, несомненно, имеет право на изменение фамилий и имён героев. И даже тогда, когда герою ничего не угрожает и политическая конъюнктура складывается в пользу книги, авторы нередко пользуются этим приёмом. В фамилии главного

героя «Повести о настоящем человеке» Мересьев писатель Б. Полевой заменил всего только одну букву, но сразу же возник эффект художественности: читатель уже понимал, что речь идёт не об одном конкретном человеке, а о типичном явлении в советском обществе. Таких примеров сознательного изменения имени и фамилии героя в истории литературы множество.

8. Судебные процессы, подобные тому, который идёт над С. Алексиевич, автором книги «Цинковые мальчики», имеют ещё, к сожалению, место в мире. Судебному преследованию в послевоенной Англии подвергнулся Дж. Оруэлл, автор знаменитой «антиутопии» под названием «1984», которого обвинили в клевете на государственное устройство. Сегодня известно, что темой этой книги был тоталитаризм в том варианте, что возник в XX столетии. Смертный приговор в наши дни вынесен в Иране писателю С. Рушди за книгу, в которой якобы в издевательском тоне говорится об исламе: прогрессивная мировая общественность оценила этот акт как нарушение права на свободу творчества и как проявление нецивилизованности. В клевете на Советскую Армию ещё недавно упрекали писателя В. Быкова: многие опубликованные в печати письма от ветеранов-псевдопатриотов звучали как суровый общественный приговор писателю, который первым осмелился сказать вслух правду о прошлом. И, увы, история повторяется. Наше общество, провозгласившее строительство правового государства, пока что осваивает лишь азы самых главных прав человека, подменяя часто дух закона его буквой, забывая о моральной стороне всякого судебного дела. Право на защиту собственного достоинства, которое, по мнению истцов, было нарушено С. Алексиевич газетной публикацией отрывка из книги, не должно пониматься как право сегодня говорить автору книги одно, а завтра, в соответствии с изменением настроения или политической конъюнктуры, что-то совсем обратное. Возникает вопрос. Когда был искрещен «герой» книги: тогда, когда дал согласие поделиться с С. Алексиевич своими воспоминаниями о войне в Афганистане, или тогда, когда под нажимом товарищей по оружию решил отстаивать корпоративные интересы определённой группы людей? И имеет ли он в таком случае моральное право на судебное преследование писательницы, которой в своё время доверился, зная, что его исповедь будет опубликована? Факты, сообщённые истцом автору и опубликованные в газете, не выглядят одиночными и случайными, они подтверждаются в книге другими аналогичными фактами, ставшими известными автору из рассказов других свидетелей тех же событий. Разве это не даёт основание думать, что «герой» был искрещен

в тот момент, когда записывался устный рассказ, а не тогда, когда он отказывался от своих слов? И ещё важный аспект: если нет свидетелей разговора автора с «героем» и когда отсутствуют другие доказательства правоты одной или второй стороны судебного процесса, возникает необходимость в перепроверке всех подобных фактов, приводимых автором в своей книге, что можно было бы сделать на своеобразном «нюрнбергском процессе», в котором бы приняли участие десятки и тысячи свидетелей войны в Афганистане. В противном случае существует опасность утонуть в бесконечных судебных разбирательствах, где пришлось бы доказывать чуть ли не каждое сказанное героями книги слово, а это уже абсурд. Поэтому обращение Белорусского ПЕН-центра в Институт литературы АНБ с просьбой сделать независимую литературную экспертизу опубликованного в «Комсомольской правде» отрывка из документальной книги С. Алексиевич «Цинковые мальчики» представляется в данной ситуации естественным и, может, даже единственно возможным способом решить конфликт.

Директор Института имени Я. Купалы Академии наук Беларуси,  
член-корреспондент АНБ *Коваленко В. А.*

Старший научный сотрудник Института литературы,  
кандидат филологических наук *Тычина М. А.*

*27 января 1994 г.*

## И ещё один эпилог, он же пролог

...Тягостно мне писать о нас — о тех, кто сидел в зале суда. В последней своей книге «Зачарованные смертью» Светлана Алексиевич пишет: «А кто — мы? Мы — люди войны. Мы или воевали, или готовились к войне. Мы никогда не жили иначе».

Мы воевали... Вот словно специально рассеявшиеся за спиной писательницы женщины тихо, чтобы не слышал судья, но внятно для Светланы Алексиевич состязаются в оскорблениях её. Матери! Эпитеты таковы, что повторить их не могу... Вот И. Головнева в перерыве подходит к пришедшему вступить за писательницу отцу Василию Радомысльскому: «Не стыдно вам, батюшка, — продались за деньги!» — «Тьма! Дьявол!» — раздаётся из публики, и уже тянутся негодующие руки, чтобы сорвать с его груди крест. «Это вы — мне? Мне, который отпевал ваших сыновей по ночам, потому что вы говорили, что иначе не получите триста рублей обещанной помощи», — потрясённо вопрошает священник. «Зачем пришёл? Дьявола защищать?» — «Молитесь за себя и за детей своих. Нет покаяния, нет утешения». — «Мы ни в чем не виноваты... Мы ничего не знали...» — «Вы были слепы. А когда открыли глаза свои, то увидели только труп своего сына. Кайтесь...» — «Что нам до афганских матерей... Мы своих детей потеряли...»

Впрочем, не осталась в долгу и другая сторона. «Ваши сыновья убивали в Афганистане невинных! Они — преступники! Ну и что, что приказ?» — кричит матерям какой-то мужчина. «Вы предаёте детей своих во второй раз...» — неистовствует другой.

А ты? А мы — не выполняли приказ? Приказ — молчать? Мы не тянули на собраниях вверх «одобряющие» руки? Я спрашиваю: нам всем нужен суд? Не тот суд — другой, о котором говорил на суде председатель Белорусской Лиги прав человека Е. Новиков; когда мы все — мы, молчавшие, матери наших погибших солдат, ветераны этой войны и матери погибших афганцев — сядем вместе и просто посмотрим друг другу в глаза?

*(А. Александрович.*

*«Фемида», 27 декабря 1993 г.)*



Закончился гражданский процесс о защите чести и достоинства по иску Головнёвой — Кецмура к писательнице Светлане Алексиевич. Последний день процесса собрал много журналистов, и в некоторых изданиях уже промелькнули сообщения о решении суда: иск Головнёвой отклонить, иск Кецмура удовлетворить частично. Я не стану дословно цитировать заключительное постановление, скажу только, что оно носит, на мой взгляд, довольно примиренческий характер. Но примирило ли оно стороны в действительности?

Инна Сергеевна Головнева, мать погибшего в Афганистане старшего лейтенанта Головнева, по-прежнему на «тропе войны» — она собирается подавать кассационную жалобу и судиться с писательницей дальше и дальше. Что движет этой женщиной? Что движет этой матерью? Безутешное горе. Безутешное в том смысле, что чем дальше уходит в историю афганская война, чем отчётливее осознает общество, насколько авантюрой была эта затея, тем бессмысленней выглядит гибель наших ребят на чужой земле... Поэтому и не принимает Инна Сергеевна книгу «Цинковые мальчики». Поэтому для неё она — оскорбление: для матери слишком непосильна ноша — обнажённая правда об афганской войне.

Тарас Кецмур — бывший водитель-«афганец» — второй истец этого гражданского процесса. Его иск частично удовлетворён судом; два глубоко психологических, глубоко драматических эпизода в монологе под его фамилией, свидетельствующие, на мой взгляд, лишь о том, что война никого не отпускает живым, даже если целы руки-ноги, признаны по требованию Кецмура «оскорбляющими честь и достоинство». Впрочем, я даже готов понять Тараса. Помните, есть такой афоризм: «Бойтесь первых порывов души, они могут быть искренними»? Так вот его монолог в «Цинковых мальчиках» — это, на мой взгляд, именно первый искренний порыв души после Афгана. Прошло четыре года. Изменился Тарас. И мир вокруг него. И ему, наверное, хотелось бы многое изменить также и в памяти о прошлом, если уж не удастся эту память вычеркнуть вовсе из души... А тут «Цинковые мальчики» — написано пером, не вырубишь топором.

Светлана Алексиевич покинула заседание суда до окончания процесса — после очередного отказа суда о ходатайстве писательницы на литературную экспертизу. Алексиевич резонно спрашивала: как можно судить документальную повесть, не зная основ жанра, не владея азами литературного труда и не желая вдобавок знать мнение профессионалов? Но суд был непреклонен. После второго отказа в литэкспертизе Светлана Алексиевич покинула зал заседания. При этом она сказала:

— Как человек я прошу прощения за то, что причинила боль, за этот несовершенный мир, в котором часто невозможно даже пройти по улице, чтобы не задеть другого человека... Но как писатель я не могу, не имею права просить прощения за книгу, за правду!

Гражданский процесс над С. Алексиевич и её книгой «Цинковые мальчики» — это наше второе поражение в афганской войне...

(Елена Молочко,

«Народная газета», 23 декабря 1993 г.)

\* \* \*

В декабре 1993 года судебный марафон по обвинению писательницы Светланы Алексиевич и её книги «Цинковые мальчики» наконец завершился. Решение суда: писательница должна извиниться перед «афганцем» Тарасом Кецмуром, честь и достоинство которого суд признал «оскорблённым частично». Газете «Комсомольская правда» белорусский суд ничтоже сумняшеся присудил напечатать опровержение, а также письменные извинения писательницы и редакции.

Второй истице — матери погибшего в Афганистане офицера Инне Сергеевне Головнёвой — в иске отказано, хоть суд признал «часть сведений, приписываемых авторству Головнёвой, не соответствующими действительности». Иск Головнёвой суду пришлось отклонить, поскольку в ходе слушаний была представлена кассета с магнитофонной записью выступлений Головнёвой несколько лет назад на одном из митингов, где она полностью поддерживает книгу Алексиевич.

У Светланы Алексиевич на этом суде, в этом судопроизводстве и в этой системе шансов на защиту своего человеческого и профессионального достоинства не было...

Испугавшись всемирного возмущения политическим процессом над художественным произведением и его создателем, режиссёры белорусского трагифарса громогласно формулировали: «Это ни в коем случае не суд над книгой, не процесс против писателя и его творчества! Это всего лишь гражданский иск о защите чести и достоинства, адресованный газете «Комсомольская правда» по поводу публикации 1990 года».

«А как же быть с презумпцией невиновности?» — поинтересовались после завершения процесса у судьи Ждановича председатель Белорусской Лиги прав человека Евгений Новиков и глава Белорусской ассоциации свободных средств массовой информации Алесь Николайченко.

Согласно Ждановичу, «презумпция невиновности действует только в уголовных делах». Вот если бы Головнева и Кецмур обвинили С. Алексиевич в клевете, то в этом случае презумпция невиновности действовала бы, поскольку сам термин «клевета» и является термином уголовного кодекса, и тогда истцы должны были бы представить в суд вещественные доказательства...

В случае же гражданского иска по защите чести и достоинства презумпция невиновности в Белоруссии не существует...

Возможно, из гражданского процесс плавно перетечёт в уголовный — истица Головнева пообещала и говорила об этом как о своей цели.

К белорусским прокоммунистическим газетам, которые травят писательницу, присоединилась «Комсомольская правда» — статья-послесловие от 30 декабря 1990 года, подписанная Виктором Пономарёвым.

Светлане Алексиевич «показалось, что за спинами матерей «генеральские погоны», а у них за спинами — по крайней мере точно — сыновние могилы. Они, а не писательница, орденоносец, лауреат, нуждаются в защите. Если и происходит здесь акт гражданской казни, то никак не над писательницей», — суетливо и демагогически торопится «Комсомолка» отстраниться от Светланы Алексиевич.

Это пролог к официальному извинению, как проба перекованного голоса — с нового на старый. Владимиру Вольфовичу должно понравиться. Как и название: «Мальчики цинковые. Писатели — все железнее». А журналисты и редакторы «Комсомольской правды» — все гуттаперчевее?

Правда всегда стоила дорого произносящему. Отказ от правды всегда ввергал малодушных в бедствия. Но, кажется, не было в современной истории более безнадёжного и всеобъемлющего несчастья, чем добровольное саморазрушение человеческой натуры подданными коммунизма, когда от людей остаются «только дымящие дыры», по выражению Михаила Булгакова.

Дымящие дыры на советском пепелище.

(Инна Рогачий,

«Русская мысль», 20–26 января 1994 г.)

\* \* \*

...За десять лет афганской авантюры через неё были пропущены

многие миллионы людей, повязанных в итоге не одним лишь чувством любви к советской родине, но и кое-чем ещё, гораздо более существенным. Часть их погибла, и мы по-христиански скорбим об их безвременной смерти, чтим боль физических и душевных ран, нанесённых их родным и близким. Но вряд ли возможно нынче уйти от понимания того, что они — не герои с их бесспорным правом на всенародное поклонение, а всего лишь вызывающие жалость жертвы. Сознают ли это сами «афганцы»? По всей вероятности, большинству из них это пока не под силу. Схожие с ними военной судьбой американские «герои Вьетнама», поняв истинную сущность своего героизма, бросили президенту полученные от него медали; наши же, похоже, способны лишь гордиться афганскими наградами. Кто из них задумался: за что на самом деле они получены? Добро бы эти награды служили нынче лишь в качестве предлога для получения льгот и привилегий, погоней за которыми охвачено все наше нищающее общество. Но претензии у их обладателей шире. Недавно в Минске на одном из афганских митингов была открыто заявлена далеко идущая претензия на власть в Беларуси. Что ж, ныне подобная заявка небеспочвенна. Пользуясь царящей в обществе моральной невнятицей (Афган — грязная война, но её участники — герои-интернационалисты), можно достичь чего угодно. В этих условиях матери погибших — благодатный материал в руках бывших и настоящих красных и коричневых, повсеместно обретающих второе, обновлённое дыхание. И матерей используют — всю эксплуатируют их праведный гнев, их святую печаль. Как эксплуатировали в своё время коммунистическую идейность и патриотизм их погибших детей. В общем, расчёт беспроектен: кто бросит камнем в скорбящую мать? Но за спинами скорбящих матерей зловеще маячат знакомые широкоплечие фигуры, и напрасно автор «Комсомольской правды» притворяется, что никого там не видит. Что «не в генералах за их спинами дело»...

Зловещее дыхание имперской политики, не до конца реализованной в Афганистане, все явственнее ощущается в Беларуси. Суд над Светланой Алексиевич — лишь составной эпизод в длинной цепи скрытых и явных проявлений такого рода. Тоской по великой державе и тёплым морям исходит не только партия Жириновского, сторонников которой немало и в Беларуси. «Встряхнуть» посттоталитарное общество, «сплотить» его новой кровью — вот средство для достижения все той же цели — поправленного идеала вчерашнего дня...

(Василь Быков,

«Литературная газета», 26 января 1994 г.)

\* \* \*

...Нет, не о правде войны была эта жёсткая борьба с судебным разбирательством. Борьба шла за живую человеческую душу, за её право на существование в нашем холодном и неуютном мире, которая только и может стать преградой на пути войны. Война будет продолжаться до тех пор, пока она бушует в наших растерянных умах. Ведь она — только неизбежное следствие скопившихся в душах злобы и зла...

В этом смысле слова погибшего офицера становятся символическими и пророческими: «Я, конечно, вернусь, я всегда возвращался...» (Из дневника старшего лейтенанта Юрия Головнева)

*(Пётр Ткаченко,*

*«Во славу Родины», 15–22 марта 1994 г.)*

---

**notes**

## Примечания

В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVII века. М., Мысль, 1988, с. 475.

«Московская правда», 7 февраля 1989 г.



Аллах всемогущий.

4

Торговец.

Дети.